

КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТИНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

76

Апрель
Май
Июнь

• 93

О чём ты, о чём ты, бывший радист,
на землю заброшенный Богом?
Не плакь ни о чём и ничем не гордись...
О многом, о многом, о многом!



Герман Плисецкий

Теплое чувство родства с этими людьми окатило Ивана Федоровича. Здесь был его дом, за столом сидели его братья и его сестры. Вместе с ними он вышел за победу, за товарища Сталина, за всех, кто сейчас на передовой, и за тех, кого эшелоны несут к линии фронта.



Анатолий Азольский

На путях чисто консервативной, охранительной жизни можно мумифицироваться. Защищая традиции и святоотеческое наследие, можно "заморозить" жизнь в Церкви. И в значительной мере этот



процесс "замораживания" проходил в последние семьдесят лет в России. Он был весьма выгоден большевикам. Они считали, что чем более Церковь "заморожена", тем быстрее она вымрет.

о. Иоанн Мейендорф

Арест — без каких-либо доказательств вины! — такое "открытие" в любой стране стало бы подобно разрыву бомбы. Я написала об этом моем "открытии" в "Литературной газете". Писала я о том, что стоит

человеку день тюрьмы, особенно в кошмарных условиях наших следственных тюрем — ни один лист газетный не шевельнулся.



Ольга Чайковская

Мастер и в кастрюльке, и в варварнице для белья по своей доморощенной технологии такое вино сварганил — медали не жалко вручить.

— Такое вино, — скажешь, — я первый раз в жизни пробую.



Илья Митрофанов



КОНТИНЕНТ – CONTINENT

Совместное издание

Редакции журнала «Континент»,
Ассоциации друзей журнала «Континент»
(Париж, Президент Ассоциации и основатель-учредитель
журнала «Континент» ВЛАДИМИР МАКСИМОВ),
Издательства «Московский рабочий»



**ИНКОМ
БАНК**

Журнал издается при содействии ИНКОМБАНКА

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*



Выходит 4 раза в год

МОСКВА – ПАРИЖ

апрель
май
июнь **93**

76

Главный редактор: Игорь Виноградов
Зам.главного редактора: Игорь Тарасевич
Ответственный секретарь: Сергей Юров
Зав.редакцией: Вячеслав Лютый
Зав.отделом распространения: Эля Басманова

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов • Виктор Астафьев • Ценко Барев •
Александр Блок • Иосиф Бродский •
Армандо Вальядарес • Галина Вишневская •
Георгий Владимов • Ежи Гедройц •
Густав Герлинг-Грудзинский • Пауль Гома •
Милован Джилас • Пьер Дэкс • Вячеслав Иванов •
Эжен Ионеско • Фазиль Искандер • Оливье Клеман •
Роберт Конквест • Наум Коржавин • Эдуард Кузнецов •
Николаус Лобковиц • Эдуард Лозанский •
Эрнст Неизвестный • Жорж Нива • Амос Оз •
Булат Окуджава • Ярослав Пеленский •
Норман Подгорец • Андрей Седых • Виктор Спарре •
Витторио Странда • Юзеф Чапский •
Карл-Густав Штрем • Юлиу Эдлис •

Корреспонденты «Континента»

Италия **Сергей Рапетти**
 Sergio Rapetti
 via C. Hajech 10
 20129 Milano, Italia

США Эдуард Лозанский
Edward D. Lozansky
3001 Veazey Terrace, N. W.
Washington, D. C. 20008 USA

Япония Госuke Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokio, Japan

При slанные рукописи не рецензируются и не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.
Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.
При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент» обязательна.
Авторы несут ответственность за достоверность сообщаемых ими фактов и точность цитат.

Название журнала «Континент» – © В. Е. Максимова

СОДЕРЖАНИЕ

Герман Плисецкий <i>Уйти в разряд небритых лиц. Стихи</i>	7
Анатолий Азольский <i>Окурки. Повесть</i>	20
Игорь Тарасевич <i>Наблюдатель. Стихи</i>	119
Илья Митрофанов <i>У Троянской дороги. Рассказы</i>	133
Дмитрий Стаков <i>Три рассказа</i>	159
 РОССИЯ	
Ольга Чайковская <i>Государственная собственность</i>	184
 ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ	
Тайный советник царя Публикация В. Боковой	216
Документы из архива ЦК КПСС по Нобелевскому делу М. А. Шолохова Публикация А. Петрова	233
 РЕЛИГИЯ	
«Замороженное православие» К годовщине смерти о. Иоанна Мейendorфа	257

Протопресвитер Александр Шмеман <i>Церковь и мир в православном сознании</i>	266
Александр Кырлежев, Константин Троицкий <i>Современное российское православие</i> Статья вторая	281

ГНОЗИС

Игорь Виноградов <i>Красота Зла</i>	304
--	-----

ПРОЧТЕНИЕ

Игорь Тарасевич <i>Андрей Белый в Москве и Петербурге</i>	322
Дмитрий Галковский <i>Розанов и театр</i>	327

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Елена Степанян <i>Мифотворец Бродский</i>	337
--	-----

В декабре прошлого года умер поэт Герман Плисецкий, известный как переводчик персидской поэзии и почти не известный как оригинальный, самобытный поэт. Рукописи его ходили в «самиздате», стихи печатались очень редко, и только немногие профессиональные литераторы знали их и ценили очень высоко. А сам поэт не стремился издаваться, жил уединенно, в кругу нескольких близких людей, был равнодушен к славе.

Не раз отмечалось, что основная тема стихов Г. Плисецкого – забвение и утрата. Таково было мироощущение поэта, такова была его жизнь. Первую и последнюю тоненьку книжечку стихов он выпустил благодаря стараниям друзей за два года до смерти, в шестьдесят лет.

Осенью девяносто второго мы разговаривали с Германом Борисовичем, договаривались, что он даст стихи для «Континента». Теперь эту подборку готовили без участия автора.

УЙТИ В РАЗРЯД НЕБРИТЫХ ЛИЦ

Стихотворения разных лет

* * *

Уйти в разряд небритых лиц
от розовых передовиц,
от голубых перворазрядниц.

С утра. В одну из черных пятниц.
Уйти – не оправдать надежд,
и у пивных ларьков, промеж
на пену дующих сограждан,
лет двадцать или двадцать пять

величественно простоять,
неспешно утоляя жажду.
Ведь мы не юноши уже.
Пора подумать о душе –
не все же о насущном хлебе!
Не все же нам считать рубли.
Не лучше ль в небе журавли,
как парусные корабли
в огромном, ледовитом небе?..

* * *

Держись, моя единственная жизнь,
не убывай шагреневою кожей,
моя неудержимая, держись,
не отзовайся на звонки в прихожей!

Не просыпаться с петухами нам
на сеновалах, не делиться хлебом,
не пить из теплых крынок пополам
парного молока под этим небом.

Спаси меня, высокая строка,
от этой страсти, острой, как осока!
Спасите мою душу, облака,
рассветные, парящие высоко...

* * *

Я просыпаюсь посреди
 полночных перегонов
 с провалом карстовым в груди
 и с дрожью перепонок.

Там города лежат в ночи
 в озобе телеграфном.
Простуженные москвичи
 закутывают шеи шарфом.

Там женщины в дождевиках
стоят с синицами в руках.
Там счастье, детство и Москва,
разорванные в клочья,
вся всероссийская тоска,
нахлынувшая ночью.

И женщины, и фонари,
и города, и ливни –
все обрывается внутри,
как в падающем лифте.
Как будто, сотрясая мозг,
грохочет бесконечный мост...

ЛАНСКОЕ ШОССЕ

Светлое Ланское авеню,
я Москве с тобою изменю,
изменю словесности российской!

Жить бы с постоянной пропиской
на твоем последнем этаже,
чтобы было солнечно душе,
чтобы было в комнате прохладно,
стол стоял бы, стул стоял – и ладно!

Чтобы красотой стандартных сот,
плоской красотою без высот
жизнь сияла, вставленная в раму.
И во всю бы ширину окна
кумачевая заря одна
осеняла эту панораму.

И не надо творческих удач,
секундантов, комендантских дач
и в соседнем сквере – обелиска.
Чтобы только небо было близко!
Чтоб, шагая вдаль, гудела низко
линия электропередач.

* * *

Ты умерла – и дом снесен,
одноэтажный дом на Бронной,
старинный дом, цельнооконный,
екатерининских времен.

И вот стою через года
в том незастроенном квартале,
стою, стараясь угадать:
где стол, а где тахта стояли?

Я тоже призрак. И во мгле
мерещатся душе стесненной –
и те бутылки на столе,
и ты на той тахте снесенной...

ДУБУЛТЫ

Зеленый фаянс прибалтийской весны,
на нем – облака кружевные.
Какая-то птица с высокой сосны
чеканит свои позывные.

Зачем она будит меня на заре,
по сердцу ключом ударяет?
Три звучные такта – две точки, тире –
зачем без конца повторяет?

О чем ты, о чем ты, бывшего радиостанции,
на землю заброшенный Богом?
Не плачь ни о чем, и ничем не гордись...
О многом, о многом, о многом!

ДРУГУ

Глебу Семенову

Мы обменялись городами,
где мы любили, голодали,

нуждались, путались в долгах,
где атмосфераю дышали,
единственной на этом шаре,
где мы витали в облаках.
Хватай такси в отчизне новой,
влезай в расшатанный трамвай,
на гаревом кольце Садовом
вспоминания вдыхай.

И я дареными глазами
взгляну на город неродной,
на Невском подавлюсь слезами
при виде женщины одной.

Скачите, бронзовые кони,
в безостановочной погоне
за горьким птичьим молоком!
Ступив на дальний берег Леты,
взьмем обратные билеты
и – разминемся в Бологом.

ИЗ «МИХАЙЛОВСКИХ ЯМБОВ»

Бежать! Литовская граница
и придорожная корчма...
Россия, ты – моя гробница,
Россия – горе от ума!

Собрать беспочвенных людишек,
наемников лихую рать,
и на Москве с Мариной Мнишек
хоть день, хоть час попировать.

И – пеплом по ветру!
Но с детства
десятый чувством знали мы:
не будет в нашей жизни бегства,
Литвы, границы и корчмы.

Всегда мы выбирали кровью,
необъяснимо, как во сне,

и не корону, и не кровлю,
а корни и кровавый снег.

Всегда мы умирали гордо,
чтоб шли потом через века
к монастырю в Святые горы
паломниками облака...

* * *

Похмелье внезапной зимы,
упавшей на голову с неба...
От свежего запаха снега
и мы — словно с неба, и мы!

В сверкании зимнего дня
земные дела — не у дела.
Как стираная простыня,
душа на ветру задубела.

Что выплывет из забытья?
О чём моя память заплачет?
С балконов сосульки белья
свисают, как флаги о сдаче.

Зима. Просветление чувств.
Чет-нечет графита и мела.
Как легочник, неумело
дышать понемногу учусь...

ПОХОРОНЫ

Неделю душу угнетала
жара, тяжелая, как баржа.
Неделю в воздухе витало
начало траурного марша.
Протяжная взмывала нота —
и тут же обрывалась тупо,

как будто музыкантов рота
натужно продувала трубы.

И вдруг сегодня утром грянул
оркестр под окнами моими.
И я в окно, как в яму, глянул,
одной ногой уже в могиле.

Все было резким и подробным
под властью смертного гипноза:
зернистая толпа за гробом,
вдовы надломленная поза.

А впереди, над мостовою,
в цветах желтели нос и щеки,
чело желтело восковое
и — таяло на солнцепеке...

В ЭЛЕКТРИЧКЕ

Как это может надоеть:
что надо пить, и надо есть,
ложиться спать, вставать с постели,
здоровый дух в здоровом теле
в восьмом часу на службу несть.

Но, слава Богу, есть вагон!
В барьерном беге круглых суток
есть неподвижный промежуток,
когда состав берет разгон.

Я — человек. И он. И ты.
Мы — человечество! Не так ли?
Мы заняты в одном спектакле.
Мы только что из темноты.

И в стеклах целых полчаса
сверкают алебастром белым,
подобные могильным стеллам
кварталов новых корпуса...

ГРУЗИЯ

О, Грузия! Ты не душа ли?
Высокий край душистых трав!
Поэты русские дышали,
к тебе, как к форточке припав.

Коснувшаяся поднебесья,
с ног не стряхнувшая земли,
ты — наша мера равновесья,
достичь которой не смогли.

Когда я думаю о Боге,
создавшем Землю за шесть дней,
хребтов пологие отроги
восходят в памяти моей.

Я славлю трудную победу
Титана, Мастера, Вола!
Мы все — зеленые побеги
вокруг единого ствола.

Мы дорастем до тех нагорий,
до той альпийской высоты,
где утихают боль и горе,
где только небо и цветы...

ЛЕОНИЯ ШАРЛОТТА ДАНТЕС

Младшая дочь Дантеса самостоятельно выучила русский язык, знала наизусть почти все стихи Пушкина, в ее комнате висели его портреты. С отцом она не садилась за стол. Была признана сумасшедшей и умерла в психиатрической больнице.

В раннем детстве на миг перед ней
оживает семейная драма:
из глубин Елисейских полей
выплывает прекрасная дама.
Очи смотрят, печаль затая,
локон выющийся, тонкая талья...

«Папа, кто это?» – «Это твоя
петербургская тетка, Наталья».

Леония Шарлотта Дантес,
дочь сенатора, баловня славы,
обнаруживает интерес
к языку иностранной державы.

Ей бы ехать на бал в Тюильри,
а она, вместо танцев на бале,
франко-русские словари
покупает на книжном развале.

Вот к обеду вернулся отец,
вот он в комнату дверь отворяет.
Леония Шарлотта Дантес
в замешательстве книгуроняет.

Для нее все равно, что к змее,
прикоснуться к руке его правой...
Словно при смерти кто-то в семье –
пахнет ужасом и отправой.

Старый доктор не в силах помочь
ни советом, ни дружеской ложью:
«Наказание божье, не дочь, –
он твердит, – наказание божье!»

Ох, нелегок родительский крест!
Дочка молится богу иному:
живописец Кипренский Орест
написал для Шарлотты икону.

Африканец, курчавый пророк,
обходя океаны и земли,
это сердце глаголом прожег,
и оно задыхается, внемля.

Ты сверкаешь как люстра, Париж,
веселясь до утра, до упаду,
но не ты мотылька опалишь –
он летит на иную лампаду.

В доме скорби окончатся дни
безвозвратно, бессменно...
Где б достать твой портрет, Леони,
гадкий лебедь, племянница, дочка?

Нагло лжет эпитафии текст
на одной из могил Пер-Лашеза:
«ЛЕОНИЯ ШАРЛОТТА ДАНТЕС –
дочь сенатора Жоржа Дантеса».

* * *

Все больше стандартных оград,
венков, прислоненных к надгробью,
все чаще колотится град
об гроб барабанною дробью.

Должно быть, смирились уже
со смертью бессмертные души:
ни бунта, ни страха в душе,
а очи все зорче и суще.

Оставив зарытых лежать
в земле до конца мирозданья,
положенный срок доживать
уходим, сказав: – «До свиданья!».

* * *

1

Стенокардия. Приступ пустоты.
Упадок сил и головокруженье.
Пустого неба в лужах отраженье.
Весенняя простуда, будто ты
В далеком детстве ноги промочил
И хлюпаешь ботинками и носом...
Снег худосочно тает по откосам...
Круженье головы. Упадок сил.

2

Как после спячки встрепанный медведь
вылезает из берлоги отощавший –
так летаргию стряхивает спавший,
преодолев желанье околеть...

3

Стоять с утра в киоск за «Огоньком»,
Потом стоять в хвосте за коньяком,
Перекрывая стойкости рекорды.
А выстояв, отгадывать кроссворды:
По вертикали – Чехова рассказ,
река в Европе – по горизонтали...
Едва ль годится «Человек в футляре»,
Но Стикс и Лета подойдут как раз.

4

Я летописец временных годов,
Послушный с детства кличу: «Будь готов!»,
Всегда готов стоять в строю по росту.
Но вот вопрос: готов ли ты к сиротству,
Готов ли ты к утратам, как Иов?

* * *

Зовите людьми
мужчин, достигающих цели,
и женщин в зените любви,
свежих и крепких, чтобы хрустели,
как новенькие рубли.

Любите кафе, где плафоны и пластик,
где чистый хрусталь и крахмальные страсти
завязаны модным узлом,
где правильность жизни,

как в цейсовской линзе,
течет за витринным стеклом..

А нас, неопрятных, небритых, помятых,
в стоячих закусочных-автоматах,
где соль и горчица, где столики в пятнах
проверьте,

не стоит жалеть.

Мы просто как смерти
боимся, поверьте,
годам к сорока разжиреть.

Ошиблись ли мы иль ушиблены в детстве,
живем на отшибе, хотя и в соседстве.
Нам в зеркало стыдно с похмелья глядеться
утрами

с кругами у глаз.

О Датском мы думаем королевстве,
где, видимо, гниль завелась...

РУЖЕНЕ

В отеле «Метрополе»,
под мухой, в час ночной –
чего мы намололи
на мельнице ручной?

Все помнить обреченный –
припомнить не могу:
чему же муж ученый
учил нас в МГУ?

Все помнить обреченный
на долгие года –
я помню кофе, черный,
как прошлая среда.

Как черный день позора
в отечестве квасном.

Хлебнув его, не скоро
уснешь спокойным сном.

Где ты теперь, пражанка?
Услышу ль голос твой?
Все глушит голос танка
по пражской мостовой.

Почетно быть солдатом
в отечестве моем.
Стоим мы с автоматом,
всем прикурить даем.

Хотя и не просили
курильщики огня...
За то, что я России
служу – прости меня!

22 августа 1968 г.

* * *

Ночная память голуба,
в ней голубеют глыбы льда,
в ней громоздятся города,
как театральные макеты,
блистают стекла, как слюда,
при вспышке гаснущей ракеты.

И только пара женских лиц
над смертным холодом столиц,
как прежде, горячи и лживы.
И значит – живы.

И нудно ноет «мессершмитт»,
и тень наискосок бежит
от кружевной радиовышки,
и прошлое, как мелкий шрифт,
неразличимым стать спешит
до следующей яркой вспышки...

Публикация Д. ПЛИСЕЦКОГО

ОКУРКИ

Повесть

Меня в Сталинграде поймала пуля, сложное было ранение, так и не выходился я в госпитале, — вспоминал Иван Федорович Андрианов. — Ноги временами подкашивались, грозила инвалидность, понимание же долга обязывало быть на фронте. Человек с погонами — это прежде всего воин, убивающий врага. Военно-врачебная комиссия взяла моим мольбам и вместо инвалидности признала меня всего лишь ограниченно годным к строевой службе, — меня, командира батальона, капитана. Вот и получил я назначение на трехмесячные курсы младших лейтенантов, на должность, суть которой была: отвечать за склад с оружием и боеприпасами. Случилось это 25 или 26 апреля 1943 года. В один из этих дней прибыл я на курсы. Образовались они недавно, обучать же курсантов начали за неделю до того, как я представился подполковнику Фалину, начальнику. Глянул он в мои госпитальные бумаги, узнал, что в июле мне вновь на врачебную комиссию, и разрешил ходить с палочкой. Предупредил, однако, что курсы — не богадельня. Склад я принял, пересчитал автоматы, винтовки, ящики. Расписался. Имелся, кстати, и миномет, 82-миллиметровый, но все мины к нему — учебные. Отметьте это обстоятельство, дорогой друг...

С Андриановым я познакомился в феврале 1956 года. Работал я тогда в Кунцевском морском клубе командиром тральщика. Списанный с флота кораблик пришвартован был к пирсу спасательной станции на Москве-реке, по утрам мы

**Анатолий
АЗОЛЬСКИЙ**

— родился в 1930г. в Вязьме. Окончил высшее военно-морское училище имени М.Фрунзе, служил на флоте, после демобилизации работал на производстве. Автор романов «Степан Сергеич» (1987), «Затяжной выстрел» (1987), повестей «Легенда о Травкине» (1990), «Пароход» (1990), «Лишний» (1990).

обкалывали лед, напиравший на его хрупкие борта, после чего команда разбегалась по домам, я же вечером учил ребятню вязать морские узлы да махать флагами. Морской клуб ДОСААФ – организация сугубо мирная, но командовал нами капитан 2-го ранга, по четвергам проводивший так называемую офицерскую подготовку. В ту зиму на разные учеты поставили в клуб группу пожилых граждан, и однажды один из них прочитал нам лекцию: «Армейский корпус при прорыве глубоко эшелонированной обороны противника». Еще через неделю узнали мы – с удивлением – о том, как развертывается танковая дивизия, ударяя по флангу наступающей пехоты, но уже к следующему четвергу стало известно, что пожилые граждане – вовсе не моряки и что все они освобождены недавно, выпущены из лагерей. Им вернули воинские звания, дали кое-какие отступные денежки да прописали в коммуналках Подмосковья (Кунцево в то время был не в столице, а городом области). Среди генералов и полковников, помнится, пребывал и бородач с давно упраздненным званием комбрига, долгожитель тюрем. Мало у кого из них сохранились семьи, жены отреклись давно, дети прокляли, родственники постарались о них забыть. На перекурах мы посмеивались, глядя на бывших: ни словом не обмолвятся друг с другом, спички не попросят и огоньком не поделятся. Стоят во дворе или в коридоре молча и россыпью, как на автобусной остановке, никто никого не хочет замечать. Одеты во все серое: пальто, перешитые из шинелей, шапки, скроенные из распоротых папах, валенки, скатанные из дымчатой шерсти (в ту зиму стояли трескучие морозы), на обескровленных серых лицах – терпеливое ожидание чего-то неотвратимого и печального.

Мы их прозвали о к у р к а м и. Да и походили они – искуренностью, что ли – на эти предметы, выброшенные за ненадобностью, но еще не растоптанные. Тихие, скорбные, отгоревшие люди, которым не восстать уже из пепла.

Но им так хотелось пообщаться с неопасными людьми, чтобы поведать им о своем былом горении! С болезненной тоской посматривали они на нас, двадцатипятилетних, каждого изучали, издали присматривались, как бы случайно сталкивались в коридоре, спрашивали о пустяках, ловя слова и по-своему их истолковывая, в непонятных нам смыслах. И однажды вечером, когда мальцы отгомонили уже в клубных классах и перенесли свой визг на улицу, ко мне

подошел самый неприметный окурок, церемонно представился («Полковник Андрианов Иван Федорович, а вы, насколько помнится?...») и предложил погреться в шашлычной на улице Толбухина.

Сейчас этой шашлычной уже нет, в стенах ее теснятся мастерские по ремонту зонтов, чемоданов и металлоизделий. Ревнители исторической точности могут на этой же улице найти книжный магазин, к нему-то и примыкала когда-то шашлычная. В этом шумливом заведении полковник Андрианов рассказал – не сразу, за три вечера, – про удивительные происшествия на курсах младших лейтенантов, случившиеся в начале июля 1943 года. В тех же прокопченных стенах шашлычной были впоследствии рассказаны им еще более поразительные – даже для военной поры – истории, но с годами теряется вкус к необыкновенному, глаза устают от яркости и тянутся к серой тягомотине будней, чтобы распознать на ней пропивающие следы травлений и соскобов. Поэтому и запомнилась хорошо история о том, как взбунтовались курсы младших лейтенантов.

К 1943 году счетоводы в Генштабе окончательно прозре ли: армии катастрофически не хватает взводных и ротных командиров! В боях средней, так сказать, ожесточенности (с артиллерией и танками) каждый день в окопах гибло три четверти наличного состава, маршевые роты еженощно вводились в почти безлюдные окопы, конца и края не было этим ротам, истреблялись они потому, что воевать не умели, и обучать эту массу скопом было бессмысленно, рациональнее представлялся другой путь: во множестве готовить в тылу офицеров из обстрелянных солдат. Тогда-то и стали делать второпях младших лейтенантов, упрощая обучение, сокращая его до трех месяцев. Командиры корпусов (возможно, и дивизий) сами присваивали это звание уцелевшим солдатам и сержантам, ни на какие курсы их не отправляя, но младшие офицеры требовались везде, и тыл едва успевал готовить их. Бывали нередко случаи, когда легко раненный командир взвода повышался до ротного, приживался к этой должности и после двух-трех медсанбатов принимал батальон, а то и полк, во главе которого шел по Вене, Белграду или Праге, и под ноги ему ликующие толпы бросали цветы (фотографии запечатлели эти волнующие моменты). Ради этого праздничного апофеоза войны, в расчете на одного счастливца из тысяч мертвых, и создавались, по мнению

Ивана Федоровича, курсы младших лейтенантов. Те, на которые он попал, образовались приказом Командующего Степным военным округом. Разместить что-либо иное на территории, обнесенной трехметровым забором, было невозможно: три казармы на роту каждая, койки, причем одноярусные. Подумывали о запасном полке, но от такой мысли скоро отказались, полк – это двенадцать или четырнадцать рот, забор затрещал бы, распираемый изнутри.

В первый день службы капитан Андрианов обошел военный городок в степи, познакомился с теми, кого обучали, расспросил тех, кто обучал, и призадумался.

В странном, совсем не подходящем месте обосновались курсы младших лейтенантов! Шестнадцать километров до ближайшей железнодорожной станции, двести пятьдесят до линии фронта, глубокий тыл, Степной военный округ, до штаба которого добираться сутки, не меньше, зато в непозволительной близости – село Посконцы, два километра до него, мужики, правда, к самогону не приучены, бабы до мужчин не охочи, но местность, местность! Ни речонки рядом, чтоб обучать на ней обороне переправы, ни господствующей высотки, на атаке которой учить да учить курсантов, ни леса. Степь, голая степь, – так какая же военно-стратегическая нужда воздвигла для гарнизона эти вместительные строения? Клуб с библиотекой, котельная, пекарня, уходящие в землю склады, гараж, движок, от которого ярко горели лампы в помещениях и по забору, столовая, баня с промывной способностью в несколько сот бойцов, четыре караульные вышки с прожекторами, просторные и светлые казармы с комнатами культурно-бытового назначения – нет, наркомат обороны такой расточительности никогда не проявлял. Здесь поработал другой наркомат, внутренних дел. Кое-кто в Генштабе предполагал затяжные бои в будущей войне с Германией, исходя из опыта 1939 года, фронтовую полосу решили освободить от гражданского населения – так подумал Андрианов, припомнив разговоры в штабе Прибалтийского военного округа, где он служил когда-то. Высылке подлежали евреи, к ним в 40-м году мысленно присоединяли нежелательный элемент, и НКВД стал выселять меченых граждан из приграничных областей, для них, возможно, и построены были эти обнесенные забором здания. Но операция приняла массовый характер, и только такой громадный резервуар, как Сибирь, мог поглотить десятки эшелонов,

они и проскочили мимо станции. Не исключался такой вариант: лагерь для военнопленных. Генштаб всерьез полагал, что наступательный ход будущей войны пленит немецкие полчища, скомплектованные из пролетариев, то есть классовых соратников, обращаться с которыми надо бережно. Постановлением СНК от 1 июля 1941 года пленным немцам гарантировалось все, вплоть до денежного содержания, не говоря уж о нормах питания, много выше тех, коими удовлетворялись караульные на вышках. Пленные и в самом деле появились, но держать их предпочитали в местах, куда не долетала немецкая авиация, и не в столь благоприятных условиях. Построенный в степи объект законсервировали и вспомнили о нем лишь весною 1943 года, созданный в середине апреля Степной военный округ получил директиву о подготовке резервов — и завился дымок над трубой котельной.

Для военного человека, привыкшего к тяготам службы, добrotно сделанные дома начальствующего состава казались хоромами, казармы — вполне приличными гостиницами, и не верилось, что где-то неподалеку сотни тысяч людей дни и ночи проводят в окопах, а спят, если повезет, в землянках.

Размышляя о причинах курсантского бунта, Иван Федорович перебирал явления и факты, умысли и побуждения, и одно время склонялся к тому, что начало бунту положил сентябрь 1939 года, когда карандашное острие впилось в карту и некто, носивший на кителе петлицы с двумя или тремя звездами, постановил: «Здесь будем строить!»

— Нельзя так варварски относиться к выбору места для людского поселения, — рассуждал в шашлычной Андрианов. — Предки наши куда как мудрее нас были. Не наобум строились, а смотрели, где холмы посуше, где речка течет со скоростью крови в теле, где лес густой со зверем и ягодами, где простор земли намекает на пахоту. Сама почва, на которой строишься, должна плодоносить традицией, повторяемостью, не зависимой от причуд человека. Сам естественный ход военной или хозяйственной деятельности определяет место и время поселения, пригодность клочка земли держать на себе будущие отходы. Прежде чем вогнать колышек в землю, человек обязан снять штаны и...

Будучи воспитанным человеком, Иван Федорович не закончил фразу, мысль и так была ясна...

Почту с газетами недельной давности привозили на курсы после обеда, от протянутых со станции проводов работали на столбах черные тарелки радиорепродукторов. За два года войны все научились понимать сводки Совинформбюро, уже в мае все на курсах знали, что наступление северо-восточнее Новороссийска уперлось в хорошую оборону немцев и по всему фронту шли вялые бои, не предвещавшие скорой победы. Дед Ивана Федоровича командовал полком в русско-японскую, отец его дважды убегал из немецкого плена, Андрианов поэтому при любых обстоятельствах следовал принципу: «Военный человек обязан воевать!» Он ежедневно делал лечебные променады, доплелся однажды до Посконц и там попался на глаза местной знахарке. Она рассмотрела Ивана Федоровича, расспросила его и пообещала вылечить. Превозмогая боль, обливаясь потом, Андрианов каждый день приполз к приземистому дому посконской колдуньи и залезал в бочку, наполненную зеленою жижей. Любое поселение в России славится какой-нибудь дикой блажью, деревенские дурачки обязательны, нет их — станет юродствовать здоровый мужик, колдунью в Посконцах считали порченной бабой, но она же была своею, как бородавка, которую надо бы срезать, но еще лучше — терпеть ее. Старуха, кстати, могла выводить их, однако не разрешала кощунствовать над природой, при Андрианове вытолкнула как-то за дверь чистоплюя начфина с бородавкой на шее. «Пуля срежет! — крикнула ему вдогонку. — На фронт просись!»

За восемь недель грязе-травяных ванн Иван Федорович окреп и с палочкой расстался. Отшагивая до Посконц и обратно четыре километра, он с каждым днем отмечал все большую уверенность в ногах и ощущал в теле наливание сил. Ему очень хотелось женщины, они, заголяющие себя, чудились ему в пышно-белых облаках, в редких березках. Но женщин, ему нужных, в Посконцах не было, не признавать же ими баб, с состраданием отдававших себя ловким парням из Первой роты, самой боевой и отчаянной. Можно, конечно, съездить на станцию, в общежитие локомотивного депо, где офицеры легко договаривались с молодухами, но такая грязь в общежитии, такая неустроенность скротечной любви — и сама мысль о станции отвергалась Андриановым.

22 июня по радио прочитали что-то вроде итоговой — за два года — сводки Информбюро, и Андрианов поражен был неправдою о войне. Нет, со злостью сказал он себе, не так

все было, и зрячий я и не тупой!

Два дня спустя случилось чрезвычайное происшествие.

Со станции привезли три ящика новых противотанковых гранат ударного действия. В поле на занятиях два курсанта, позабыв об инструктаже, стали бросать гранаты с неправильным замахом и вместе с собою подорвали еще трех человек. Вины Андрианова никакой не было, окоп, из которого метались гранаты, был неверно вырыт, гранаты, описав дугу при замахе, ударились о бруствер. Особист произвел дознание, Фалин доложил штабу округа о произшедшем. Ждали решения штаба. Курсантов похоронили. На курсах воцарилось уныние. Это на передовой командира батальона можно награждать за то, что потери за день – всего пять человек. Здесь же – тыл, здесь каждый человек на учете, как, впрочем, и каждый патрон. По некоторым данным, на фронте из десяти тысяч пуль только одна касалась человеческого тела, и за количеством выпущенных пуль никто не следил и учета патронов не вел. Андрианову же приходилось каждый день утверждать у Фалина ведомость на израсходованные патроны.

Иван Федорович хорошо помнил день похорон. Курсантов, или то, что от них осталось, положили в одну могилу, забросали ее землей и водрузили на нее пирамиду со звездой. Первый взвод Второй роты, уменьшившийся сразу на пять человек, дал прощальный залп из СВТ. Когда все три роты вернулись с погоста на курсы, Фалин приказал не распускать их, а подержать в строю. Что отвечать за ЧП придется, это он знал наверняка, как отвечать – боялся представить, но обычное дело при такого рода происшествиях – это приезд комиссии, и Фалин решил глазами ее глянуть на все роты, Первую, Вторую и Третью. Командный состав курсов и преподаватели – на правом фланге, затем – повзводно – курсанты, затем технические подразделения. Замыкал строй начальник продовольственно-фуражного снабжения (ПФС) старший лейтенант Рубинов со своими хозяйственниками и вольнонаемными.

Иван Федорович окреп уже настолько, что мог рубить строевым шагом, лихо прикладывать к фуражке покалеченную руку, не побоялся бы многокилометрового марш-броска, но предпочитал манкировать (такое слово употребил он) службою, на что имел особые, только ему известные причины. В 1938 году воентехник 2-го ранга Андрианов

отсидел восемь месяцев в ленинградских Крестах, набрался там опыта и знал, что при первом же налете комиссии его могут обвинить в чем угодно, добиваясь нужных комиссии показаний. Поэтому Иван Федорович ни с кем на курсах не сходился, ни во что не вмешивался, чтоб не оказаться втянутым в какую-либо историю, чтоб не подвести ни себя, ни связанных с ним людей.

На построении он, пользуясь давним разрешением Фалина, не пошел, но ради собственного благополучия обязан был знать, что творится вокруг него, и поднялся на второй этаж клуба, откуда хорошо просматривался плац и почти четыреста человек личного состава. Существовало штатное расписание курсов, но ему не следовали, должности лепились одна к другой, надстраиваясь причудливо и без меры. Уже девять месяцев как ввели офицерские звания и погоны, все командиры на курсах были переаттестованы, но старые звания не забывались, замполит курсов называли в разговорах комиссаром, да и сам он откликался на это обращение, заместителя же по строевой части так и продолжали называть начальником штаба. Офицеры жили дружно, выручали друг друга, звездочек на чужих погонах не считали. Не все они получили новые гимнастерки, и кое-кто, уже при погонах, выдral из петлиц кубики, но сами петлицы не спорол.

Еще разнороднее, разномастнее, а то уж и совсем поразгильдяйски были обмундированы курсанты. Когда Фалин прошелся вдоль строя Первой роты, он, хотя и видел курсантов ежедневно, не удержался и сплюнул. Да и любой командир вознегодовал бы, увидев, во что одета Первая рота. Гимнастерки всех цветов и разной степени даже не изношенности, а изорванности. Замызганные пилотки браво свалены к правому уху. Зато на ногах крепкие сапоги, и не только яловые, кое-кто форсил и в офицерских хромовых, какие не у всех в тыловом штабе. Рота смотрела весело, открыто, с потаенной усмешкой, выкатив груди с орденами и медалями, без единой складки у ремней, и общее впечатление боевой устремленности портило разноцветие: сапоги у половины курсантов были желтыми, снятыми с немецких ездовых, и ремни многие носили румынские, тоже желтые, на курсах вообще высоко ценились якобы в бою добытые трофеи, треть курсантов прятала в тумбочках казенные шаровары, чтоб красоваться в немецких кавалерийских штанах. Рота целиком была составлена из бойцов и младших

командиров, награжденных за бои под Воронежем. Стреющую подготовку они не любили, стреляли из всех видов оружия, на полевых занятиях норовили поскорее устроить перекур или привал, все знали и все умели, с ленцой подчинялись командирам взводов – тем из них, которые, по их мнению, не имели настоящего боевого опыта. Однажды на занятиях они, воспламенившись, пошли в атаку на кусты, изображавшие противника, увшав себя пустыми банками из-под консервов, и хотя до Посконц далеко, вся живность в селе заволновалась, такой трезвон с криками «ура» пронесся над лугами и полями. Трижды особист обыскивал казарму Первой роты, но так и не смог найти оружие: в нарушение всех приказов, инструкций и правил направленные на курсы фронтовики с трофеями не расставались, где-то в расположении курсов пряталась дюжина вальтеров и парабеллумов, по некоторым сведениям, в разобранном виде хоронился и шмайссер. Много раз Фалин ставил офицерам боевую задачу – отыскать спрятанное оружие, но те, уже побывавшие на передовой, отлично знали, что немецкий пистолетик в кармане или в сидоре – это не столько огнестрельное оружие, сколько талисман, и рвения в поисках не проявляли.

Вторая рота представляла собою зрелище жалкое, но сочувствия не вызывавшее, и недаром курсантов этой роты прозвали чокнутыми. Все до единого (кроме офицеров, конечно) были в ботинках и обмотках, казались грязными, как ни отмывались и как ни стирали то тряпье, что официально называлось обмундированием. Если у кого в апреле и были сапоги, то к маю они, вымененные, уворованные или отобранные внаглу, уже перебрались в Первую роту. Как ни странно, вторая комплектовалась из парней, понюхавших порох на передовой, и почему они все такие тягучие, обжористые, худые, не поднимающие глаз, ленивые и засыпающие на ходу – никто не знал.

Быстро пройдя Вторую роту, Фалин приблизился к Третьей и пожал руку отдавшему рапорт командиру ее, капитану Христичу, с которым вместе воевал когда-то, торопливо спросил, все ли в порядке, и отступил на два шага, чтоб полюбоваться ротою. Была она сплошь из бывших школьников и студентов, с разных призывных пунктов их собрали в одну команду, чтоб отправить в Новосибирское танковое училище, но команду по пути перехватили офи-

церы только что образованного Степного военного округа, чтобы заткнуть ею недокомплект курсов младших лейтенантов. Ладно одетая и хорошо обутая, она отличалась от остальных не только формою одежды, но еще и спайкой, остервенелым желанием поскорее отправиться на фронт и гнать немца до Берлина. С особым старанием вытягивала она носки при отработке строевого шага, исправно и без самоволок несла караульную службу, в свободные от службы часы заполняла клуб, пела песни, декламировала стихи, делала стенгазеты с карикатурами, что, однако, не избавляло ее от нашептываний замполита, тот постоянно жаловался Фалину и особисту на гнилые настроения в Третьей, да Фалин и сам признавал, что рота Христича слишком уж зарвалась, всех презирает, ставит себя выше Первой роты.

— Р-разойдись!.. — и строй смешался. Время близилось к обеду, и Первая рота потянулась к столовой, за нею — половина Второй, обеденный зал не мог вместить больше, пищу курсы принимали в две очереди, и, конечно, лучшая пища, лучшее время для приема пищи и вообще все лучшее всегда доставалось Первой роте.

За месяцы Крестов Иван Федорович испытал на себе, что такое исполнительная, законодательная и судебная власть в одном-единственном лице следователя, ведущего дело. Отвага и ум спасли его. Кресты дали ему урок на все последующие годы. В день похорон он услышал в себе дребезжание колокольчика, предупреждавшего об опасности, и замкнулся, затаился, чтобы незаметнее прожить немногие оставшиеся до госпиталя дни.

Колокольчик зазвякал еще тревожнее, когда в этот же похоронный день он встретился с майором Висхонем.

В Посконцах, лежа на груди, растянувшись на жестких сдвоенных лавках и радостно вздрагивая от боли, с какой старухины пальцы прощупывали его позвонки, услышал он впервые эту фамилию, за час до того, как увидел самого майора, того самого, кого две недели спустя разыскивала контрразведка двух фронтов — как немецкого шпиона, как человека, подозреваемого в совершении тягчайших преступлений.

Разминая позвоночные хрящи Андрианова, старуха сказала ему, что к Лукерье Антиповой приехал на подлечение дальний родственник, майор Висхонь, двоюродный племянник, получивший после госпиталя отпуск, местом проведе-

ния которого избрал Посконцы. Племянника этого Лукерья видела года за три до войны, когда гостила в Челябинске у брата. Лукерье майор преподнес подарки – две банки американской тушеники, брикет супа-концентраты и буханку хлеба. Продукты эти выдали ему в райцентре, соответствовали они, сообразил Андрианов, сухому пайку на двое суток. Рассчитывать на большее майор в райвоенкомате не мог, на продаттестате, правда, военком начертал резолюцию, обязав председателя посконского колхоза – раненного защитника Родины майора Висхоня кормить две недели. С этой-то резолюцией и сидит сейчас майор у председателя, который, конечно, ему откажет, такие уж нравы в Посконцах, чужаков здесь не любят, страннику на дорогу кусок хлеба вынесут, но за стол не посадят.

Ничего странного в появлении майора Андрианов не нашел, промолчал, бездумно просидел в бочке сорок минут – по ходикам на стене, потом вытерся досуха и, приятно утомленный процедурой, сидел в палисаднике. После болотного смрада бочки запахи цветов навевали воспоминания о женщинах, о парках больших городов... Правление колхоза было рядом, через два дома, и Андрианов увидел незнакомого майора, того несомненно, о ком говорила старуха. Он стоял на солнцепеке, не зная, когда идти ему, вправо или влево, и недоуменно озирался. Потом коснулся лба белым платком, поправил на голове линялую пилотку и бесцельно двинулся по улице, прямо держа спину, несколько шире плеч расставляя ноги, и Андрианов, каких только раненых не видевший, понял: пуля застряла в позвоночнике майора, пуля! И оперировать майора не стали, врачи решили выждать, пока пуля сама не отйдет от позвонка, пока мышцы не потянут ее к себе.

Дойдя до палисадника, майор вдруг остановился, чем-то привлеченный. Андрианов подумал, что когда-то у майора было простодушное лицо. Сейчас же оно выражало фронтовую измученность, но глаза с живым интересом смотрели на розы. Старуха исцеляла не только людей, она умела врачевать землю, и на ухоженной ею почве росли цветы почти оранжерейного воспитания, среди них розы были самыми обычными, привычными, и непонятно было, почему так недоуменно и жадно смотрел майор на бутоны того растения, о котором не мог не знать или не слышать, ходил же он в молодости на танцы с неизменным слоу-фок-

сом «В парке Чайр распускаются розы...» Видел он их раньше, но смотрит так, словно перед ним — мина с усиками.

— Это розы, — подсказал Андрианов, и майор кивнул, откачнулся от высокого плетня, показал спину и пошел своей дорогой, к Лукерье, а не в колхозный амбар. Как и предсказывала старуха, председатель показал ему шиш, спихнул защитника Родины коменданту железнодорожной станции, тот мог прикрепить майора к военпропункту...

— Василием Григорьевичем звали его... Майор Висхонь Василий Григорьевич... — уточнял в шашлычной Андрианов.

— Уж как его потом ни обзывали на курсах — и дураком, и самозванцем, и агентом немецкой разведки, а те оперативники, что арестовали меня 13 июля, с ног сбились, разыскивая Висхоня, всех допрашивали и все брали под подозрение — и где служил майор, и как ранен, и в каком госпитале вылечился, и почему попал в Посконцы, и находится ли в связи с полковым комиссаром Шеболдаевым, о котором речь еще впереди. Злодея чуяли они в майоре, и напрасно. Василий Григорьевич был всего-то человек, изнуренный, измордованный и обескровленный войною до полного изнеможения. Мне ведь на следующий день удалось заглянуть в его документы, и выходило по ним, что судьба бросала Висхоня в огонь сразу же, как только появлялся дымок. И озеро Хасан, и Монголия, и Западная Белоруссия, и Финляндия, а уж эту войну встретил 22 июня, попал под бомбежку в Молодечно. Медсанбатов не счастье, трижды в госпитале, последнее ранение не на передовой, иначе не оказался бы в госпитале при своей гимнастерке, со всеми орденами и документами. Что получил отпуск после госпиталя — так ничего в этом необыкновенного нет, многим давали такие отпуска, а почему именно в Посконцы — так это все от усталости и безденежья. Ничего в жизни не видел, кроме казарм и окопов на передовой. Текущая гражданская жизнь его попугивала, от неумелости делал ошибки. Мог бы выписать отпускное свидетельство в Москву, в Казань, в Саратов, напридумав родственников. Но — денег больших нет, а бутылка водки в то время стоила пятьсот рублей, буханка хлеба чуть меньше. Мог бы нажать на райвоенкома, мешок продуктов получил бы по аттестату, но постеснялся. И у Лукерии сробел, чужая пища в рот не лезла. Конечно, тетка даже весьма отдаленного родства без ущерба для себя прокормила бы его, бабы соседские ей помогли бы, председатель колхоза одумался

бы, молоко и картошку дал бы. Но от незнания обыкновенной, нефронтовой жизни Висхонь стал очень щепетильным, ни для кого не хотел быть обузой. Но и ехать на станцию к коменданту не хотел. Поэтому утром следующего дня он прямиком потопал на курсы. Вряд ли он притронулся к тушенке и, конечно, не польстился на суп-концентрат. Лукерья, скорее всего, накормила его лепешками из овсяной муки, ее выдавали по двести граммов на трудодень, да молоком от козы, водились в Посконцах эти животные, очень понятливые, умные. Ко мне, когда я в бочке сидел, частенько заглядывала старухина козочка. Станет у двери, жует сосредоточенно и смотрит на меня с состраданием...

С утра Первая рота ушла на стрельбище, Вторая который раз изучала книгу И.Сталина «О Великой Отечественной войне Советского Союза», Третья штурмовала укрепленную полосу в пяти километрах от курсов. В кабинете подполковника Фалина собирались – без вызова и не сговариваясь – офицеры. После обеда Фалин вместе с замполитом и особистом уезжал в штаб округа, сейчас давал последние указания, и офицеры слушали его с непоказанным вниманием, потому что понимали: тяжко, очень тяжко придется их начальнику в штабе округа. Кроме пяти погибших на нем висели самоволки, причем три из них подпадали под дезертирство, а одно, связанное с самострелом, было замазано особистом, который – в отличие от многих других особистов – спелся с командованием курсов, дел ни на кого не заводил.

Среди прочего разговор пошел и о том, где Первая рота прячет оружие, но свелся он не к тому, как изъять его, а к более насущному вопросу: обнаружит ли это оружие штабная проверка. Дважды дежурный по курсам докладывал о чем-то Фалину и получал в ответ досадливый жест: потом, потом... Наконец подполковник произнес: «Там кто-то просится... Позовите». Вслед за позвавшим в кабинет вошел уже знакомый Андрианову майор, и по тому, как входил он и представлялся, стало понятно: кадровый офицер довolenной выучки. Висхонь – так назвал себя майор, и просьба его заключалась в следующем: он в отпуске после госпиталя, сухим пайком не обеспечен, так нельзя ли поставить его на довольствие? Документы – пожалуйста.

Майор достал из кармана обычный кисет на три-четыре стакана махорки, распустил тесьму и вынул пачку бумаг.

Документы внимательно просмотрел Фалин, протянул их замполиту, после чего за свое дело взялся особист, сидевший впереди Андрианова, что и позволило ему видеть и читать то, что изучал тот. Из удостоверения личности Андрианов узнал, что лейтенантом Висхонь стал в 1936 году и было тогда Василию Григорьевичу двадцать три года. Особист развернул вчетверо сложенную справку из госпиталя и тут же вновь раскрыл удостоверение, чтобы сверить номера и печати. Отпускное свидетельство подверглось дотошнейшей проверке, но ни к чему особист придраться не смог. Все – в полном порядке, включая продаттестат и расчетную книжку. Полевые деньги выплачены по апрель, удержаний по аттестатам не имел. Жена умерла, детьми не обзавелся, мать под немцами в Крыму. Наградное удостоверение на орден Боевого Красного Знамени было новеньkim, вручали его, видимо, в госпитале. Ни за время лечения, ни за отпуск денег не получил. «Начфин не дал», – так объяснил это обстоятельство Висхонь после некоторого раздумья. Он вообще все делал и говорил как-то замедленно, тугодумно, он будто восстанавливал в памяти только что услышанное, переставляя слова в удобном ему порядке.

Документы вернулись к майору, он не спеша уложил их в кисет. Ждал решения.

– Не положено, – отказал ему в довольствии Фалин и посоветовал ехать на станцию.

Офицеры с уважением смотрели на майора. Справа на груди – два ордена Красной Звезды с царапинами, со сколотой эмалью. На застиранной до ветхости гимнастерке свежайшим пятном выделялись две нашивки за ранения. С почтением отнеслись офицеры и к сапогам майора. Не кирзовые, а самые что ни на есть неудобные и малоносимые – из парусины, беззащитные перед любой слякотью, снимать их с ног намокшими – сущая мука, если б не дырочки для шнурков. На передовой за такие довоенного образца сапоги не дадут и пачки махорки, майора, сомнений нет, обворовали в госпитале. Погоны выцвели и обтерлись, просветы на них еле угадывались, а звездочка на правом плече не приколота, а прищита красной сурою ниткой. Вид, конечно, убогий, но вполне соответствует офицеру, не умеющему ладить с интендантами. Все офицеры на курсах были обмундированы не полностью, но выглядели опрятными. Со строевого смотра в году этак 1938-м погнали бы

любого, но для военного округа на третьем году войны все смотрелись почти образцовыми.

Чувствуя неодобрение офицеров, понимая, что от доброго слова их, если приедет комиссия, зависит его судьба, Фалин добавил скороговоркою: — А с табачком поможем!

Возможно, Висхонь ожидал большего. Здесь, конечно, не щедрый фронт, а скаредный и жадный тыл, но между «положено» и «запрещено» разница не такая уж значительная, на всякий запрет всегда в армии найдется документ с разрешением. Чувствуя за собой какую-то вину, Андрианов вызвался провести майора к начальнику ПФС, чтобы передать тому приказ Фалина о табачке. В коридоре они и познакомились, пожали руки. Одна строчка из удостоверения личности заинтересовала Андрианова, Висхонь, оказывается, прошлой зимой воевал в соседней дивизии, и когда Андрианов сказал ему об этом, Висхонь не подтвердил и не опроверг это, не ответил. Как показалось Андрианову, майор не хотел ни о чем вспоминать, устал, наверное, от прошлого.

Фронтовая норма — две пачки папирос на день. Висхонь получил тридцать пачек тонюсеньких «В атаку» и рассовал паек по карманам. Начпрод (так на курсах все звали начальника ПФС) не стал выданное отмечать в аттестате. Поэтому, наверное, и запомнил его Висхонь. Поблагодарил и пошел в сторону КПП — коренастый, приземистый, привыкший не просто ходить в строю, а возглавлять его, идти впереди, спину чуя за собой взводную, ротную или батальонную массу людей, послушных шевелению его лопаток. Даже вне строя настоящий командир чуть притормаживает на повороте, он словно дает время сзади идущей колонне забежать вперед правым или левым плечом, и люди, следом идущие, глаз не сводят с фигуры своего командира.

Такая походка была у Висхоня. Боевой офицер, строевой командир. Ему бы сейчас — для отдыха — в гущу мирных людей, на хорошую квартиру с пухленькой вдовушкой и базарными харчами. Но — ни денег, ни настоящей офицерской одежды. Любая областная комендатура еще на вокзале вцепилась бы в майора, и рубить бы ему строевым шагом все две недели отпуска.

Получить здесь, на курсах, новое обмундированиеказалось Висхоню таким маловероятным, что он и не заикнулся о такой возможности, да и Фалин попросту выгнал бы его за наглость, тут уж абсолютно точно: «не положено».

И тем не менее ровно через сутки майор (три ордена и пять медалей на кургозой, стиранной-перестиранной гимнастерке) вновь появился на курсах и получил новехонькое офицерское обмундирование у начпрода, распорядителя тех богатств, на которые можно было выменять все, что душа просит. Ни за какие деньги не отдал бы он комплект формы, но и не с пачкою сотенных пришел к нему Висхонь. Майор принес, догадываясь знавший начпрода Андрианов, то, что раскрывает двери всех складов и хранилищ: золото. Перстень с печаткой, возможно. Колечко обручальное. Не исключено, что и николаевский десятирублевик. Или брошь. Женские часики. Увесистый портсигар.

Никогда, это уж точно, не держал в руках такого товара Василий Григорьевич Висхонь. Зато им в изобилии обладал нагрянувший в Посконцы старший лейтенант Калинниченко Николай Дмитриевич.

Позднее, когда Андрианова терзали допросами, он без нажима рассказал, о чем просил Висхонь в кабинете Фалина, не мог не рассказать, другие свидетели нашлись бы, но уж о Калинниченко помалкивал. «Видел как-то издали...» – только и признался. Вся жизнь его составлялась как бы из двух, примерно равных по времени частей, в одной из них – бесконвойной – он напитывался впечатлениями, а во второй, арестованный или уже осужденный, осмысливал нажитое, впитанное. Брошенный в камеру гауптвахты, он предавался размышлениям о том, какие узы связывали Висхоня, всегда жившего по уставу, честно и незлобно, и Калинниченко, ловкача, мазурика и фальшивомонетчика. Поведением и внешностью Николай Дмитриевич смахивал на немца, как его представляла контрразведка, обязанная разоблачать врага, проникающего в охраняемые порядки. Одет он был многочище Висхоня, ни латок, ни штопок на брюках и гимнастерке, носившей обычный фронтовой набор – медали, «Красная Звезда», нашивочка за ранение и – ни к селу ни к городу – значок «Готов к ПВХО»: две цепочки отходили от круга с противогазом, бомбовозом и еще чем-то, и цепочки эти цеплялись к шасси самолетика типа У-2. Беленъкие волосики всегда приглажены, нос прямой, арийский, руки длинные, ловкие, хваткие. К тому же Калинниченко обладал поразительной способностью уламывать, уговаривать людей, склонять их к чему угодно, но только не к выполнению служебных обязанностей. С Висхонем

распрощался он на гурьевском вокзале, пути их лежали в разные стороны, Николая Дмитриевича тянуло в Среднюю Азию, куда перекочевала состоятельная публика, туда он и направился, но внезапно передумал и бросился вдогонку за Висхонем. По журналам учета военного коменданта станции известно стало, что Висхонь и Калинниченко воевали не вместе, предположительно, нигде встречаться не могли. Что заставило Калинниченко изменить маршрут и помчаться за Висхонем – это контрразведчики не выяснили.

Ни к каким документам и оперативным разработкам не прибегая, эту тягу Калинниченко к Висхоню понял Андрианов. В одной госпитальной палате лежали они, Висхонь и Калинниченко, рядом, а соседство койками означало – такие случаи не редки – бешеные споры, умилительные примирения через руки, сошедшиеся в межкоечном пространстве, и – взаимное сострадание. У соседей обнажалась не только плоть, разодранная пулями и осколками, но и те части биографий, которые при здравом рассудке никогда не прояснялись. У человека только начинали разматывать засохшие бинты, он еще молчит, стиснув зубы, а сосед уже испускает крик, будто это с него сдирают кровь и кожу, спекшиеся в корку. Так вот – содранными шкурами – и связывались в единое существо Висхонь и Калинниченко. Одни и те же руки врачевали их, одинаковые голоса убаюкивали, кости были общими. «Брат» – часто в Посконцах называл майора Калинниченко и не преувеличивал, родство было самое настоящее, кровное, в госпитальных палатах вместе с ранами затягивались и обиды. Но здесь же могли костылями изувечить такого же, как все, обрубка, на которого пала страсть молоденькой медсестры, той, что одна на всю палату...

Фалин, особист и замполит уехали в штаб округа сразу после захода солнца. За себя Фалин никого не оставил. «Послезавтра вернусь, – сказал он офицерам. – Вы тут без фокусов!»

Утром роты поднялись по сигналу, строем пробежали два километра, позавтракали, выслушали сводку Совинформбюро (на фронтах за 27 июня ничего существенного не произошло) и приступили к занятиям по плану. К полудню на обнесенной забором территории курсов собрались 345 курсантов и 34 офицера. Первая рота и два взвода Второй молодецки расправились с обедом, уступив место в столовой

сокурсникам. Офицеры обедали отдельно, за стеной, четыре столика вмещала комнатка, неизвестно для чего выгороженная строителями, сюда не проникал шум столовой, узкий коридор сообщал комнату с кухней, кому где сидеть и как – установлено не было, шестнадцать офицеров могли одновременно принимать пищу, вставали и садились не по команде, конечно, никто никого не торопил.

В этот день было жарко. После обеда офицеры обычно курили у подъезда штаба или под грибком, в тени. Отъезд замполита и особыста развязал языки, офицеры поругивали стихи в «Красной Звезде», окружное начальство, немцев. Человек двенадцать дымило у грибка, но половина их быстро, будто над головами просвистел снаряд, скрылось в здании штаба, когда разъехались, впуская виллис, ворота КПП. У грибка машина притормозила, шофер, запыленный ефрейтор кавказской внешности, громко спросил, где можно заправиться. Ему ответили, и тогда виллис покинул тот, кто так напугал сбежавших офицеров: полковой комиссар. Остри и недоверчиво глянув на офицеров, он жестом направил шофера к складу ГСМ. «Побыстрее!» – предупредил он. Офицеры побросали в урну недокуренное и вытянулись, сидевшие на скамейке встали, натянуто улыбаясь и проклиная себя за глупость: бежать надо было, бежать как только в открытом виллисе увиделся этот грозный комиссар.

А тот, подойдя к офицерам и угоствив всех «казбеком» (не одна рука потянулась к коробке), пустился в обычный комиссарский треп, стремясь молодцеватым внешним видом, рубящими жестами, прибауточками и доверительными, располагающими к откровенности разговорами создать о себе мнение, как о человеке и командире, без которого ни жить, ни служить, ни тем более воевать никак нельзя. Узнав, где он находится (то есть на курсах младших лейтенантов), он тут же начал поднимать «политико-моральное состояние», проявляя искреннее внимание к быту и боевой подготовке офицеров и курсантов...

Офицеры же отвечали и слушали, испытывая стыд и неловкость, с трудом подавляя злость. С разными политруками и комиссарами доводилось офицерам служить, они уже привыкли к тому, что те всегда поднимают дух, заодно укрепляя и веру, как будто сами они, офицеры, уже ничего не находят в себе для поднятия и укрепления. И сейчас, под грибком, офицеры чувствовали себя трусами, паникерами,

потому что такими их считал комиссар, потому что только трусам и паникерам, воинам, бросающим оружие при первом выстреле немцев, надо внушать, как это делал полковой комиссар, уверенность в том, что враг вот-вот побежит на всех фронтах и победа будет за нами не только в конечном счете, но и завтра, почти немедленно. Скрывая гнев и подавляя в себе досаду, офицеры внимали проповедям и мысленно торопили солдата на складе горюче-смазочных материалов: да налей же ты в этот виллис полный бак и канистру впридачу, и пусть этот комиссар поскорее убирается прочь!..

О том же молил, навёрное, и полковой комиссар, наглотавшийся пыли в открытом виллисе и торопившийся к своему штабу, где есть и банька, и еда, и мягкая кровать. Но виллис не появлялся. Как догадывались офицеры, шофер не хотел отдавать спецталон, воинское требование на бензин, и сейчас грозил кладовщику всяческими карами, вплоть до отправки на фронт.

Запал у полкового комиссара догонал. «Жалобы есть?» – сурово поинтересовался он, и офицеры стали, переглядываясь, выкладывать жалобы, по опыту зная, что такие залетные начальники удовлетворять их не будут. Говорили поэтому вяло, заранее примиряясь с тем, что их просьбам никто ходу не даст. Почта вот, сетовали, приходит на курсы с опозданием, не исполняется приказ о фронтовой норме питания, кормят по третьей норме, а курсы, даже если они в округе, приравнены, говорят, к действующей армии. И кино крутят старое, «Музыкальную историю» десять раз показывали...

Говорили, прекрасно зная, что комиссару не по силам, – да и власть у него малая! – организовать доставку газет из Москвы самолетами. И вытащить из виллиса коробки с новой кинокомедией он не может. И норму питания повысить, прикажи он, не даст ему начпрод.

Просто так жаловались, лишь бы отвязаться от вопросов, лишь бы потянуть время.

Кто-то из офицеров неожиданно изрек: – С приемом пищи, товарищ полковой комиссар, непорядок: в две, а то и в три смены ходят офицеры в столовую!

Застрявший у склада виллис дал о себе знать, послышался шум мотора. Комиссару дарилось время – хотя бы в какой-нибудь малости показать себя решительным и властным начальником.

— Где столовая? — спросил он так грозно, словно в столовой, именно в ней, таился источник временных неудач на фронте. Швырнул казбечину в урну и, на самые глаза натянув фуражку, последовал за офицерами.

Одного взгляда было ему достаточно, чтоб уяснить обстановку и узреть корень всех бед. Три длинных стола на шестьдесят курсантов располагались так, что четвертый, такой же длинный, не вмешался, мешала стена, за которой обедали офицеры.

— Безобразие! — взревел полковой комиссар, впадая в ненаигранное негодование, усиленное еще и тем, что на него взирали доедавшие кашу курсанты, вся Третья рота и половина Второй. — Да немедленно снести эту перегородку! Эту стену! И поставить еще один стол! Для офицеров! Вместе пусть принимают пищу! В гуще надо жить, в массе, чтоб знать ее!

Шумно войдя в столовую, комиссар столь же шумно и вышел. Виллис уже стоял у грибка, сесть бы сейчас ему и укатить. Но без еще одного руководящего указания покинуть проинспектированные курсы комиссар не мог и оглядел озадаченных приказом офицеров. Взор его замер на Висхоне, не мог не задержаться на нем. Майор, считая себя на курсах человеком случайным, не состоящим на службе в данной воинской части, покуривал не у грибка, а чуть поодаль, как бы на отшибе, и — на что уж никак нельзя было не обратить внимания — был одет в новую, ни разу до него не ношенную форму. Ордена и медали, перенесенные со старой гимнастерки на новехонькую густо-зеленую, придавали Висхоню убедительный вид строгого командира, настоящего военачальника. Погоны еще не умятые, фуражке мог бы позавидовать сам военный комендант, лишь парусиновые сапоги напомнили офицерам того полуоборванного отпуска-ника, что вчера приходил к Фалину.

Более всех удивлен был Андрианов: ну, зачем Висхоню переобмундировываться во все новое? На передовой в этой гимнастерке засмеют, а в госпитале ее подменят. Единственное объяснение: человек хочет, переодевшись во все ненощенное, вернуться в лейтенантское прошлое, когда воздух не дырявят металлическими штуковинами и когда розы не в диковинку.

— Фамилия?.. Как ваша фамилия?.. — подскочил к майору полковой комиссар. — Висхонь?.. Так вам, товарищ Висхонь,

я поручаю навести порядок в столовой! Снести перегородку! И вообще проконтролировать! Ответственным... Строго накажу...

Шофер дудкнул, подзывая хозяина. Уже из отъезжающего виллиса офицеры услышали фамилию того, кто разом возвысил пришлого человека. «... политуправление... полковой... ссар... Болдаев...»

Истуканом стоявший Висхонь отнял руку от фуражки и поспешил к КПП. Так же торопливо разошлись офицеры, не придав никакого значения приказу о сломе перегородки. Невыполнимых, идиотских и безграмотных распоряжений и указаний наслышались они вдосталь, они же впрочем и знали, что лучший способ избавить себя от мыслей о дураках и невежах – это выполнять их приказы впопытке и бездумно. Поэтому о полковом комиссаре Болдаеве тут же забыли, уверенные в том, что и Болдаев не помнит уже, что наприказывал он в пункте заправки горючим. Да и Фалин завтра приедет, рассуждали офицеры, вот пусть и решает, ломать стену или оставить ее нетронутой.

Через час однако связист принял телефонограмму, отправленную со станции. Шеболдаев была фамилия комиссара, а не Болдаев. И полковой комиссар Шеболдаев назначал майора Висхоня ответственным за проведение спецмероприятия.

Андринов как раз собирался в Посконцы. Его и попросили довести до сведения майора полученное официальное распоряжение.

– Таких, как этот Шеболдаев, жалеть надо, – комментировал Андринов события тринадцатилетней давности. – Взвинченные, суматошные, горячечные, слюна изо рта брызжет, рука хватается за пистолет на боку. Страх в крови поселился и кровью разносится по всему телу. Человек страстно хочет дожить до заката, до ночи, но темнота не избавляет от гнетущего ощущения неотвратимой гибели. Немцы рядом – страшно, немцев поглотила темнота – еще страшнее. Ну, а этот, Шеболдаев, паниковал еще от затянувшейся переаттестации. Ввели новые звания, полковому комиссару с четырьмя шпалами ходить бы в полковниках с тремя звездами на погонах, но когда стали менять шпалы на звезды, сразу оказалось: младших офицеров много меньше того, что поглощает кровопролитная война, зато среднее звено взбухло от майоров, подполковников и полковников, вот и приходилось понижать многих в званиях, кое для кого

это было оскорбительно, и полковые комиссары не хотели превращаться в майоров, это же умаление их заслуг, чуть ли не понижение роли партии. Вместе с новыми званиями вводилось и единоначалие, комиссаров упраздняли, политруков тоже. Вот и носились по тылам разные политработники, отдавали бессвязные приказания и мчались дальше. Несчастные люди! Бестолковые командиры.. Армия, казнивая лихими приказами. Они ведь никогда не соответствовали мыслям и намерениям тех, кому отдавались. И стало уже правилом: отступление от приказа выгодно бойцам и командирам, сопряжено с меньшими потерями...

Нашел он Висхоня в просторном доме старухи, в пристройке к нему, в комнате, имевшей выход в сад через крыльце, и комнату уже занял старший лейтенант Калининченко, приятный, располагающий к себе блондин лет тридцати, в нательной рубахе и тапочках на босу ногу, чуть пьянейский и кривляющийся ровно в той мере, чтобы гость – Андрианов – чувствовал себя равным, своим, родным, не ожидающим приглашения к столу, потому что стол – для него, стол общий, он для всех людей с погонами. Стол же, выражаясь по-старинному, ломился от яств, извлеченных из подвалов, погребов и подвалов села, от еды, которой давно не видел Андрианов: свежие и малосольные огурчики, сало с желтыми отметинами чеснока, сметана в глечике, пузырящаяся яичница с колбасой, связка зеленого лука, красные помидоры, пористый белый хлеб крупными толстыми ломтями. Заточенным немецким кинжалом Андрианов стал нарезать сало. Висхонь сидел напротив, голова его, бритая наголо, начинала после госпиталя выращивать на себе рыжеватый пушок, белесым полумесяцем облегавший шрам. «Ешь, Вася, ешь, набирайся сил...» – приговаривал Калининченко, любовно подкладывая ему на тарелку мелко нарезанную колбасу, посыпая солью огурцы. Висхонь жевал так осторожно и медленно, словно у него болели зубы, и Андрианов подумал, что, знать, хирурги отсекли майору часть желудка, дав наказ: есть поменьше, но почаще. Калининченко же как бы между прочим, вроде бы не очень-то интересуясь ответами Андрианова, спрашивал его о том о сем, о погоде, о положении на фронте, об удаях посконских коров, и Андрианова не оставляло ощущение, что Калининченко рассматривает его с разных сторон, вертит его так и

сяк, подносит к свету и вглядывается, как в предмет, ценность которого не очевидна. Наконец он пришел к выводу, что предмет – не поддельный, что перед ним вполне разумный человек, для брата его Васи не вредный, и, прия к такому выводу, Калинниченко перестал кривляться и серьезно сказал, что хотел вот смотаться с Ваською в райцентр, там все-таки повеселее, бабы есть, и Ваську удалось приодеть, да вот этот дурацкий приказ полкового комиссара, о котором лучше бы не слышать...

– Дурачок, – ласково укорил он Висхоня. – Получил шмотье – и бегом сюда. А ты под начальство полез... Кому показывался? Перед кем... Столовую теперь навязали тебе... Кушай, кушай, Этот кусочек и этот, сплошной витамин, соки земли...

Любование братом и другом было в голосе его, и превосходство вольного человека над служакою, который по рукам и ногам повязан уставом.

Ни в каких офицерских компаниях не засиживаться – такое правило соблюдал Иван Федорович Андрианов, и как только Висхонь проглотил последний кусок и встал, поднялся и он, пошел погружаться в свою бочку и, сидя в ней, слышал, как оставшийся в одиночестве Калинниченко на-свистывает довоенные мелодии. Тонкий, искусный свист пролезал во все щели, и Андрианов, полузакрыв глаза, вспоминал до боли знакомые мотивы: «Если завтра война...», потом «На границе тучи ходят хмуро», затем «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». И ни одной фронтовой песенки, даже той, что сразу, подхваченная и немцами, запелась по всей линии многотысячного фронта, – «Темную ночь» из фильма не хотел держать в душе и памяти Николай Дмитриевич Калинниченко. Филигранно высвистывались мелодии, артистически, и все обрывались многозначительной паузой, она-то и намекала на пропасть, отделявшую явь посконского бытия от сладких снов прошлого, от грез по былому, но ни нотки злорадства не улавливалось в стиле исполнения. Над псковским вокзалом громыхала в июле 1941 года «Широка страна моя родная», извергалась из рупора, и стоявший рядом с Андриановым мужик непризывающего возраста вдруг промолвил: «Вот и конец пришел широке-то..» Тихо сказано было, одними губами, но ненависть усилила полуслепоту до многоголосого хора, погромче того, который разносил над вокзалом ликующие слова.

Слушая художественно-артистический свист Калинниченко, Андрианов представлял себе руки его, как будто они, а не губы, исполняли эти мелодии, вспоминал его пальцы. К рукам своим старший лейтенант относился, как музыкант к скрипке, как мастер к инструменту. Прежде чем взять вилку или нож, пальцы пробегали по ним, ощупывая на расстоянии, убеждаясь в том, что прикосновение к металлу не обожжет и не уколет подушечки пальцев. Фалангами согнутых пальцев Калинниченко узнавал температуру чайника на керосинке, наматывал на руку полотенце, прикручивал фитиль, и лишь затем переносил чайник на стол. Что бы он ни делал, а за руками следил, будто их подстерегала опасность. Это были особо чуткие руки, и такие руки Андрианов уже видел — в Крестах, и кому такие руки могут принадлежать — тоже знал.

Калинниченко поджидал его у калитки. Протянул пистолет, немецкий вальтер.

— Диоген, просьба у меня... Присмотри-ка ты там за Васькой, дров он там наломает, сердце мое подсказывает. Он ведь дурной, Васька. Лады?.. Пушку ему дай, мало ли что, а уж я тебя отблагодарю...

Беспрепятственно миновав КПП, молча приняв пистолет из рук Андрианова, спросив, где связисты, майор Висхонь приступил к спецмероприятию. Оно, возможно, и казалось ему дурным, но сомнения отпали, когда он прочитал телефонограмму, и начал майор с осмотра поля предстоящего боя, со столовой. Там уже давно отужинали, kleenку на столах промыли, курсанты на кухне чистили картошку. Висхонь шагами измерил столовую, сделав, как потом выяснилось, незначительную, но крайне существенную ошибку. Кулаком постучал по стенам закутка, выгороженного офицерам. Дежурный по кухне, впервые видевший майора, бросился к дежурному по курсам. Тот, знаяший о каком-то мероприятии, успокоил: «Да не мешай ты ему...»

Третий вечер соблюдался траур, клуб закрыли, курсанты в казармах занимались кто во что горазд. Незнакомого майора встретили с некоторой опаской. Оживились, однако, когда услышали: кто на гражданке строил или ремонтировал дома? Такие немедленно нашлись, потому что хотели избавиться от политбесед, занятый в поле и прочих воинских обязанностей, бывшие столяры, каменщики и плотники решили, что их отправят в колхоз на несколько дней. После

придирчивого отбора строительная бригада из двенадцати человек строем направилась в столовую, прихватив в гараже топоры, ломы и кое-что из мелкого инструмента. Столы сдвинули, давая работе простор. Висхонь поставил боевую задачу — перегородку снести! Курсанты заколебались, и тогда Висхонь произвел два выстрела, в потолок, из вальтера, и двенадцать человек, целое отделение по армейскому штату, с ломами наперевес атаковали перегородку.

Через час все было кончено. К столовой прибились квадратные метры, обденные столы расположились не по-перек, а вдоль, параллельно им и поставили четвертый, тоже на шестьдесят человек, принесли его из казармы Второй роты, предназначался он офицерам, о чем и предупредил начпрова Висхонь, покидая курсы.

Никто его не задерживал, никому он здесь не был нужен. И Висхонь в этих курсах никоим образом не нуждался, свое он с них получил — брюки, гимнастерку и фуражку, офицерский ремень и портнянки. Он исполнил приказание старшего начальника, снес перегородку, теперь можно вернуться к тому, что приказывали ему генералы и полковники в госпитале, то есть к лечению отпуском.

И все дни, вплоть до своего исчезновения, майор загорал в саду Лукерьи, в синих длинных трусах, и бабы, по разным нуждам заходившие к Лукерье, смотрели на Висхоня и всплакивали, потому что майор весь — от макушки до пяток — был иссечен шрамами, исполосован рубцами и стежками, следами хирургических штопок. На каждом крестьянском дворе есть не годный ни к распилу, ни к расколу обрубок дерева, чурбан, на котором рубят дрова, щепят лучину и укорачивают ветки до размеров печи. Когда такой обрубок, иссеченный до безобразия, надтрескивается, его бросают в огонь. Но и там он не горит почему-то. Тогда головешку эту выхватывают из печи и зашвыривают.

Таким вот обугленным обрубком и был майор Висхонь. Бабы, поплакав и погоревав, несли Лукерье сметану, масло, яйца, чтоб та ни в чем не отказывала племяннику. Одна из баб, посмелей и помоложе, предложила майору напрямую — пусть у нее поживет, телом она еще крепкая, на что Висхонь ответил непонятно: «Давно это было...»

— Я тоже в столовой был, издали видел, как штурмовали перегородку, своими ушами слышал, как стрелял в потолок

Висхонь, и тогда еще задумался, а надо ли было стрелять? Когда идут в атаку, стреляют не по немцам, а куда придется, и «ура» кричат не для запуга немцев, а чтоб чувствовать себя в общей массе атакующих. Но здесь-то, в столовой, зачем стрелять, да еще дважды? Ну, один выстрел, понимаю, мог сойти за случайный, два выстрела, значит уже намеренно, с какой-то целью. Думаю, Висхонь не очень-то уверен был, что поступает правильно, разрушая стену, и курсанты сомневались, побаивались. Выстрелы отбросили все сомнения и колебания, под грохот их можно было крушить, ломать, поджигать...

Новые порядки в столовой офицерам понравились. Службу на курсах они понимали как отвод в тыл с передовой, сон в мягкой постели ставили превыше всего, а теперь время, отводимое на прием пищи, укоротилось на полтора часа. Не четыре столика на шестнадцать человек, а один большой длинный, не располагавший, правда, к беседам, зато даривший офицерам свободное времяпровождение. Кто читал, кто спал, кто отпрашивался на станцию за новостями.

И курсантам пришлась по нраву перестановка столов, а то, что офицеры сидели и ели в открытом соседстве с ними, сделало пищу еще вкуснее и обильнее. Какими-то ничтожными граммами офицерская норма питания отличалась от курсантской, для закутка, скрытого от посторонних глаз, начпрот Рубинов находил дополнительный кусок мяса. Теперь же интендантам пришлось разницу в нормах уничтожить, каша на всех столах стала одинаково масляной, суп курсантам подавали не жиеным, как прежде, а густым, котлета им же — сочностью, размерами, мясовитостью, так сказать, — теперь ничуть не походила на те комки, в которых было все, кроме мяса.

Радовались курсанты и тому, что получили наконец возможность рассматривать со всех сторон — и сзади, и спереди, и сбоку — офицерскую официантку Тосю, ранее лишь мелькавшую, наглоухо закрытую от сотен глаз непроницаемой перегородкою. Этой Тосе посвящали стихи поэты Третьей роты, на нее, завистливо стиснув челюсти, посматривали ядреные парни Первой роты.

Общая и сытая пища сблизила и даже сдружила всех в столовой, снос перегородки благотворно подействовал на дисциплину, занятия начинались и кончались строго по распорядку, служить и учиться стало легче. Со станции привезли газеты, дотошные курсанты Третьей роты изучили

подшивку «Красной Звезды» и обнаружили странный факт: под статьями нет названий фронтов – ни Брянского, ни Центрального, ни Воронежского. Коротко и непонятно: Действующая армия. Все почему-то решили, что через несколько дней придет приказ командующего округом и перед строем вручат офицерские погоны.

Прошло всего двое суток общих обедов и общей нормы питания – и вдруг возроптали офицеры. Достоинства закутка, в котором раньше они обедали, теперь оценились ими в полной мере. Туда можно было приходить вольно, когда хочешь, офицеры чувствовали себя вольными людьми – в отличие от курсантов, которых строем водили в столовую и по команде сажали. Офицерам, оказывается, нравилось приходить в свой офицерский уголочек по очередности, которая часто нарушалась. Погоны, недавно введенные, живо напоминали им об армии, какой была она да революции, а та армия, русская армия, давала офицерам разные привилегии, послабления в тяготах службы, избранной ими добровольно, чего нельзя сказать о солдатах, призываемых ежегодно, и в той армии отделение офицерского быта от казарменного порядка, в котором пребывали нижние чины, было обязательным. В закуточке, о чем с теплотой вспоминали, отнюдь не обильная офицерская пища дополнялась невесть где добытым шматом сала, ранней зеленью, огурчиками, в стакан чая опускался лишний кусочек сахара, на что-то вымененный. Втихую, без Фалина и замполита, по кружкам разливался самогон. Строжайшие указания того же Фалина или замполита напоминали офицерам далекую, ушедшую в прошлое семейную жизнь, раздраженные голоса жен или матерей: «Да сколько ж можно звать тебя к столу?! Щи стынут...» После ужина в закуточке обменивались новостями, изучали сводки, давая им свое толкование, далекое от газетного, решали вопрос о втором фронте. Кое-кто будто бы случайно касался плеча или руки недотроги Госи.

Нет, новая жизнь в освобожденной от перегородки столовой стала решительно не нравиться офицерам! Их к тому же угнетало таинственное исчезновение руководства курсов. Фалин, замполит и особист будто в воду канули, не возвращались из штаба округа. Дали туда телефонограмму, ответом было мало кому понятное указание замполиту, от него требовали отчет о работе, проводимой в свете постановления

ЦК от 24 мая. Из ответа заключили: ни в одном управлении штаба Фалина нет!

И курсантам тоже — курсантам, переведенным на офицерское довольствие, новая жизнь перестала нравиться! Когда еды много меньше того, что требует желудок, ее дежажка проста и справедлива, прибавка же в хлебе и мясе породила затруднения, подозрения и обиды. Из столовой курсанты шли злые, без приятного ощущения сытости. Будто воруя, если они, опасаясь расплаты неизвестно за что. Человеку на службе особо дороги те часы и минуты, когда он выпадает из власти командира и сам собою распоряжается, на это распорядок дня отводил полтора часа, к ним курсанты присоединяли столовую, когда в ней нет офицеров. Тогда можно нарушать форму одежды, рассказывать анекдоты за столом, зубоскалить с официантками. Опоздавшие пробирались к своему месту, кого-то обязательно задевая, под тычки и быстролетные ругательства, без которых немыслим мужской коллектив.

Ныне этой вольнице пришел конец. Опоздавшие уже не рвались в столовую, потому что командиры взводов могли их заметить и наказать. Они пристраивались ко второй смене и часто покидали столовую голодными. За прежде шумными столами воцарилось угрюмое молчание, слышался лишь металлический перестук ложек да те хлюпающие-чавкающие звуки, которыми сопровождается прием пищи двумя сотнями ртов. Курсанты вспоминали время, когда офицеров в их столовой не было, и находили, что майор Висхонь (о полковом комиссаре никто не помнил) не продумал что-то до конца, отдавая приказ об уничтожении стен. Такого же мнения были и офицеры, уже открыто говорили они о том, что этот самозванец Висхонь либо дурак, либо провокатор, либо — надо бы стукнуть особысту — немецкий агент, засланный для морального разложения тыла.

И по курсам пошел гулять слух о каком-то или чьем-то предательстве, в Третьей же роте стали поговаривать о зреющем заговоре против товарища Сталина.

Слухам никто не верил из-за полной неправдоподобности их, но они держались и нашли неожиданное подтверждение, когда группа офицеров и курсантов бдительно глянула на содеянное Висхонем. Рулеткой, с точностью до сантиметра, была измерена столовая, столы и скамейки, по следу на потолке установлена толщина перегородки, которую, ока-

зываются, можно было не сносить, и вообще никакой нужды стрелять и штурмовать не было, потому что в курсантской части столовой свободно разместился бы еще один стол, укороченный, ровно на сорок человек, с лихвой хватило бы на всех офицеров. Но еще лучше – удлинить закуток, отгородить офицерам не уголок столовой, а пятую часть ее, поставить там тумбочку с шахматами, доску с «Правдой» и разными приказами по курсам. Перегородка же, кстати, была из фанеры, оббитой деревянными рейками, не каменной, не кирпичной, как сгоряча определил Висхонь, и зря он искал в казармах каменщиков.

Начпрод Рубинов, богатый на идеи, подал верную мысль: перегородку восстановить! Стали собирать тех, кто ее ломал, но никто не хотел признаваться. Искали каменщиков, будто все зло в них, но ни один из тех, кто до войны работал с кирпичом, на просьбы, объявления и приказы не отзывался. Калинниченко, прослушавший о каменщиках, издевательски спросил Андрианова: «У вас там что – гонение на масонов?» Сам он спал, пил, кормил брата Васю, председатель колхоза распахнул перед ним все амбары и кладовые.

Именно в эти дни кто-то из офицеров отправил в штаб округа паническую телефонограмму, говорилось в ней о столовой, о перегородке, о немецкой агентуре, еще о чем-то, об исчезновении Фалина, о разоблаченном курсанте Николюкине, лазутчике и диверсанте. Позднее телефонограммы еще более страшного содержания косяком пошли в штабы и комиссариаты округа, все они были получены, и ни по одной из них меры не приняты. Как потом выяснилось, за две недели до Курской битвы по всем частям всех армий разослали план по маскировке и дезинформации, узлы связи многих подразделений замолчали, радиостанции частей, находящихся на переднем крае, отвели в тыл, и среди этих продуманных мероприятий было и такое – намеренное засорение проводных линий связи текстами, вводящими противника в заблуждение. К плану мероприятий прилагалась таблица условных сигналов, под «столовой» штабы подразумевали «танкоремонтный полк», который отстоял от Посконц километров на сто к юго-западу.

Курсант Николюкин проник в закрытую и опечатанную комнату особыста, где его и застукали. Как назло, Андрианов в ту ночь дежурил по курсам, ему и доложил перепутанный карнач: в зарешеченном окне особыста виден бегающий

свет фонарика. Капитан Андрианов не хотел подпадать ни под какое военно-уголовное разбирательство, поэтому он ограждал себя заранее свидетелями или, наоборот, старался не иметь их. «Караул в ружье!» — приказал он, поскольку иного выхода не было. Поднятый по тревоге караул заблокировал здание штаба, карнач и Андрианов ворвались в комнату, включили свет. С пожарным топориком в руке посреди ее стоял бледный до синевы курсант Третьей роты Николюкин. Ящики письменного стола лежат, выдернутые, на полу, шкаф взломан, повсюду какие-то бумаги, и что в них — смотреть никто не осмелился. Вскрыт и хлипкий сейф, но там пусто, или было пусто. Примчался командир Третьей роты капитан Христич, с интересом глянул на Николюкина и произнес: «Ага». Никто ни о чем курсанта не спросил. Всем и так все было ясно.

Комната себе особист выбрал по инструкции, в конце коридора, на изломе его, сидел он в ней, приоткрыв дверь, так, чтобы любой мог незаметно и быстро юркнуть в комнату. Осведомители, то есть стукачи, успевали войти в штаб и покинуть его, ни у кого не вызвав подозрений. Впрочем, их, стукачей, на курсах не было, или почти не было, да и какой смысл искать информаторов среди переменного состава. На обработку и принуждение к подписи затрачено время, секретный сотрудник ни одного донесения не дал, а на него надо уже писать похоронку. Поэтому своих людей особисты искали не на передовой, а в долгоживущих подразделениях, там, где потери личного состава крайне незначительны, то есть в штабах дивизий, корпусов и выше. Только будущие историки, полагал Андрианов, поведают о том, как испоганили энкавэдэшники штабы действующей армии наглыми доносчиками, ища шпионов там, где их отродясь не было и не могло водиться, и вред, причиненный контрразведкой, превышает все заслуги ее.

Зачем Николюкин полез к особисту — это Андрианов и Христич понимали. Завербованные до курсов осведомители обязаны были, наверное, встать на свой энкавэдэшный учет у особиста, и Николюкин, то ли до армии еще, то ли где-то по дороге на курсы — в райкоме или военкомате — завербовался или был завербован, здесь о себе особисту доложил, заодно что-то еще шепнул, какую-то бумагу написал или подписал, а ныне, пользуясь отсутствием особиста, решил бумагу эту изъять.

Комната закрыли и вновь опечатали. Составили акт, Николюкина до выяснения всех обстоятельств посадили в камеру гауптвахты, выставили у нее часового. В полдень его накормили, связали ему руки и посадили в додж, сопровождавшим его курсантам выписали командировочное предписание, приказ был четким: на станцию, оттуда — поездом — в штаб округа.

Курсанты вернулись через несколько часов и тут же сами, без приказа об их арестовании, пошли на гауптвахту, потому что проворонили Николюкина, тот бросился под поезд, погиб, покончил с собою.

Пришибленная еще одной новостью, Третья рота опоздала на ужин. Первая же расшалилась и вечером затеяла какие-то детские игры на спортплощадке.

К уже кочевавшим слухам прибавились новые. Будто Фалин и замполит застрелены особистом при попытке их перехода к немцам. Что на курсах орудует свившая себе гнездо террористическая группа из предателей Родины, подтверждением чего стало самоубийство Николюкина. Что погибшие недавно курсанты разоблачили было предателей, но те исхитрились и подсунули им самовзрывающиеся гранаты.

Андрианов и Христич жили вместе, в одной комнате — две койки, одна тумбочка на двоих, один шкафчик, одна коробка мыльного порошка для бритв. Слухи о предателях Родины подействовали на них по-разному. Андрианов стал еще молчаливее, Христич перед сном совал под подушку пистолет.

Раздумывая позднее о безумии, поразившем офицеров и курсантов, Иван Федорович Андрианов объяснял его частично приближением грандиозного кровопролития.

Никто на курсах не знал, когда именно, в какой день и час начнется битва на Курской дуге, но что она готовится — ощущали все. Еще в мае подумывали о жарком лете 43-го года, из суеверия не указывая точно ни места, ни времени. Простой здравый смысл говорил, что немцы будут брать реванш за Сталинград, и летом, обязательно летом произойдет нечто, небывалым ожесточением превосходящее Сталинград, потому что весна немцами уже упущена и в короткую летнюю кампанию они вложат столько же сил, сколько ушло бы их на длительное, начавшееся наступление. Ленинград и Москва, где немцы уже обожглись, исключаются, значит — здесь, в центре страны, Курск, Воронеж, Белгород.

По сводкам — на фронтах тиши и благодать межокопных перестрелок, утихли даже воздушные бои, длившиеся весь

июнь. Тревожное ожидание стало привычным. Многие, ночью выходя из казарм, поднимали к небу головы и прислушивались. Оттуда, с запада, ни громыхания, ни жара. И самолеты не летают.

Иван Федорович видел по утрам офицантку Тосю и на весь день заряжался уверенностью, что и следующее утро будет таким же, как это, а какое оно, это начинающееся утро, — он не хотел знать, достаточно того, что есть еще женщины, способные быть женщинами.

У него после Крестов установилось особое отношение к женщине, точнее — ко всем женщинам.

В ленинградских Крестах просидел он восемь месяцев, обвинялся он сразу по трем или четырем пунктам статьи 58-й, и шел он в одном деле с работниками оборонного НИИ. Иван Федорович, тогда воентехник 2-го ранга, вооруженец по специальности, прикрепленный к вредительскому, как оказалось, институту, надолго задержался в камере, опустошившейся приговорами и наполнявшейся новыми приступами арестований. Все его сodelьники были уже расстреляны, четвертый по счету следователь, работавший с Андриановым, признания от него так и не добился, как и предыдущие следователи, что, однако, не помешало ему все-таки приписать Ивану Федоровичу несусветные преступления — по одному всего пункту, правда, но самому тяжкому. Андрианову грозило длительное заключение. Но, на его счастье, Ленгорсуд ударился в амбиции, отказавшись принимать к рассмотрению дела, подсудные Военной Коллегии, а та отбрыкивалась. Сама судьба давала Ивану Федоровичу время, чтобы обдумать себя и эпоху, которая слепой стихией далась ему так же, как форма носа или рисунок ушного завитка. Вспоминая о жизни, что за стенами тюрьмы, вникая в разговоры сокамерников, Иван Федорович размышлял о том, что он называл и г р а м и людей. Люди, оказывается, играли! Не жили, не служили, а подбирали себе роли, чтобы выжить в пьесах, которые сами написали и сами поставили. Масками и балахонами люди прикрывали жалкие, трясущиеся тела, создавали сценические площадки, миры — уличные, трамвайные, служебные, магазинные, квартирные, семейные, и в каждом из этих миров вели себя в соответствии с правилами данного мира. Во множестве таких миров, рассуждал Иван Федорович, только и может

существовать человек, и горе всем людям, если они скопище миров подменят одним, общим и для улицы, и для трамвая, и для семьи. Разными нитями. каналами и переходами миры сообщались, отчего так устойчиво человеческое общество. Свой мир был и у следователей Крестов, и мир этот не был наполнен людьми, потными, веселыми или озабоченными, мир следователей сочленялся из поступков и слов людей в материалах оперативно-следственного дела номер такой-то. Задокументированная сфера этого мира пронзилась координатными осями статей уголовного кодекса. Шкафы, сейфы, письменные столы и ящики, набитые папками, содержали в себе описание этого мира, зафиксированные деяния людей, будто в других мирах не живущих. Кричи, требуй, настаивай, доказывай, что ты никак не мог встретиться с гражданином Б., потому что впервые слышишь о нем, потому что в момент приписываемой тебе встречи ты был не в Ленинграде, а в Одессе, — на всю вселенную ори, но веры тебе нет, потому что свидетельские показания опровергают твои, как выясняется, клеветнические измышления, а показания добты из таких же лживых папок. Так создавался нереальный мир, втягивающий в себя иные миры, проглатывая их, и любая попытка вырваться из притяжения несуществующей вселенной успеха не имела и не могла иметь, ведь не может же человек одновременно находиться на Луне и в Гатчине.

Незадолго до Крестов Иван Федорович познакомился с молодой веселой женщиной и упоительно проводил с ней вечера и ночи. Ему очень хотелось возобновить их, и он решил на отчаянный поступок. Расспросив бывалых сокамерников, поразмышляв о законах, по которым фантазировали следователи, Иван Федорович придумал спасительный план. Не к человеколюбию или справедливости взывать надо, это глупо и опасно, а огорошить Коллегию так, чтоб три бесстыдных юриста ценой оправдания Андрианова И.Ф. укрепили устои фальшивого, нереального, ими же, юристами, измышенного мира, сочли бы преступлением собственное желание покарать ни в чем не повинного воентехника 2-го ранга. Коллегия заседала в каком-то подземелье, при тусклом свете настенных ламп Иван Федорович увидел, только высокие спинки судейских кресел да серо-белые фигурки людей, вдавленных в кресла, все остальное засло-

нялось охранниками. Он напрягал слух и ловил каждое отвратительное слово в обвинительной речи. Прозвучал и постулат, объявлявший истинным лживый мир. Наконец раздался вопрос, признает ли себя подсудимый виновным, и Андрианов выпалил многократно отрепетированную тираду, маленькую, но емкую, как пузырек с ядом. Все обвинения, выстрелил он, основано на показаниях лиц, уже осужденных за клевету и подрыв обороноспособности, оклеветавших и его, о чем в деле есть признательные показания, поэтому он никакой не обвиняемый, а потерпевший!.. «На доследование!» – таков был приговор, единственный, возможно, за все время существования трех кресел с высокими спинками. А через месяц пришло еще и указание из Москвы о пересмотре многих дел, отливной волной Андрианова вынесло на асфальт ночного Ленинграда и прибило к дому, где проживала молодая веселая женщина. Здесь его ожидало разочарование, любимая, как сказали соседи, позавчера вышла замуж и укатила к месту новой прописки. Иван Федорович поплелся на вокзал, чтоб уехать к себе в Гатчину, и по дороге прилипла к нему, как потерявшая хозяина собачка, далеко не старая женщина с узорным платочком на голове. Она отогрелась в Гатчине и полюбила Ивана Федоровича. А тот, восстановившись на службе, мотаясь в Ленинград и обратно, видел в замешательстве, что бумажный следовательский мир уже раздвинул свои границы до бытовых склок, ресторанов, семейных бесед и трамвайных дрязг. Люди теперь говорили так, словно знали, что речи их станут показаниями, и жили они очень тихо, сдавленно, чтоб не быть заподозренными в чем-то. Люди изменились, люди давно изменились, но только после Крестов это стало заметно. С тем большим изумлением Иван Федорович обнаружил, что неодураченными, неискаженными и единственными реальными остались те моменты в жизни и любви, когда мужчина и женщина сплетались, проникали друг в друга, исторгая из себя восхитительный миг завершения, притупить который не по силам никаким оперативно-следственным бумажкам. Как ни изменились люди, а наслаждение по прежнему было острым, и никакие резолюции, конституции, постановления и решения не отменяли его. Только один мир сохранился в первозданности, вечности и неиспохабленности, тот, в котором были бедра, груди, улыбки.

Женщина с узорным платочком прожила у него недолго,

вскоре она познакомилась с другим мужчиной, от него ушла к третьему, но Андрианов ничуть не обиделся, он знал, что другая женщина даст ему еще большее чувство, и потом уже, где бы ни служил и ни воевал, всегда оглядывался, высматривая осколки того, что когда-то было жизнью. Он искал женщину — и всегда находил ее, и хорошо помнил день, когда председатель колхоза привел на курсы Тосю, худенькую девушку, которую начпрод прикрепил к офицерским столикам. Она боялась улыбаться при взрослых и подносы с тарелками носила поначалу не на вытянутых руках, а прижав к животику. Под взглядами сотен мужских глаз она хорошела с каждым днем, округлилась, походка стала порхающей. Ее ни разу не полапали, в семь вечера на КПП ее ждала мать, уводила домой, подальше от клуба, от казарм, от четырех сотен мужиков. К концу июня, отслужив два месяца по вольному найму, она вдруг преобразилась, в ней ни следа уже не осталось от смущающейся крестьянской девы, и выглядела она так, будто только что оторвалась от ненасытного мужчины: бескровленные губы как бы измяты долгими плотными поцелуями, в вибрирующем голосе слышатся — поздним эхом —очные стоны изнурительной любви. Но еще большие изменения произошли в день, когда офицеры сели за общий стол в общей столовой и Тося из «офицерской» официантки превратилась в «общую», из человека, приближенного к начальству, она стала внезапно никем и ничем, у нее отобрали поднос, потому что на единый длинный офицерский стол не надо было теперь носить тарелки с борщами и кашей, на него ставились кастрюли и уж сами офицеры наливали и накладывали себе. Она страдала. Лицо ее кривилось, губы морщились, она была так обижена, что никого не узнавала. На четвертый или пятый пыточный день она сдернула с себя передничек, швырнула его под ноги начпроду и ушла в родные Посконцы.

— Такая прелестная фигурка, такие смелые линии подбородка и лба. Какая жизнь расстилалась перед нею, сколько мужчин лежало бы у ее ног, если б подправить ей биографию, поместить в другую среду!.. А получилось так, словно она не испытав страха первого поцелуя, сразу попала в постель сладкоречивого разврата. И была им брошена, оставлена, выгнана.

Николюкин, застигнутый на месте преступления, бросился под маневровый паровоз, а несколько часов спустя на курсах появился особист.

Часовой на КПП его не узнал: голова в бинтах, рука на перевязи. Позвал карнача, тот — дежурного по курсам. Всех троих особист изругал матерно, что показалось более странным, чем бинты. Кажется, особист пешком пришел со станции, до того был измучен и весь в пыли. Попросил воды, жадно выпил две кружки. Рассказал, что случилось с ними, уехавшими в штаб, и услышанное так поразило дежурного по курсам, что он без околичностей брякнул: «Тебя тут немецкий агент почистил, все твои бумажки прочитал...» Особист всегда тихий, покладистый и неторопливый, стремительно пошел к себе, замер на пороге, здоровой рукой шарил по стене, ища выключатель, но так и не нашел его. Выручил дежурный, зажег свет. Будто слепой, особист, выставив перед собой здоровую руку, направился к раскрытому шкафу, потом поднял с пола одну папку, другую... Невидяще уставился на стол, на ящики стола, валявшиеся на полу, на бумаги, покрывавшие пол. Ни слова не произнес. Повернулся и пошел вон, не выключив света. Дежурный — ни жив, ни мертв — двигался сзади. Строевым шагом, как на плацу, особист приблизился к КПП и неожиданно бросился на часового, стал вырывать у него винтовку. Силы были неравными: особист владел только левой рукой, правая, забинтованная и загипсованная, мешала ему. Отброшенный часовым, услышав над ухом клацанье затвора, он (дежурный и карнач смотрели, разинув рты) стал вдруг вертеться на месте, стремясь как бы вывинтиться из себя, и пока вся дежурная служба таращила, ничего не понимая, глаза на извивающегося особиста, тот успел совершить задуманное: ремень с кобурой сдвинул под здоровую руку, достал ею пистолет и выстрелил себе в голову. «Готов», — сказал начальник медсанчасти, не прикасаясь к нему.

Труп завернули в брезент и продолговатым кулем уложили под забор у гаража. В штабе собрались офицеры. Самоубийство особиста всех напугало, в полное же оцепенение привело то, что особист успел рассказать дежурному. Фалин и замполит погибли.

Произошло это так. На третьем часу езды в штаб шофер заблудился и покатил по дороге с ямами и рытвинами. Фалин забеспокоился, с собой они взяли ящик с гранатами, в штаб, чтоб уж там определили, не самовзрываются ли они.

Ящики открыли, глянули, проверили взрыватели, поехали дальше. Потом особист попросил остановиться, надо, мол, нужду справить. Отошел, сел, машина же отъехала метров на тридцать и остановилась. Как видел особист, начальник курсов опять полез в ящики, во всяком случае, перегнулся и что-то делал на заднем сиденье. И — взрыв. Так рвануло, что особиста отнесло метров на пятьдесят. Подобрали его, контуженного и раненного, солдаты с проезжавшего грузовика, отвезли в свою часть, оттуда в госпиталь, там он отвалялся четыре дня, а потом где машинами, где поездом, ошибаясь направлением, пытался добраться до штаба, но получилось так, что попал на курсы.

Офицеры подавлено молчали. Глухая ночь, глухая тишина, за неделю погибло семь человек, не считая самоубийц. Начальник штаба сказал, что вступает в командование курсами — до выяснения обстановки и приказа о назначении. Труп отправить на станцию, на сохранение в леднике, штаб немедленно поставить в известность и ожидать следственной комиссии, от которой никому не поздоровится. Каравалы усилить, с сегодняшнего же вечера выставить на караульных вышках часовых с автоматами. Все свидетели самоубийства предупреждены, курсантам о прошедшем — ни слова. То есть сообщить, что ночью на курсы пытался проникнуть немецкий лазутчик («Все тот же мир!» — подумал Андрианов), но был застрелен. Соблюдать бдительность. Пресекать вредительские разговоры. Выявлять паникеров. Укреплять воинскую дисциплину. Ни на шаг не отступать от уставов и распорядка дня. Повысить политическую грамотность, для чего с утра во всех ротах провести читки последнего приказа наркома товарища Сталина.

Кто-то вдруг предложил: надо наконец-то перейти от слов к делу и вернуть столовой прежний вид, то есть поставить перегородку, снесенную не так давно.

Наступило долгое молчание. Длительность указывала на значительность того, что после такой паузы произносится. Но произнесено ничего не было. Никто не решался связать самоубийство особиста с разрушением перегородки, да и была ли связь?

— Вопросы есть? — спросил начальник штаба.

Опять молчание, оборванное почти мечтательной фразой одного из офицеров. — Арестовать надо...

— Кого? — удивился начальник штаба. Зато ничуть не удивились офицеры. Как-то так получилось, что череда диких происшествий подводила к этой естественной мысли:

арестовать – и все сразу образуется. Кого арестовывать – сказано не было, но фамилия, конечно, прозвучала бы, если б не начпрод Рубинов, преподнесший еще одну новость: продовольствие на исходе, с нынешнего дня норму придется урезать, всем, и курсантам и офицерам.

Никто не поверил. Почти ежедневно со станции доставляли мешки и ящики, посконцы на телегах кое-что подвозили, на складах, все знали, всего полным-полно, Рубинов вообще славился умением из воздуха добывать муку, соль, бензин, табак.

– Что случилось? – живо поинтересовался начальник штаба, и Рубинов, помявшись, посвятил всех в мучительную для него тайну. Да, признался он, продовольствие ежедневно пополняется с явным превышением прихода над расходом, и тем не менее каждое утро в котлы закладывается все меньшее количество мяса, круп и картошки. Как только стали всех кормить одинаково, продовольствие начало испаряться каким-то чудодейственным способом. Все расчеты показывают, что при равной для всех заниженной норме питания остаток должен быть в пользу склада. А его нет, остатка. Есть убыль. Продовольствие улетучивается, испаряется, исчезает на самих складах, что ли. Раз он начальник ПФС, то выкрутится, твердо заявил Рубинов, но надо, однако, приготовиться к худшему.

Офицеры разошлись, так и не узнав, кого арестовывать, ничуть не опечаленные страхами Рубинова. Что начпрод выкрутится – этому верили все, Андрианов тоже. Об интендантах сложилась худая молва, они, мол, все лихоимцы. На самом деле, считал Иван Федорович, честные командиры превращаются в проныр и казнокрадов идиотскими приказами генералов, окопавшихся в органах тыла и снабжения. Приспособливая эти приказы к привычкам вороватого начальника военпродукта на станции, к жлобству председателя колхоза, Рубинов и научился всегда сводить концы с концами, приходы и расходы, имея в запасе муку для пекарни и корову в колхозном стаде.

Иван Федорович не раз пытался разгадать тревожившую начпрода тайну – куда же все-таки улетучивается продовольствие со складов, и как раз в те периоды, когда для простоты учета распределяется оно поровну? Не связано ли это явление с теми событиями, что неизбежно вытекли из приезда полкового комиссара Шеболдаева, или причина их

покоится во тьме веков, на дне истории? Можно ли самоубийство осообщиста вывести из дурости начальника, приказавшего именно здесь, рядом с Посконцами, организовать военное поселение странного типа? Не от двух ли выстрелов в потолок Третья рота ускоренным маршем потопала к месту своей гибели?

Линии рассуждений Андрианова, намеченные пунктиром, пересекались, давая простор воображению, которое с одной линии перескакивало на другую, чтобы с нее плавно съехать на рядом прочерченную, и кончик нити всегда оказывался в сплетенном клубке следствий.

Что двигало людьми, и двигались ли они сами – об этом стал подумывать Иван Федорович на курсах, приблизился же он к ответу много позже, в декабре 1944 года, когда на десять секунд попал в самое невыгодное на войне положение, оказался в перекрестии нитей прицела, и немецкий снайпер отмерил ему на жизнь эти десять секунд.

Снайпер стреляет не по людям, а штучно, по человеку. Интервал между выстрелами – десять секунд, принимая во внимание мороз, неизбежное запотевание оптики и перезарядку специально сконструированной винтовки. Никакого пристрелочного выстрела настоящий снайпер не делает, он интуитивно учитывает плотность воздуха и температуру его, особенности процесса горения пороха, когда охлажденный морозом патрон досыпается в неостывший ствол. Отдача после выстрела смешает снайпера, секунда или две уйдут на восстановление прежней позы.

Все эти расчеты промелькнули у Андрианова, когда при быстрой перебежке он споткнулся, упал и, падая, увидел след только что чиркнувшей пули, попавшей не в него, а в кирпичную стену, ее он и услышал, она взвизгнула. Лопнувшей струной оборвался звук, который мог стать последним для Ивана Федоровича. До следующего выстрела – десять секунд. Но встать и метнуться в сторону уже не было никакой возможности: нога провалилась в какую-то яму, руки придавлены чем-то. Бой шел в каменных оставах домов на окраине Секешфехервара, начальник штаба полка майор Андрианов пробирался в батальон, начавший отступление из раскрошенного артиллерией квартала.

Десять секунд лежал Иван Федорович, ожидая смерти и отчетливо представляя себе, что делает сейчас немец и что произойдет после того, как в перекрестии немецкого прице-

ла окажется русская шапка-ушанка. Снайпер нежно потянет на себя спусковой крючок. Разжавшаяся пружина бросит вперед боек затвора, и тот вонзится в капсюль-воспламенитель. В гильзе загорится порох, гильза начнет испытывать все возрастающее давление газов, продуктов сгорания пороха. Итак, уже несколько физических объектов – палец, крючок, пружина, боек, капсюль, газы в гильзе, то есть то, что снайпер контролировать уже не может и за что ответственности не несет. Далее. Газы из гильзы выдавят пулю. Нарезы ствола приладут ей вращательное движение, способствующее попаданию в цель. Воздушная среда податлива и покорна, пулю она не остановит. Кожный покров лба тоже пуле не преграда. Кинетическая энергия заостренного металла столь велика, что от кости черепа пуля не отскочит, она войдет в голову, в вещества мозга. Но это еще не смерть, бывали случаи, когда пуля не причиняла человеку вреда, пронзая череп нас kvозь, и уж боли человек не почувствует: делаются же операции на мозге без какого-либо наркоза. Снайпер же дело свое сделал, он тянет к себе рукоятку затвора, экстрактируя гильзу, и готовится к следующему выстрелу. Он, кстати, даже кончиком пальца не прикоснулся к Андрианову, который тем не менее умрет. Но не от пули. И тем более не от немца. Умрет он от своего же собственного мозга. Некоторые участки его перестанут функционировать, а они контролируют жизнедеятельность организма. Нарушится ритм сердцебиений и кровь уже не будет подаваться в мозг, обескровливающий себя. Кое-какие мышцы уже не сократятся и не удлинятся. Резко упадет давление, снизится уровень восприятий, уши не примут звуковых колебаний, глаза начнут застилаться туманом. Нервные нити, замыкающие все клеточки тела в единую систему, откажутся выполнять только им свойственные обязанности. Они и убьют Андриanova. Они! Не пуля сразит его. Он сам себя умретvit! Сам! Не снайпер и не палец его, нажавший на крючок. Потому что если к снайперу и пальцу применить те же рассуждения, то в цепи событий будут – в обратном порядке – командир немецкого батальона, пославший снайпера именно на эту огневую позицию, командир 54-го немецкого корпуса, отдавший командиру батальона приказ защищать пригород Секешфехервара, командующий армией, повелевший стоять насмерть, и, наконец, сам Адольф Гитлер. То есть те же самые спусковые крючки,

бойки, газы, воспламенители. Россыпь ни с чем не связанных фигур и событий! Тем более бессмысленных, что через секунду или полторы они исчезнут насовсем, их вообще не было, смерть выведет Андрианова полностью, навечно из всех миров, кроме физико-химических процессов гниения.

Эти полторы секунды еще не кончились, когда две подряд разорвавшиеся мины подняли ввысь комки мерзлой земли, заслонив ими снайпера, а сдвижка кирпичей освободила руки и ноги Ивана Федоровича. Он откатился к стене, равнодушно подумав, что у снайпера сегодня неудачный день.

Каждый вечер в шашлычной Андрианов рассказывал про эти десять секунд, всякий раз недолго задумываясь и вопрошающе посматривал на собеседника, то есть на меня, желая услышать согласие или неприятие. Морозное декабрьское утро в Секешфехерваре преследовало его долгие годы, он обобщал частный эпизод до проявления закона, над которым люди не властны. Он, конечно, находил ошибку в своих рассуждениях, но не мог избавиться от притягательной силы мерцающей истины.

Я – молчал. Я его не понимал. Тогда – не понимал.

Трижды рассказывал Иван Федорович о себе и снайпере, четырежды – и все потому, что самому себе не мог объяснить, отчего восстала Третья рота.

Труп особиста увезли, ротам ничего сказано не было о ночном самоубийстве, но не знать о нем они не могли. Роты затаили в себе недоумение и обиду, располагающие к думам. Позавтракали быстро и – это стало уже привычным – в тишине. Офицеры нервничали – и не от дурной ночи. Утренняя сводка – сплошное благополучие, радость для воинства, как хмуро заметил Христич, бои местного значения. Никто сводке не поверил. Что-то происходило – на земле, в небе; что именно – не гадали, знали почти точно: началось! Ни глаз, ни ухо не улавливали с запада признаков сражения, но как чуткие обитатели джунглей возбуждаются задолго до пожара. Так четыреста человек утром 5 июля были охвачены страхом замкнутого пространства. Никто не хотел оставаться на территории курсов, все устремлялись наружу, в поле, и само собой получилось, что политзанятия во Второй роте были отменены, командир Третьей роты уступил Второй стрельбище и повел своих курсантов на «оборудование оборонительного рубежа».

Перед обедом рота без песен вернулась в казармы, не вошла строем, а вкрадясь стыдливо и виновато, и Христич рассказал Андрианову, что произошло в поле. Говорил тихо, предназначая рассказ только Ивану Федоровичу, для верности поглядывая на дверь комнаты. Его роте явился Висхонь, именно явился, возник будто из-под земли, хотя ничего неестественного в его появлении не было и не могло быть. Человек прогуливался, разминался после более чем недельного лежания у Лукеръи. Ни во что другое, как в свое офицерское, облачиться он не мог, и фигура майора, всем показавшаяся бравой, насторожила, а потом и всполошила курсантов, командиров взводов и самого Христича. Досадливым жестом Висхонь отверг попытку доклада ему, потом проворчал: делом своим занимайтесь, я тут на минутку... Курсанты продолжали рытье окопов, работали лопатами ленивенько, обычно старались, потели, вгрызались в землю, на спор – кто быстрее – вырывали стрелковую ячейку, но к концу курсов уже надоели лопаты и строевые песни, и окопы не столько рыли, сколько обозначали места, где возможны или потребны окопы, одиночные, парные или с расчетом на отделение. Ни бруствера, ни бермы, ни всего того, что обычную яму превращает в фортификационное сооружение открытого типа для ведения огня и защиты. Будто огород вскапывали. С шуточками, сбросив гимнастерки и рубахи. Примолкли, когда майор подошел ближе, оценили ордена и медали за ранение, невольно подтянулись, хотя чуть ранее майор как бы скомандовал «вольно». Было в Висхоне что-то такое, что заставляло всех видеть его, только его, командность, что ли, исходила от майора, люди рядом с ним изготавливались для получения приказа. Глянув на курсантские выемки, Висхонь, ни слова не говоря, протянул руку, и ему вложили в нее лопатку. Он осмотрел ее критически, повертел так и сяк. Курсанты обступили его кругом. Ожидали какой-нибудь фронтовой истории или басни, где главным действующим лицом была бы эта лопата с коротким черенком. Круг раздался, когда Висхонь лег вдруг на землю. Не упал, а сложился, сгруппировался, развернулся и оказался на земле, прижавшись к ней спиной, с лопatkой в правой руке. Лег, и так вот, лежа, майор начал лопаткой отбрасывать землю от ног, от туловища, смотря в небо. Он рыл окоп как бы под настильным огнем пушек и очередями пулеметов, чтоб ни одна пуля не попала в него, ни один

осколок, и рытье походило на цирковой номер. Земля не подбрасывалась лопаткой, а переносилась аккуратно. Наверное, даже в бинокль со ста метров нельзя было увидеть, как в досягаемости стрелкового оружия кто-то на виду, считай, пулеметов и винтовок — становится неуязвимым, зарываясь в землю. Пяти минут не прошло, а Висхонь погрузился в нее, как в воду. Еще столько же — и окоп, одиночный, в полный профиль, был готов. Майор несколько расширил его и чуть-чуть удлинил, раздвинул секторы обзора, приготовив окоп для обороны с тыла.

Тяжеловато рылось ему, гимнастерка увлажнилась потом, к ней прилипли комья. Легко выпрыгнуть из окопа он не смог, Христич протянул ему руку, помог. Висхонь отряхнулся и отышался. Сказал без гнева: — Покойничков готовишь, капитан. А ребятам надо жить, воевать и побеждать... Окоп, — добавил он, обращаясь уже к курсантам, — это твой дом и твоя могила. То есть тот же дом, но для загробной жизни... если такая есть... А в доме все должно быть под рукою. Выемку сделай — чтоб гранаты уложить. Ящик с патронами пристрой. С соседом познакомься, прикрой его огнем — он тебе добром отплатит. И помни: земля, которая окружает тебя в окопе и которая под твоими ногами, это твоя земля, только тебе принадлежит. И эту землю у тебя свои уже не отберут, только чужие...

Еще что-то сказано было, вполне безобидные замечания, ни к какой политике не относящиеся, но поговорил с курсантами Висхонь, ушел, а Христича прорвало, ругался он редко, перед строем тем более, сейчас же посыпал матом, завалил им всю роту, понимая, что матом хочет выбить то, что подчиненные услышали от Висхоня, — не славословия оконному искусству, а страшный для Христича, колхозника в прошлом, смысл, заключавшийся в том, что ...

На Андрианова повеяло Крестами, когда он услышал, как понимал майора Христич. На Ивана Федоровича навалилась каменно-могильная тяжесть тюремных стен и потолков, сдавленность коридоров, отнюдь не узких. Порасспросив Христича, он с облегчением подумал, что не мог за пять-шесть минут разговора с курсантами изречь какую-либо крамолу майор Висхонь. Этот не столько обстрелянный, сколько перестрелянный человек, когда-то, как и Христич, оторванный от земли, просто высказал свое мнение о связи людей с землей, которую они обрабатывают плугом,

бороной, лопатой. Майор за время службы столько раз зарывался в землю и столько часов провел в ней зарытым, что, наверное, мог считать себя заключенным, брошенным в одиночную или общую камеру земляной тюрьмы, отсюда и только ему свойственный особый взгляд на человека, обреченного на привязанность к лугу, пашне, лесу. Нет, не мог он говорить что-либо политически вредное. Говорила растревоженная душа Христича, чего уж никак от него не ожидал Иван Федорович. Командир Третьей роты ужом вился около Фалина, на лету ловил указания, для того чтобы не выполнять их, чтобы следовать себе, жить по своему хитрому и рассудительному крестьянскому уму. Но что-то зрело в душе, набухало — и прорвалось наконец. Понизив голос до шепота, сев рядом на койку, Христич заговорил о первых месяцах войны, о великом драпе на восток и о том, что немца остановил мужик, русский мужик, которого все время обманывали, все — начиная от царей и кончая наркомами. не давали ему землю! Не давали! А если и давали, то тут же отбирали, разоряя вчистую. Война, только война предоставила ему землю, в полное и безраздельное пользование, во владение навсегда и навечно. Ту землю, в которой он прятался от пуль и снарядов, от танков и самолетов. В траншее и в окопе сбылась вековая мечта хлебороба, он получил крохотный надел, и он по-хозяйски использовал этот клочок, он защищал его от тех, кто хотел на дармовщинку отхватить эту землю, от немцев. Поэтому и не побежал русский мужик за Волгу, на Урал. А если б этой землей он владел и до войны, то дальше Десны и Днепра немецкие танки не покатились бы.

Вот какие сумасшедшие мысли навеял Христичу окопный вояка Висхонь, и от услышанного бреда Ивану Федоровичу стало нехорошо, словно открылась в Крестах дверь камеры и прозвучала его фамилия. И Висхонь и Христич имели свои миры, которые они не желали вплетать в энкавэдэшные узоры, и они оба стали ему симпатичны — Висхонь и Христич, и Калинниченко стал мил, потому что из библейских времен принес тот мужскую любовь к брату.

— Опомнись, — сказал он Христичу. — Успокойся. Ничего ты не слышал. И никто ничего не слышал. Договорились?

Христич посидел еще немного, помолчал, а потом встал и как бы вернулся к жизни по строевому уставу.

— Я-то, положим, не услышал. А рота моя? Она ведь у

меня до того хорошая, что опаска берет, грамотная очень, такие бравые парни, а... Рухнутые, говорят у нас в Белоруссии.

Третья рота ничего не поняла в негромкой речи Висхоня. Эти городские ребята под «землей» подразумевали не пло- доносящий слой почвы, а сушу в отличие от рек, морей и озер. Им на руках бы носить майора, который обучил их нехитрому способу выживать на передовой. Они же – воз- ненавидели его, о чем с горечью поведал Андрианову их командир. «За что они его так?» – спрашивал Христич себя, Андрианова и еще неведомо кого.

Утром следующего дня чуть замешкалась в казарме Первая рота, и Третья, повинуясь порыву, сама выстроилась, без команды, и, что от нее никто ожидать не мог, пошла в столовую, завтракать не во вторую, а в первую смену. У входа она столкнулась с заспешившей Первой ротой. Предотвращая давку в дверях, дежурный по кухне собою заслонил вход и позвал на помощь дежурного по курсам. Роты приставили ногу и ждали. Никто не хотел уступать. Ни одного офицера в строю, они уже завтракали. «Третья рота... кру-гом!» – скомандовал дежурный по курсам. И тут же: «Первая... в столовую... шагом!.. марш!»

Роты не шелохнулись. Команды были повторены – и Христичем и капитаном Лебедевым, командиром Первой роты. Курсанты упорно смотрели себе под ноги, отказываясь повиноваться. Командиры обеих рот раскрыли рты, чтобы обрушить на подчиненных брань в форме приказа, но переглянулись и повторять команду не стали. Они служили не первый год и не могли не знать, что за невыполненным приказом следует применение оружия. Они же по собственному опыту догадались ужё, что их подчиненные впали в тихое буйство и способны сейчас на все, таковы уж последствия многомесячного послушания в однообразной обстановке казарм, расположенных вдали от больших людских поселений.

Вдруг обе роты начали шаг на месте, сперва вразнобой, а потом поймав ритм, двести с чем-то пар сапог стали отбивать «...раз!..два!..Левой!..Правой!..» Каждый новый удар по земле казался сильнее, громче, грохот нарастал, удары сапог уже слились в два молота, вбивающих в землю бесконечную сваю, земля дрожала в испуге. Офицеры выбежали из столовой, а те, кто туда еще не пришел, стояли, ничего не понимая, у клуба. Туда же прибежал караульный взвод.

В несколько прыжков Христич достиг начальника кара-

ула, сорвал с него автомат и дал длинную, поверх голов, очередь. Роты застыли. Стала оседать пыль, поднятая сотнями ног. Христич уловил момент, когда масса людей уже управляема, и без натуги, обыденно, будто ничего не произошло, скомандовал своей роте. Та беспрекословно повернулась и пошла в казарму. Командир Первой вдруг потерял голос, но его рота без команды вошла в столовую и стала вдоль скамеек, лицом развернувшись к старшине. «Рота...сесть!» Будто металлический дождь прошелестел – это разбирались ложки.

Торопливо покончив с едой, офицеры собрались в коридоре штаба. «Ну, что, – с нервным смешком произнес кто-то. – Позавтракали, голубчики?» Начальник штаба прибег к самому верному и безотказному: «Капитан Христич! Объявляю выговор за нарушение ритуала распорядка дня. Почему не контролируете старшин и командиров взводов?» Христич, всегда глотавший замечания не поперхнувшись, на этот раз огрызнулся: «А почему Первая опоздала в столовую?» «Я вам поговорю!»

Умолкли. Из комнаты связистов вернулся посланный туда капитан Сундин, преподаватель стрелкового оружия. «Ну?..» Сундин отрицательно покачал головой, что означало: связи нет. Долго молчали, не решаясь что-либо сказать. Но тишина не могла быть беспредельной, она обязана была оборваться. – Арестовать... – тихо было сказано кем-то. Видимо, эта мысль витала в воздухе.

– Кого?.. – ещетише спросил начальник штаба.

– Его. Висхоня. Того майора.

Почему именно Висхоня – сказано не было. Да и кто мог винить в чем-либо отпускающего офицера, заглянувшего на курсы два, нет, три раза. Столы по-другому расставил, так это же полковой комиссар приказал. Николюкина и особиста в глаза не видал Висхонь, а уж к сегодняшнему ЧП вообще не причастен.

– Не дурите, ребята, – урезонил всех начпрод. – За что его хватать?

Доводы его были опрокинуты Сундиным.

– Ты-то за него горой. Ты не за красивые глазки выдал ему новое обмундирование. Не своему дал, не мне, а чужому. Ты с ним заодно.

Начпрод коротко выдохнул «Х-ха!», покашлял и возражать не стал. Начальник штаба отдал четкие указания:

считать майора Висхоня агентом немецкой разведки, арестовать его и поместить на гауптвахте с последующей передачей органам контрразведки, усилить караул, принять меры к тому, чтобы предатель не ушел от возмездия.

— Того еще надо взять... — зашумели офицеры. — Который с ним. Что на немца похож.

Вновь Сундин сходил к связистам. Вернулся радостным. Дозвониться до станции было проще, комендант сказал, что видел документы Калинниченко, на учет его не поставил да и права у него такого нет, но отчетливо помнит: отпускное свидетельство выдано тому ровно месяц назад, до 24 июля включительно, однако с пребыванием в Ташкенте, а не в Посконцах, как у Висхоня.

Последовало еще одно предложение, очень разумное: Висхоня арестовать здесь, на курсах, заманив его сюда под каким-либо предлогом, пообещать сухой пакет по аттестату, поставить штамп воинской части в вещевой книжке, получал же Висхонь здесь гимнастерку и прочее.

— Правильно, — одобрил начальник штаба. — Вместе их брать опасно. Висхоня цапнем здесь, напарника его там, в деревне. Капитан Сундин! Назначаю вас старшим! Возьмите двух офицеров и приступайте!

План казался удачным и продуманным. Позвонили в управление колхоза, долго ждали, когда призовут к телефону Висхоня или Калинниченко. Наконец послышался голос старшего лейтенанта, вместо Ташкента оказавшегося в Посконцах. Обложив матом Сундина, он сказал, что ни сухого пайка, ни штампа в вещевой книжке им не надо, и никаку они, Висхонь и Калинниченко, не пойдут, у них отпуск, проваливайте к черту!

План рухнул. Тогда решили взять обоих лазутчиков там, в деревне. Стали готовиться к походу в Посконцы, два лейтенанта вооружились автоматами, Сундин, желавший отличиться, сказал громогласно, что голыми руками скрутит шпионов. Однако решил все-таки не рисковать и к пистолету в кобуре прибавил сунувший в карман бельгийский маузер, на самогон вымененный в Первой роте. Как назло, единственное транспортное средство укатило на станцию, позвонили туда, спросили о додже, заодно сказали о предстоящей операции. Комендант о додже ничего не знал, сообщение же о намеченной ликвидации шпионского гнезда принял со вниманием. Помощи не предложил, но пообещал содействие сразу после того, как операция завершится.

Неугомонный начпрод, всех обозвавший «лопухами», привзвал офицеров к благоразумию. Все равно никому не отвертеться от штрафбата, не сегодня, так завтра прибудет комиссия из штаба округа и всем воздаст за полный развал дисциплины, за самоволки и самоубийства, сухари сушите, ребята!

Весь в стыду за офицеров, Иван Федорович улучил момент и поспешил в Посконцы, чтобы предупредить Висхоня и Калинниченко.

— Тьма беспросветная и грязь непролазная! — негодовал в шашлычной Иван Федорович так жарко, словно рассказывал не о событиях тринацдцатилетней давности, а о вчерашнем происшествии. — Так низко пасть! И это русские офицеры?.. Что страшно: не так уж эти за шкуру свою тряслись, фронта ведь никому не миновать, как ... не знаю! Не пойму! Но... — он подался вперед и понизил голос. — Но еще поразительнее то, что я, отлично знаяший, что никакие они, Висхонь и Калинниченко, не агенты, сам стал допускать это, где-то в глубинах сознания поселился червячок сомнения, зашевелился, стал дырявить мозги... Или все мы такие, или...

Три офицера достигли Посконц и настороженно-решительной походкой пошли вдоль дворов, немало удивляя встречавшихся баб. Офицеры в селе были не редкость, но приходили они сюда не кучкой и не увешанные оружием. Ничуть не напуганные бабы указали, где дом Лукеры Антиповой, а та чистосердечно направила трех офицеров туда, куда ушел обедать ее постоялец.

У Сундина обнаружились охотничьи навыки. При подходе к дому старухи (Иван Федорович наблюдал за ними из окна) офицеры замедлили шаг и провели совещание. Один лейтенант перемахнул через плетень и занял пост на задах, у сарая, чтоб автоматным огнем пресечь отход агентов. Второй подкрался к раскрытыму окну пристройки, а Сундин, держа руку в кармане брюк, вошел в комнату и заорал с порога: — Майор Висхонь! Вы арестованы! Сдать оружие!

Тот, глодавший кость, проявил полное пренебрежение к громовому приказу. У него временами утрачивался слух и зрение. Кажется, то же произошло сейчас и с Калинниченко. Старший лейтенант зубами откупорил бутылку, заткнутую пробкой в тряпице. Запах духовитого самогона достиг ноздрей Сундина.

— Документы! — рявкнул он, не вынимая руку из кармана.

Лишь разлив самогон по стаканам, Калинниченко соизволил обратить внимание на вошедшего. Не мог он не заметить фуражки притулившегося за окном лейтенанта.

— А санкция военного прокурора у тебя есть, хмырь болотный?

Сундин, умевший арапничать, выпалил: — Распоряжение начальника войск охраны тыла генерал-лейтенанта Иванова номер одиннадцать дробь ноль сорок два от 5 июля 1943 года, получено по ВЧ!

Столь же четко и быстро ответил Калинниченко: — Отменено! Директива НКГБ номер ноль сорок два дробь одиннадцать от 6 июля 1943 года, принято по радио, содержание: об отмене ареста и задержания представителя Ставки майора Висхоня!

Огороженный Сундин молчал. Дружески обругав его нехристью, Калинниченко всмотрелся в закуски на столе и придинул к Сундину стакан и тарелку с помидорами. Спросил, где воевал тот, и расширил в радости глаза.

— Так я ж в соседнем полку был, вот это да! Неужто не помнишь меня? .. Ну, давай еще раз познакомимся. Николай я. А тебя как?

Чтоб пожать протянутую руку, Сундину пришлось расстаться с маузером в кармане. Рукопожатие — теплое, крепкое, фронтовое произошло, а затем перед глазами Сундина мелькнула чека гранаты, непонятным образом оказавшейся в его руке.

— Запомни, — прошипел ему прямо в лицо Калинниченко. — Запомни, фраер несчастный, в твоем кулаке осколочная граната Ф-1, чека выдернута и у меня в руке, и если ты разожмешь кулак, то подорвешь себя, понял?

Теперь обе руки Сундина сошлись, чтоб не выпустить гранату.

— А сейчас топай. Уходи и не приходи. И помни, если забыл: осколки летят на тридцать метров, кругом женщины и дети.

Швырнуть гранату в окно Сундин не мог, там сидел в засаде его лейтенант. Скрючившись, как от нестерпимой боли в животе, он попятился и разогнулся только в сенях, спуститься с крыльца ему помогли подбежавшие лейтенанты. Смотря под ноги, вытянув перед собою кулак с лимон-

кой, Сундин направился к стожкам за околицей. Лейтенанты, как не отгонял он их, из самолюбия держались рядом. В открытом поле Сундин замахнулся и бросил гранату, грохнувшись на землю вместе с лейтенантами.

Граната разорвалась. Три офицера поднялись, отряхнулись. Посидели, покурили. Решили не врать и честно доложить начальнику штаба о провале операции.

С необъяснимым равнодушием тот отнесся к их докладу. — Да черт с ними, никуда не уйдут... Завтра подумаем.

Ни завтра, ни послезавтра думать не стали, потому что в тот же вечер по офицерам ударила новость: в тех же Посконцах открылась военторговская точка культурно-бытового назначения и три парикмахерши оказывали клиентам услуги, намного превосходящие самые пылкие ожидания и запросы.

Поселились женщины в заколоченном доме на краю села, как попали они туда — тайна, которую никому не хотелось разгадывать. Привезли их со станции на том самом дodge-3/4, посланном за патрулем. Три раза в неделю курсы отряжали на станцию двух офицеров в помощь комендантцу, они-то и отбили женщин у другого патруля, а что это за женщины и кто они — на курсах не спрашивали, и так все ясно, безмужних и безнадзорных бабенок полно в ближнем тылу и прифронтовой полосе, контрразведка была особо лютя к ним, насквозь советским, своим, они, всегда в бегах, путались под ногами, мешая изобличать настоящих врагов. Все они, шелопутные, грязные и вороватые, уклонялись от апрельского постановления прошлого года и все дружно не хотели трудиться на сельхозработах, как и на заводах, ни лопата, ни кочерга не подходили к их ручкам, еще больше пугали их общежития с одной койкой на троих, продовольственная карточка Р-02 их тоже не устраивала.

Первыми клиентами парикмахерской были офицеры, в честном бою с другим патрулем добившиеся этого права. Они предъявили председателю какую-то грозную бумагу и помогли женщинам обустроиться в заброшенном доме, они же и шепнули кому надо о парикмахерской, где ждут мужчин безотказные женщины, которым нужны мелкие знаки внимания — консервы, кое-что из тряпья, денежки, если уж ничего иного нет. О том, что парикмахерская курсам нужна, не раз докладывал штабу округа подполковник Фалин, личный состав, оболваненный в апреле, уже к

июню подзарос, офицерские прически взлохматились, комендант станции прислал однажды инвалида с ножницами, в прошлом стригаля, одногоного съемщика овечьей шерсти, прогнали с позором.

Еще не стемнело, а первая партия офицеров уже поступалась в дом, три преподавателя переступили порог парикмахерской. Через полтора часа они уступили дом трем взводным, а тех сменила сборная троица, возглавляемая начальником гаража. Храня верность слову, которого никто с них не брал, двенадцать человек помалкивали о свалившейся на них удаче, лишь понятливо хмыкая, когда на перекуре после завтрака кто-то стал отпрашиваться у начальника штаба в Посконцы. Не прошло однако и часа, как о парикмахерской узнали в ротах. В перерыве политзанятий несколько человек залезли на караульные вышки и долго всматривались в сторону, откуда — так казалось — несло тройным одеколоном и солоноватым потом женских мышек. Разъяренный начальник штаба отправил нюхачей с вышки на гауптвахту. Никто почему-то не хотел понимать сводок Совинформбюро, говорили же они о боях на орловско-курском направлении. Об аресте Висхоня было как-то забыто, никто о майоре и не вспомнил.

Ранним утром Андрианова послали на станцию, чтобы поймать там кого-нибудь из штаба округа, связи с ним не было уже двое суток. Военный комендант посочувствовал, сказал, что можно связаться с Москвой, оттуда к нему поступают бесперебойные указания, а уж Москва пусть сама свяжется со штабом округа. Андрианов отказался, справедливо рассудив, что за такую самодеятельность его накажут. Выбрав скамью в тени, он сел. На душе было тягостно, тело почесывалось, как в окопах. Мимо него на восток летели будто политые свежей кровью санитарные поезда.

Час прошел, другой, Иван Федорович заметил со стыдом, что он радуется уже тому, как хорошо ему дышится, какой он все-таки здоровый и крепкий. И женщина будет с ним, сегодня или завтра.

Трижды поднимал он руку к фуражке, чтоб ветром от пролетавших поездов ее не снесло. Победно гудели паровозы, катившие составы на запад, где полыхало сражение. Притормозил, а потом и остановился эшелон, раздвинулись двери крытых теплушек, любопытствующие рожи солдат рассматривали станцию, перрон, спрыгнул на землю высо-

кий гибкий подполковник, шел, перешагивая через рельсы, в радостном возбуждении от утра, от недрожащей под ногами земли. У Андрианова сладко заныло сердце, потому что он любил армию, и этот офицер, во всем новеньком отправленный сражаться, был армией, научившейся все-таки воевать и уже побеждавшей немцев, и все в этом офицере было армейским, могучим, веселым, упорным и врага сокрушающим. Вдруг подполковника окликнули: «Фалин!.. Фалин Сережа!» Кричали из вагона, просили что-то разузнать, что именно — Андрианов уже не слышал. Закрыв глаза, он представил себе невероятное, фантастическое: КПП, часовой, требующий документы и однофамилец бывшего начальника курсов, громко называвший себя и распекающий в страхе подбежавшего дежурного за грязь в помещениях, за слоняющихся без дела курсантов, за офицеров. «Вы что — меня не узнаете? Подполковник Фалин, ваш командир!»

Свистнул паровоз, эшелон тронулся, ловкий, крепкий, быстроногий подполковник вспрыгнул на подножку, повернулся, помахал кому-то рукой и поехал в пекло.

Он остановился на развилке: направо — курсы, налево — Посконцы. Иван Федорович искал оправданий, решаясь не идти на службу, и знал, что они отыщутся. Поэтому оборвал себя на какой-то выдумке и по тропке пошел к селу. Ему очень хотелось женщин — не как воды при жажде, а так, как человеку нужен воздух, трава, лес и речка. Он шел к дому с женщинами, ему шагалось легко.

Доски с окон еще вчера, видимо, сорваны, ставни распахнуты. Ни голосов, ни шевелений внутри. Чуть скрипнуло под его ногами крылечко. Андрианов замер, вслушался. Жужжали мухи. От баньки, метрах в сорока от дома, несло угарным дымком. Иван Федорович на цыпочках вошел в комнату, дыша осторожно, чтоб не нарушать сон лежавших на полу женщин.

Они лежали рядышком, на разостланной овчине, прикрыв голизну шинелишками, рваными, тем барахлом для разных технических надобностей, что возят с собой танкисты и шоферы. Окна женщины занавесили, спасаясь от бьющего в глаза света, а от мух уберегались бюстгальтерами, наброшенными на головы. Мухи однако на оголенные ноги и плечи не садились, облепив колбасу на столе и селедку, хлеб и стаканы с недопитым самогоном. Игла патефона застрияла на середине пластинки. На подоконнике —

раскрытый чемодан, и в нем поблескивали ножницы и машинка для стрижки, там же разложились резиново-стеклянные принадлежности то ли парикмахерского, то ли гинекологического назначения. Между патефоном и чемоданом владелица его поставила полковничу папаху – в знак того, что парикмахерская знавала и лучшие времена, чем вводила клиентов в заблуждение: как узнал на станции Андрианов, лишь одна из трех женщин была парикмахершей или прикидывалась такой, остальные были отловлены и задержаны как дезертиры трудового фронта. Кто-то из благодарных офицеров не далее как вчера подарил женщинам документ, написанный от руки будто самим начальником окружного военторга, документ разрешал женщинам обслуживать воинские части, грешил отсутствием печати или штампа, зато поражал наглостью, и Андрианов с болезненной ревностью подумал, что здесь побывал капитан Сундин. Женской одежды в комнате – никакой. Ни платьишко, ни чулок, и сами женщины лежали голенькими, шинельки сползли с них кое-где. Три бюстгальтера и два белых парикмахерских халата – вот и все, чем располагали они, и Андрианов, представив себе, как вчера вечером и этой ночью встречали женщины офицеров, в каком виде, почувствовал острую жалость к ним, и она заглушила в нем ревность.

Осторожно, чтоб не выдать себя скрипом, Андрианов сел на шаткий стул. Два белых халатика висели на спинке его, один чистый, другой погрязнее. Женской камеры ни в милиции, ни у охранников на станции не было, бабы, задержанные до выяснения личностей, сидели обычно в чулане при кубовой, а чтоб арестованные не дали деру, комендант отбирал у них всю одежду.

Три пары женских ног торчали из-под шинелей, и первая от двери пара принадлежала, судя по ороговению ступней, девчушке, лет до пятнадцати пробегавшей босиком. Все пальцы естественно и свободно расставлены, не ужаты в клинышек тесной городской обувкой, всегда узкой для деревенских ног, и только солдатские сапоги и ботинки были им впору. Они и стояли у двери – эти армейского образца ботинки, абсолютно новенькие, только что со склада, и лейтенант, подаривший девчушке эту удобную и приятную ей обувь, удостоился, конечно, повышенного внимания, на что мог рассчитывать и тот щедрый офицер, подарок кото-

рого – две банки тушеники – всунут был в ботинки. Вчера в баньке женщины отпарились и отскреблись, но под коротко остриженными ноготочками завоевательницы ботинок так и остались невыскобленными следы путешествий, угольная пыль въслась в поры, и если б ее подвергнуть изучению, то составилась бы карта странствий юной добытчицы, всю семью кормившей тем, что давала ей дорога. Таких девчушек, убегавших на верные заработки, полно было на железнодорожных магистралях, они лепились к эшелонам с мечтой о лучшей доле, не той, что уготована была им на шахтах и в формовочно-литейных цехах Магнитки. Иногда залезали под тенты открытых платформ, но чаще всего просились в теплушки: «Дяденька, мне только до следующей станции...» Порядок на железнодорожном транспорте жестокий, никого не велено подпускать к вагонам, «К начальству ступай, к ротному!», а ротный посыпал выше, к особисту, девчонка с документами для проверки попадала в отдельное купе, потом перепроверялась начальниками пониже и в конце концов доставалась подчиненным ротного. Таких проверенных выбрасывали, бывало, с поезда, на ходу, словно мусор, но встречались и сердобольные мужчины, эти кормили хорошо и пускали спать на самую верхнюю полку. Странницы начинали понимать, кому первому показывать справки и кто поведет их обыскивать в отдельное купе. Иногда перепадала удача, с ее помощью девчушки устраивались на кухню санитарного поезда, маршрут которого пролегал не-вдалеке от родных мест, от мамани. Судьба нередко улыбалась совсем лучезарно: лейтенант, что без родни, в память о ночи, проведенной с зачуханной девахой, дарил ей аттестат, чтоб та всю свою последующую жизнь вспоминала без вести пропавшего.

«Они устали» – так было выколото на правой ноге той, что спала посредине, и ноги действительно устали, на них выпучивались уже голубые струи вен. Даже сейчас, в бездействии, при отдыхе, в полном расслаблении, мышцы ног обозначались резко, рельефно, указывали на многолетние стояния и хождения по очередям, рысканья в поисках съестного, выпивки и того, что можно унести и продать. Ноги эти ходили по городской земле, покрытой асфальтом и усеянной камнем, они уберегались поэтому от ушибов, уковолов и ссадин, это были рабочие ноги. И руки были рабочими, воровскими, они лежали поверх шинелишки,

пальцы длинные, гибкие, стремительные, ни разу, наверное, не погружавшиеся в корыто с бельем и, уж точно, не знавшие лома, лопаты или мотыги. Воровка торговала и телом своим, если руки ее не добывали пищи, и телу этому Иван Федорович насчитал лет двадцать пять. Деревенская добытчица, по верному взгляду его, была моложе восемнадцати.

Темнокаштановые волосы третьей еще сохраняли стиль в прическе, короткой, открывавшей затылок и уши, и ноги подтверждали: эта, третья, когда-то очень хорошо одевалась, ездила на курорты, беззаботно меняя мужчин при живом муже из командиров начсостава, а ныне, уже вдовою, и в лихое время не расставалась с привычками, и в третью лето войны продолжала носить модную обувь, лодочки, закрывавшие от загара пальцы, пятки стопы и верхнюю часть ступней. Граница между светлокоричневым загаром и белой кожей низа была отчетливой, и Андрианов, не отводивший глаз от этой границы, испытывал то умиление, стеснение и обожание, какое овладевало им, когда губы его, скользившие по гладкой груди раздеваемой женщины, встречали мягкий нарост соска.

Стул скрипнул под ним и разбудил женщин. Первой шевельнулась добытчица, сигнал тревоги передав соседке, а та уж, сбрасывая с лица бюстгальтер, локтем саданула вдову. Все разом испуганно привстали, натянув на себя шинелишки и подобрав ноги, щуря со сна глаза, ослепленные сиянием дня. Первой вернула себе зрение средняя, воровка.

— А это что за фрей с гондонной фабрики?

Андрианов закрыл глаза, по которым ударила красота изрыгнувшей вопрос женщины. Она была так красива, что пустой казалась любому мужчине жизнь, прожитая до встречи с этой женщиной. Он страдал.

Говорить он не мог. Молчал. Надо бы встать и уйти, но уйти-то он как раз не мог уже. Хотелось женщины — до боли в суставах, до ломоты в пояснице, терзающей весь мужской низ.

Вдова достала из-под овчины пачку папирос, пошарила под собою, ничего не нашла более.

— Дай огонька-то... — попросила она совсем уже дружески. Все три смотрели неотступно на Андрианова, и тот увидел себя их глазами. Мужик, побывавший на фронте и склонивший себе ранение. Снявший головной убор при-

входе в чужой дом. Привыкший сам себя обихаживать. Не слишком сытый, но и не худой. Цену жизни знает, потому что убивал, чтоб не быть убитым. Выглядит на тридцать пять, хотя нет еще и тридцати.

Что этому мужчине надо — об этом можно не спрашивать, и женщины стали совещаться, и не слова украдкой или тихо произносили они, а посматривали на Андрианова и переглядывались, чего он видеть не мог, потому что сидел потупив взор, потому что ненавидел себя за желание, столь же унижающее его, как и возвышающее женщин, и уловил все-таки в шепоте глаз, в шорохе ресниц, на кого пал выбор, кто согласился.

Эшелонная горемыка выдернула из-под овчины тело-грейку без рукавов, очень короткую, что обнаружилось, когда надев ее и встав, она босиком пошлепала к двери, задастенькая и ладненькая.

— Пойдемте, товарищ капитан, — сказала она, — Я вам нашу баньку покажу...

Он поднялся и пошел за нею. Чуть кривоватые ножки разворачивали пятки наружу, русая нерасплетенная на ночь коса повиливалась хвостиком. Андрианов внезапно представил себе впереди идущую женщину малюсенькой девочкой, с хворостиною пасущей гусей.

Она остановилась, подождала его, повернулась. Кругленькое простенъкое лицо ее светилось пониманием и отзывчивостью, жалостью и самодовольным превосходством человека, у которого всегда есть то, чего нет и никогда не будет ни у кого другого.

— Вы меня, пожалуйста, раскочегарьте немножечко, — хитровато попросила она, в улыбке показывая редкие зубы и морща нос, на самом кончике сплющенный, из-за чего и привиделась эта женщина хозяйкою гусиного стада. — Все никак не проснусь...

— Я ведь вооруженец, не строевой командир. Со второго курса института забрали в армию и без экзаменов направили в артиллерийскую академию. Ходу по службе не давали, тут еще и Кресты, но ко дню победы командовал артиллерией корпуса. На полигонной стажировке, когда отстреливали перед войной новые гаубицы, получил вкус к теории вероятности, рассеивание снарядов всегда будет, даже при идеально сливающихся условиях выстрелов. Уже и подзабывать

я стал эту науку, да заставил ее припомнить один случай, под Новым Осколом, в 42-м году. Заняли мы оборону, хорошо врылись в землю, хорошо продумали огневые позиции, суток трое, прикинул я, сможет полк продержаться, а там что начальство прикажет. И пошел согласовываться к соседу, майору Дербеневу, говорю ему, а он меня не слушает, крутит башкой, что-то высматривает. Что, спрашиваю, ищешь? А он мне: дай в последний день жизни на жизнь насмотреться, на мир полюбоваться. Стал я его стыдить за малодушие, а он в ответ, убежденно так: паду сегодня смертью храбрых. Отбрось, это я ему, предчувствия, посуди здраво, немцы сегодня в бой ввязываться не будут, сил у них мало. Да не предчувствия, с досадой отвечает он, а вычислил я гибель свою, сегодня меня шлепнут... И точно, не стало его через час. Тогда и я начал вычислять. На каждом участке передовой существовал, как заметил я, некий порог выживаемости, весьма неопределенный. Штатная численность роты — сто двадцать человек, и от этой роты к концу дневного боя могла остаться треть, могла и половина, бывали дни, когда пройдешь по окопам, а в них и отделения не наберется. Сменится рота, бой с утра тот же, что и накануне, а потери не просто другие, в этом ничего удивительного не было бы, а резко отличающиеся, очень резко, от ожидаемых. А то бывало — вообще вдруг никаких потерь при том же артиллерийском огне, при тех же прущих на окопы танках. Ну, заденут пули двух бойцов, перевяжут счастливчиков и оставят в окопе. Следовательно, подумал я, дело не в плотности немецкого огня, а в том, что другие люди, с другим порогом выживаемости пришли в окопы, те, которым до гибели еще две или три атаки. Вот так-то. И каждый окопник нутром своим, что ли, определял этот порог, прилагал все силы и хитрости, чтоб отодвинуть от себя наступающую очередь и растянуть свою жизнь аж с понедельника до среды. И чтоб отодвинуть, чтобы перескочить через порог и спутать очередь, шли на подлоги, то есть прерывали естественный ход событий каким-нибудь казусом. Главное — выломиться из рядов тех, кто обречен, и начать свой новый отсчет времени, нажать как бы на кнопку секундомера и сбросить его на ноль. Легкое ранение, банальное вроде бы происшествие, письмо из дома с добной вестью, встреча с земляком — чего только не создавало человеческое воображение, чтоб хотя бы мысленно не пере-

бросить себя через порог. И женщина тоже была трамплином, помогала взлетать над автоматной очередью, пущенной в упор. Женщина, женщина. Она без всяких расчетов постигала этот порог, определяла его по письмам с фронта от тех, кого случайно встретила. Жди меня, писал поэт, только очень жди. Тоже думал о пороге выживаемости...

Для Первой роты, по теории Ивана Федоровича Андрианова, курсы младших лейтенантов означали нечто большее, чем трехмесячная учеба. Не отдых во всяком случае, хотя курсы в этой роте называли санаторием. Никто из ста двадцати человек не говорил, но все сто двадцать знали, что в Посконцах начинается их вторая жизнь, много безопаснее первой, той, в которой они едва уцелели. Для поднятия духа они проклинали ворюгу начпрода и дурака замполита, скандалили в столовой, ненавидели строевые занятия и учебные атаки, по опыту зная, что немецкие пули заставят их на фронте окапываться в два, три раза быстрее. При первой же возможности курсанты Первой роты убегали в самоволки, дружно презирали Третью роту и снисходительно поругивали Вторую.

Во Второй роте собирались те, кто стал задумываться, и не только о пороге выживаемости. Так задумалась рота, что прикусила язык, и отличалась не столько вялостью, сколько неспособностью делать все не думая. А задуматься было о чем. Война, оказывается, не только разрешала людям взаимно уничтожать себя. Она была сама по себе разрешением какой-то фантастической загадки бытия. В самом деле: немцы начали войну ради блага живущих немцев. С ними, немцами, сражались советские люди, тоже ради собственного блага. Те и другие – ради того, чтобы жить в труде и достатке. А сейчас они убивают друг друга, неся и терпя неисчислимые беды. Вот и спрашивается: так в чем же смысл войны? Неужели надо быть мертвым только потому, что хочешь быть живым? Может быть, существует все-таки некое Верховное существо, распоряжающееся людьми, но считающее ихвшами, клопами, тараканами, которых время от времени надо истреблять? ...Кое-кто во Второй роте судил еще проще: знать, не поделили что-то между собой два вождя двух народов и способом раздела избрали уничтожение части людей, о чем и сговорились в Москве и Берлине. Тогда не лучше ли опомниться, отойти на рубежи 41-го года и приступить к переговорам? Но как это сделать, если в

свару двух вождей втянута половина человечества?

Были во Второй роте и такие, кто додумался до совершенно идиотского решения: а надо ли вообще отдельному человеку браться за оружие, раз он все равно не сегодня, так завтра станет убитым?

Зараза таких бредовых идей разлилась по роте, замполит и особист с тревогой докладывали Фалину о паникерских настроениях, о том, что уроженцы восточных республик ударяются в молитвы, а у одного курсанта обнаружен во время помывки крест на шее. Жалобы эти Фалин выслушивал и обычно орал на замполита: «Плохо поставил политико-воспитательную работу!»

Третья рота войну знала только по сиренам воздушной тревоги, а о сроках своей жизни имела весьма смутное понятие. На войне, мол, убивают, это точно, может случиться так, что их тоже убьют, но еще более вероятно, что убьют не их, а кого-то другого или других, скорее всего – Первую роту, которая бестолково стреляет, так и не научилась правильно писать боевой приказ, нарушает воинские порядки и не изучает книгу товарища Сталина и статью Ворошилова. «Шибко они у меня грамотные, – не раз жаловался Христич. – Все они у меня хорошие, с девушками хорошиими переписываются, стихи сочиняют, но ... – Христич делал паузу. – но – дурни.»

Вражда между ротами была явной, офицеры ее осуждали, не препятствуя ей однако, потому что свыклись со здоровым армейским соперничеством, когда каждый род войск считал себя наиглавнейшим. Во что эта вражда может вылиться – не предполагал никто, и офицеры в полном замешательстве собирались в штабе, когда после ужина все три роты закрылись в казармах, забаррикадировались, если уж выражаться точнее, в переговоры не вступают, затаились, ждут... Чего ждут?

Андранинов в штаб не пришел. Он принес с собою из баньки приятную усталость, острый запах облитых водой головешек да березовый дух распаренных веников. Он лег на койку и закрыл глаза. Он слышал, что говорит ему Христич, напускавший на себя страхи, и не хотел двигаться. Он ничего не боялся. Два часа в баньке дали ему лишних три месяца жизни, и плевать ему на то, что роты сейчас перестреляются, как ожидает того Христич. Иван Федорович, человек глубоко военный, всегда определял меру соб-

ственной вины и грядущего наказания. Если роты действительно взбунтовались, то наказывать будут тех, кто ими командует. Если начнут стрелять, то виновны опять же командиры рот, а не он, капитан Андрианов. Стрелять-то будут патронами, неизвестно где добытыми, но никак не полученными на складе. Все акты о списании патронов подписаны и утверждены, остаток в ящиках, ящики под замком, там же двадцать СВТ и восемь ППШ, 82-миллиметровый миномет и лотки с минами. Лично ему ничто не грозит. Он здоров и силен, в чем убедился только что. Через две недели курсантам пришлепают на плечи погоны, он же простится с ними, отправится в госпиталь и догонит их в действующей армии.

Дважды ночью его пробуждали выстрелы, но сон побеждал, и снился ему Ленинград, набережная Мойки, где жила разлюбившая его женщина. Утром Христич сорвал с него одеяло. Андрианов не торопился, с наслаждением вымылся. На совещание он опоздал, но прибыл не последним: от КПП, возвращаясь из Посконц, бежали к штабу три офицера. «Погоны сорву! – орал на них начальник штаба. – По бардакам шляетесь!»

Все наконец были в сборе. Полчаса назад со станции прикатил начпрод, привез новость, из-за нее и приказано было собраться.

Все телефонограммы последних дней отправлены в никуда! Штаба округа нет! Самого Степного округа тоже нет! Расформирован! То есть преобразован в Степной фронт. Сменен командующий: не Попов, а Конев теперь. Что с курсами, будет ли выпуск и когда – никто не знает. И знать пока не надо, потому что сейчас главное – это отобрать аккордеон у Третьей роты.

Иван Федорович навострил уши, ловя каждое слово и высчитывая, кого накажут за аккордеон, когда-то принадлежавший Первой роте. Никто там не умел играть на трофеином имуществе, в талантливой Третьей же, полной художников и поэтов, отыскался музыкант, и не один, Первая рота за просто так аккордеон им не отдала, тем пришлось в оплату выстоять три караула и семь вечеров чистить картошку. Теперь, оказывается, Первая рота потребовала возврата не ей уже принадлежащего инструмента, из-за чего вчера и произошла драка, в любом случае наказуемая, были произведены четыре выстрела, кто в кого стрелял – неизвестно.

Что дслать – никто не знал. Офицеры думали, гадали. Кто-то предложил ничего не делать. Пусть штаб Степного фронта решаст. Спохватятся же там, вспомнят, что 15 июня надо издавать приказ о присвоении курсантам офицерского звания. Аккордеон же – отобрать, но для того лишь, чтобы уничтожить. На совещание ворвался дежурный по курсам, с еще одной новостью, не столь, правда, оглушительной. Роты в столовую не пошли, сидят в казармах, как и вчера.

– Висхонь, – произнес кто-то, и все поняли. Только Висхоня могут сейчас послушаться роты, ему, фронтовику, они подчинятся. Вот пусть он и расхлебывает им заваренную кашу. К тому же его назначили не так давно ответственным за спецмероприятие. А то что ж получается, возмутился кто-то, накуролесил здесь, а сам в сторону?

Андрianов ушам своим не верил. Позавчера те же офицеры мстительно требовали ареста Висхоня, сегодня же зовут его на помощь, согласны уступить власть.

Обстановку разрядил Сундин, не желавший связываться с Висхонем, за которым хитрый и ловкий Калинниченко. А почему, спросил Сундин, сам командир Первой роты капитан Лебедев не может подавить бунт и отобрать у своих подчиненных оружие?

– Сперва пусть Христич аккордеон отдаст! – возразил тот с горячностью, и офицеры надолго замолчали, сраженные этим детским доводом. Командиры рот, как уже давно подметили преподаватели, подчилили себя ротам, вобрали в себя все то худшее, что в ротах было, и не только командиры рот, но и взводные. Спрашивали же они у Христича о всем непонятном в газетах, как будто командир Третьей роты знал то, что в сумме знали все недоучившиеся студенты.

Неожиданно взял слово самый неприметный офицер курсов лейтенант Кубузов, командир 4-го взвода Второй роты. Этот небольшого росточка юноша казался обиженным с детства, и многие, говоря с ним, осторегались смотреть на него прямо, чтоб не встречаться с взглядом постоянно злых косящих глаз. Ни одна фуражка не могла удержаться на его очень маленькой голове, в которой, как вдруг поняли офицеры, хранились весьма ценные мысли. Кубузов от волнения и злости говорил на странном русском языке, ставя рядом блатные слова и те, какими полон устав караульной службы, вклинивая в них выражения, которым звучать только в

церкви. Видимо, это был детдомовский жаргон, вываленный еще и в провинциализмах. Иван Федорович происходил из семьи, где русский язык почитали, домашнее воспитание дополнилось женщинами взбаламученной страны, в любовных истомах порой звучали диковинные словечки. Андрианов почти все понял в речи Кубузова, тем более что тот кривил расплющеные в злобе губы очень выразительно, они складывались в значки, какие видишь на военно-топографических картах. Беспощадно-суматошная речь Кубузова сводилась к тому, что с самого начала на курсах неправильно была поставлена служба и по неизвестно ком отданному преступному приказу с новобранцами цацкались, а надо бы гонять, как сидоровых коз, с винтовкой на плече до пота, ежедневно и ежечасно, все шкуры содрать с них, но согнуть в барабан рог, сутками чтоб жратвы не видели, чтоб под дождем и снегом маршировали до изнеможения и опупения эти сявки, чтоб за малейшую провинность — под трибунал, на передовую. а то ишь расхристосились здесь, гниды проклятые...

Конкретно же Кубузов предлагал следующее: Вторая рота почти полностью вооружена, поскольку в казарме пятьдесят винтовок, а 1-й взвод в карауле. Рота только ждет приказа — по четыре человека на каждую вышку, караул усилить полузводом автоматчиков, казармы бунтующих рот окружить и держать под дулами автоматов, после чего вызвать загрядотряд НКВД, а уж в НКВД знают, как поступать с теми, кто в военное время нарушает присягу.

— Пусть они, — пригрозил Кубузов бунтовщикам, — собственной юшкой умоятся!

О «юшке» раньше никто не слышал, но смысл поняли.

— Действуйте! — приказал начальник штаба,

К полному удивлению офицеров, та рота, которую шпионали все, кому не лень, к которой придириались на всех разводах и построениях, проявила вдруг невиданный напор и неслыханную прыть. Шестьнадцать человек метнулось к вышкам, были проверены прожекторы и сигнализация, по команде Кубузова автоматчики пустили устрашающие очереди вдоль забора. Потом наступила пауза. Все ждали дальнейшего — либо стрельбы из казармы Первой роты, либо аккордеона Третьей: играя на нем вчера, Третья довела Первую до остервенения, до выстрелов.

Прошло полчаса. Все казармы ничем не связывались, ни

телефоном, ни устными переговорами, тем не менее во всех казармах стало известно: где-то неподалеку высажен немецкий десант. Как возник слух о нем — не знал никто, он подержался бы с часок и улетел в небо, но самый умный на курсах начальник ПФС Рубинов шепотом предложил начальнику штаба то, до чего не додумались раньше. Послали за Христичем. Тот решил разделить судьбу своей роты, сидел у входа в казарму на скамеечке, ждал заградотряда НКВД, разжалования, чего угодно, но только не того, что приказал ему начальник штаба.

— Согласен, — радостно сказал он. — Сделаю. Правильно.

Казармы увидели, как командир Третьей роты тащил на спине лафет 82-миллиметрового миномета, и гадали, что бы это могло значить. А Христич громыхнул лафетом по дверям казармы, чем и заставил их открыться, подозвал к себе помкомвзводов и, таинственно понизив голос, передал им содержание телефонограммы: по только что поступившим сведениям этой ночью немцами будет высажен десант в районе Семихатки, километрах в сорока отсюда, на окружение и уничтожение его с фронта снят отдельный полк 176-й стрелковой бригады. Штабом же округа Третьей роте приказано принять первый бой с десантом — до прихода отдельного полка 176-й бригады, о приказе этом, как и о самом десанте, курсантам других рот не сказано и сказано не будет ввиду особой секретности боевого задания. Роте надлежит позавтракать и пообедать сразу, получить сухой паек, автоматы и винтовки, патроны к ним и миномет с минами, затем совершить марш-бросок в направлении Семихаток.

Рота оставила в казарме дневального, чтоб тот стерег аккордеон, и послушно, на ходу строясь, пошла в столовую, туда же принесли сухой паек по офицерской норме и оружие. Об аккордеоне однако не забывали. Взяли его с собой, когда выстроились у здания штаба. Христич опасался, что многоопытная, знавшая все проделки начальства Первая рота раскусит выдумку насчет десанта и насмешками сорвет задуманное. Но Первая — недоумевала и безмолвствовала. Христич с начальником штаба обошел строй, суж палец в незастегнутые подсумки, проверяя по две ли обоймы там. На третьем году войны никто не верил в газовые атаки немцев, противогазы давно уже выкинули из просторных зеленых сумок, туда рота положила добавочные обоймы, сухой паек и диски к автоматам. Пятерым курсантам Хри-

стич вручил самое грозное оружие, миномет и ящики с лотками для мин. О том, что они учебные, сказано не было. Начальник штаба огласил приказ: действовать совместно с истребительным батальоном, который в полдень выйдет из райцентра. Для полной убедительности Андрианов проинструктировал минометный расчет и курсанту, несшему прицел, дал «Таблицы стрельбы для 82 мм миномета минами сталистого чугуна весом 3,4 кг». Ворота КПП раскрылись, Третья рота молодецким шагом покинула курсы и с присвистом запела строевую песню. Офицеры облегченно вздохнули. Справиться с Первой ротой, со всех сторон окруженной, представлялось задачей несложной. С ротой повели переговоры, на нее усыпляюще подействовал уход Третьей, рота соглашалась быть прощенной, если сегодня отменят строевую подготовку. Отменили и сразу же объявили: политзанятия, контрольный опрос по статье И.Сталина «О трех особенностях Красной Армии». Рота стала уже выходить из казармы, когда с вышек зататали автоматы, дорвавшаяся до оружия Вторая рота палила в воздух, от души веселясь. Где матом, а где руками, но офицеры посгоняли с вышек недоразвитых. Обедали поротно. Дребезжащие радиорепродукторы передавали статью Эренбурга. Андрианов запасся справкой и актом: на складе – пусто. Кое-кто из офицеров поглядывал уже на небо, подгоняя вечер, чтоб смотаться в Посконцы к парикмахершам. «Нету у меня ничего, нету!» – заорал начпрод, когда к нему пришли за тушенкой и сахаром. У себя в сумке Иван Федорович нашел подарок для дамы, швейцарские часы, их вручила ему в госпитале какая-то делегация, американцы на задней крышке часов отштамповали русскими буквами: РАШЕН УОР РЕЛИФ США.

Вторую роту вывели на полосу препятствий, чтоб раздеть до пояса и отобрать оружие. Присмиревшая Первая внимательно слушала не раз читанное: «Первая и основная особенность нашей Красной Армии состоит в том, что она есть армия освобожденных рабочих и крестьян...» В кузов доджа вкатили три пустые бочки, надо было срочно ехать на станцию за горючим для движка. Еще раз попытались дозвониться до облвоенкома, уж он-то обязан знать, что делать дальше.

Вдруг – ворота были раскрыты – к штабу подкатил виллис, три офицера выпрыгнули из него, старший – полковник – решительно заорал дежурному: «Фалина – ко мне!»

Узнав о гибели начальника курсов, произнес загадочно: «Тем лучше...». Всполошенные офицеры то выстраивались перед штабом, то разбегались. Прозвучала наконец команда: личный состав накормить, всем выдать сухой паек на трое суток, построить с оружием и — немедленно на станцию, любым видом транспорта, вплоть до тележного, курсы ликвидированы, личный состав их передается 293-й дивизии, эшелон уже формируется на станции, подано семь вагонов, место назначения укажет представитель штаба 293-й дивизии, боеприпасы получить там же... Начпрод полез к полковнику с какими-то бумагами, тот остановил его сановным жестом: «Вам сказано: воинская часть расформирована!» Все же до полковника дошло, что одной роты на курсах нет. «Отвечать будете по законам военного времени!» Кому отвечать, за что — никто уже не слушал. На курсах забегали. Приехавшие проверяли у офицеров документы, решая кадровые вопросы быстро, без проволочек, кое-кого отправили тут же на станцию, в распоряжение начальника штаба 313-й дивизии. Поймав благоприятный момент, Андрианов сказал полковнику, что надо немедленно связаться с командующим фронта, нужен приказ о присвоении обучавшимся на курсах офицерского звания. «Погоны заработают в бою!» Андрианов настаивал: ну хоть Третьей роте присвойте, она будет через сутки здесь, время есть. «Успеют заслужить...» Не сдержавшись, Андрианов сказал что-то резкое — о загубленных месяцах обучения, о... «Прекратить разговоры! Попрошу ваши документы!» Глянув на них, полковник сказал с гаденькой усмешкой: «Такие слабаки нам не нужны, покупайте еще в тылу...» Оскорбленный усмешкой, Андрианов вырвал документы из рук его. «Я приказываю вам оставаться в распоряжении части и обеспечить отправку на фронт отсутствующей роты!» — гаркнул полковник.

Уже в наступающей темноте залезли в кузовы приехавших со станции грузовиков. «Ну вот, настал час...» — упавшим голосом попрощался с Андриановым начпрод. Отдал ему ключи, шепнул: на складах кое-что осталось. Иван Федорович сомкнул половинки ворот, навесил замок. Сидел на КПП и прислушивался. Движок почихал и умолк, свет погас. Небо светилось крупными звездами, под ними и шел Иван Федорович к Посконцам, к женщинам.

Свет лампы пробивался сквозь прикрытые ставни окна, умелая рука перебирала гитарные струны, послышалась

песня, вариации на темы «гоп-со-смыком», пела самая красивая: «Мама, я доктора люблю, мама, за доктора пойду, доктор делает аборты, посыпает на курорты, мама, я доктора люблю...» Потом одобрительные мужские голоса, Калининченко и Висхонь уже там. Андрианов постучался, вошел. Порывисто поднялась вдова, Томка-Тамара, обняла его. Женщины уже кое-чем разжились, помог им, конечно, Калинниченко. На Томке было крепдешиновое платье, красавица Люська натянула на себя тесную кофточку, обладавшую важной для нее особенностью, рукавами не короткими по-летнему, а длинными, скрывавшими следы вытравленных на руках наколок. Лишь девчушке ничего не досталось, ей, подарившей Андрианову столько счастья в баньке. В стыдливо застегнутом белом халате сидела она рядом с Висхонем и гладила на своем плече его руку.

Теплое чувство родства с этими людьми охватило Ивана Федоровича. Здесь был его дом, за столом сидели его братья и его сестры. Вместе с ними он выпил за победу, за товарища Сталина, за всех, кто сейчас на передовой, и за тех, кого эшелоны несут к линии фронта.

О трех ротах думал он этой ночью, когда лежал на овчине рядом с Томкой. О том, что уже сегодня обученные офицерскому делу курсанты пойдут в бой рядовыми. Сколько лет не служил он, на каких должностях не пребывал, а всюду одно и то же: человеческие жизни не брались в расчет именно тогда, когда военная нужда заставляла с особой бережливостью заботиться об этих жизнях. В Крестах и подобных им заведениях томились перед войной тысячи, десятки тысяч командиров РККА, и чтоб возместить убыль их, уже на войне создавались сотни училищ, десятки курсов младших лейтенантов, с передовой срочно отзывали преподавателей на филиалы курсов «Выстрел», где ротных дотягивали до полков и батальонов. И везде комкали учебный процесс, двухгодичное Ташкентское училище переделали в шестимесячное, но командиров так и не сделали из курсантов, сержанты трехмесячной выучки рядовыми пошли в окопы. Офицерами затыкали бреши в лопающейся обороне, без толку гибли те, кто большую воинскую пользу принес бы, командуя взводами и ротами. Здесь, в деревне, вблизи блеющих коз и мычащих коров Ивану Федоровичу пришло на ум сравнение: люди тужились из молока сделать сливки, но в пищу шли остатки молока, обрат, а сливки выплескивали на землю.

Томка спала, ровно дыша. Иван Федорович поцеловал ее холодный висок, осторожно поднялся, оделся. Подкрался к баньке, там никого не было. Пошел к шалашику в глубине сада, стал ждать, была уверенность, что Калинниченко уже на ногах. Вылезла Люська, помочилась, опять согнулась и нырнула в узкий лаз шалашика.

Калинниченко оказался рядом, уже одетый, тронул Андрианова за плечо. Они прошли к калитке, закурили. На востоке серело, ночь уже покатилась на запад.

— Надо спасать, — сказал Иван Федорович,

— Знаю, — ответил Калинниченко. — Так что ты у меня просишь?

— Документы. Иначе им света не видать.

— Понятно... А как ты догадался, что... Как выдал я себя?

— Руками. Они у тебя особенные. Золотые.

Калинниченко поднял руки к лицу и зачем-то понюхал их.

— Ты прав, — произнес он не без гордости. — Так что ты там просишь у этих рук?

— Сам знаешь.

Молчали. Курили. Назревало согласие.

— После обеда мы с Васькой уходим. Повезу его в Саратов, договорился уже, там ему сделают операцию, врачи хорошие, да ты их знаешь, лежал же в том госпитале.

— Тогда надо поспешить.

— Исходный материал бы...

— Найдется. Пойдем. На курсы. Там — никого.

Уже подходили к КПП, когда луч солнца лёзием рассек тучки, сразу стало шумнее. «Цитадель», — сказал Калинниченко перед воротами. КПП Андрианов заколотил вечером, ключом открыл замок, ворота поехали в стороны. Ступали осторожно. Под ногами сновали крысы. Из-под ящика с макаронами Андрианов вытащил припрятанные начпродом красноармейские книжки, пять штук, на тех пятерых курсантов, что погибли от гранат. Нашли эти книжки в кармане особиста, когда его, уже мертвого, обыскивали.

— Фактура подходящая, — одобрил Калинниченко. — А ты молоток, капитан. Где сидел?

— В Крестах. Видно?

— Видно. Камень из-за пазухи вываливается. И руки мысленно держишь за спиной. Ты их в кармане носи, советую... Где писаря сидели?

В канцелярии они стали обсуждать свалившееся на них дело.

Женщин разыскивали. Томку еще зимой арестовали в Куйбышеве, там она весело жила не под своей фамилией и по дурости пила с иностранцами. Обманула выводного, бежала. В Горьком сошлась с полковником, но к тому нагрянула из Москвы супруга, и Томка удалилась в бега. За Люськой гонялись еще с довоенных времен, висело на ней соучастие в убийстве, проходила она также свидетельницей и потерпевшей в делах, находящихся в производстве. Проще было с Варварой из колхоза «Путь Октября» Саратовской области, она всего лишь убежала от вагонеток на соляном карьере, ее-то спасти легко, справка о беременности избавит от всех оперов. Но что делать с Томкой и Люськой?

Достав из кармана перочинный ножик с перламутровой ручкой, Калинниченко острием штопора провел по ногтю большого пальца и долго изучал надрез. Усмехнулся. Вспорол голенище сапога, выдернул бумаги, какие-то чистые бланки, но с печатями. Что-то отобрал в мелочи, которой всегда полно в канцелярских столах. Глянул в красноармейские книжки, примерился.

— Имена оставим прежние: Тамара, Людмила и Варвара. А фамилии сделаем соответственно такие: Гайворонская, Кушнир и Антонова.

Он принялся за работу, а Иван Федорович пошел на вещевой склад, держа в руке зажженный бумажный жгут. В углу под старыми гимнастерками и ветошью лежали яловые сапоги, пять или шесть пар. Пламя уже обжигало пальцы, когда высветились наконец тюки с обмундированием. В канцелярии Андрианов развязал один из них. Кажется, повезло: гимнастерки, а в тех, что он прощупал на складе, брюки.

— Томку сделай младшим сержантом, — сказал Андрианов. — Ну, а те — рядовые.

— Радистки? Телефонистки?

— Санинструкторы.

— Перевязку они — сделать сумеют?

— Еще как. В нашей стране все мужчины рождаются защитниками Родины, а женщины — медсестрами.

Калинниченко долго смотрел на него. Присвистнул.

— Ай да капитан! С тобой бы — в одну камеру... Расскажу тебе одну историю. Перед самой войной получил я заказ, предложили мне сделать клише... мmm... тридцатки, чего уж

тут темнить. Не Монетный двор заказывал, не Гознак и не Первая образцовая типография, и аванс был соответственно. Сделал я, от бога получил я руки эти, искусство это, подпись Молотова могу и правой и левой поддевывать. Отдать клише специалисту на самый жесткий контроль — не отличит он подделку от подлинника. Заказчик торопит, а я медлю, не спешу. Почему — сам не понимаю. А время идет, либо возвращай аванс в десятикратном размере, либо предъявляй вещь... В Москве не жив? Так будешь проездом — зайти советую в кинотеатр «Форум», любили его граждане определенной профессии, я туда поэтому никогда не ходил. А тут заглянул, посмотрел на кривляние артистов. И осенило меня. Сделал я вещь, но не просто сделал. Я сотворил ее, я одухотворил ее — а нет в ней меня! Нет! Потому что моя копия неотличима от подлинника. А должна отличаться, если ее делал мастер. Нет в вещи чего-то такого, что свидетельствовало бы: я делал ее, я! Особиночки нет, только мне присущей. Меня, наконец, нет. А если меня нет, то — зачем я? Нет меня — и не вспомнит никто обо мне. В Толстом меня как-то одна фраза поразила, простенькая, не эпическая, без всякого смысла даже. Такая: «Про батарею Тушина было забыто.» А? Нельзя забывать, нельзя! Себя нельзя забывать. Тушин ведь себя не забыл — поэтому и вспомнил о нем писатель земли русской... И подпортил я клише, сделал одну крохотную завитушечку, настоящий специалист без всякого аппарата глянет и — вышкана мне, с конфискацией. Знал — и не удержался, оставил свой след на месте, так сказать, происшествия.

— Так тебя по следу — нашли?

— Искали. Могут найти.

Он перехватил взгляд Андрианова.

— Нет, медали, как и значок, настоящие. И орден тоже. И наградное удостоверение к нему — подлинное. Вот что делает с людьми война.

Они простились через час. Покурили на КПП, обнялись, потом Калинченко сунул Андрианову в руку очень тяжелый мешочек.

— Золотишко здесь и разные цацки. Отдай девкам, мне они уже ни к чему. Погубит меня Васька. Сам-то когда в Саратов?.. Может, и встретимся? И не узнаем друг друга.

Зимой того же года, после взятия Киева, в каком-то местечке Андрианов встретился с Христичем, которого счи-

тал убитым, и бывший командир Третьей роты честно (никто не подслушивал) рассказал ему, что произошло с ним и его ротой.

До Семихатки, где ожидался немец, чуть больше сорока километров, и Христич не торопился. Главное – увести роту подальше от курсов, сохранить людей, из Семихаток позвонить в райцентр и ждать указаний.

Хлипкие городские мальчики шагали на удивление бодро. Никто не догадывался, что весь ритуально обставленный марш-бросок – обман и провокация, и Христичу становилось неловко, когда он слышал разговоры о немцах: сколько их, стрелять ли по ним, когда они в воздухе, или окружать парашютистов на земле. Отшагали пятнадцать километров, сделали привал, разожгли костры и похлебали из котелков разведенный водой концентрат. Только построились – к роте подкатил на виллисе майор с двумя сержантами. Христич громко, чтобы все слышали, объяснил – кто, куда, зачем. Майору было под пятьдесят, старый служака непроизвольно поправил кобуру, когда услышал о десанте, а затем просветленно глянул на Христича. Сказал, что до Семихаток можно добраться быстрее, если выйти на большак, там часто ходят машины. Курсантам же майор посоветовал держать спину прямее. В немецкий десант майор, конечно, не поверил, марш-бросок посчитал уловкой командования курсов, ухищрением военно-педагогической мысли. «Ну, в добный путь!» – пожал он руку Христичу. Курсанты же впали в некоторое недоумение. Если немцы вот-вот свалятся с неба, то почему сержанты в виллисе без оружия и, как видно, не к бою готовятся? В машине – мешки с мукой, в корзине хрюкает поросенок, ящики явно невоенного назначения. Мирные цели маленького воинского подразделения так и лезли в глаза, но никто не решился указывать Христичу на явное несоответствие, боясь прослыть глупцом. Тот же почувствовал неладное и советом майора пренебрег, чтоб на большаке не столкнуть курсантов с мирным населением, напуганные ими бабы могли поднять визг на весь бывший военный округ, места эти, верили бабы, относились к той части России, до которой немцам никогда не дотопать.

Не дойдя к ночи до Семихаток, рота свернула в лес. Христич решил: отсюда – ни шагу. Взводного, что порасторопистее, послал в деревню, тот вернулся ни с чем, никакой связью с райцентром сельчане не располагали.

Рота выспалась, позавтракала, взводные доложили: отставших нет, больных тоже, два человека натерли ноги. Христич прошелся вдоль строя, вглядываясь в курсантов, но так ничего и не понял. Что-то происходило с этой сотней городских парней, это он чувствовал, но что? «Я их, — рассказывал Христич, — еще с апреля стал побаиваться, уж очень нежизненный контингент, все рвались на фронт, стихами и себя оглушали, и меня, один все декламировал, помню, о Красной Армии, которая дойдет до Ганга. Представляешь? Я как слышу этот бред, так думаю: дай бог этим мальцам до августа дожить. И сам я стал дуреть от них, околпачили они меня своими словесами. Фронт им, видите ли, подавай. Немца не знали и не видели, поэтому и воображали его, искали его там, где его никогда не бывало. Степным округом, помнишь, до Попова командовал Рейтер. Фамилия как фамилия, немецкая фамилия, но мало ли у нас генералов с немецкой фамилией. Крейзер, к примеру. Так мои курсанты обычную передвижку, замену Рейтера Поповым считали почему-то отстранением Рейтера от должности. Раз немецкая фамилия — так враг. А ведь клялись в верности мировому пролетариату в тех же стихах, Тельманом восхищались. Я думаю, они уже в апреле были стебанутыми, когда спрашивали меня о Рейтере.»

На коротком совещании в кустах Христич услышал от взводных тревожную новость. Курсанты не забывали майора и сержантов на виллисе, и по неизвестной причине в курсантских мозгах сцепились обстоятельства, которым нормальный человек не придал бы ровно никакого значения. Христич отказывался верить взводным, но те, сами напуганные, докладывали: курсанты считают майора и сержантов передовой группой немецкого десанта!

Христичу стало не по себе. Ничего другого не оставалось, как держать роту в прежнем неведении. Будто в исполнение полученного приказа роту рассредоточили по лесу, взводные вяло призывали к бдительности, обстановку не накаляли. День прошел тихо, если не считать появления на дороге двух телег с бабами, по косам и вилам нетрудно догадаться, куда едут, почти идеальная картина, никак не вяжущаяся со скорым немецким десантом, с истребительным батальоном где-то неподалеку. Дорога огибала лес, за каждым курсантом не уследишь, с бабами вроде бы никто не переговаривался, и тем не менее по району, как потом узнал Христич,

разошелся слух о десанте, от баб ли, от сержантов с виллиса – неизвестно.

Того же расторопистого взводного послали уже в другую деревню. Никаких известий он не принес. Пресекая вредные разговоры, Христич строго предупредил курсантов: немедленно занять выгодные для обороны рубежи, ночью быть начеку – ни огоньком, ни шумом – себя не выдавать, немецкий десант, теснимый доблестным истребительным батальоном, отступает в сторону леса. То, что последовало далее, никак не входило в планы Христича. Начались шныряния по кустам и пробежки от одной скрытой огневой точки к другой: к парторгу роты несли заявления о приеме в кандидаты. С большим трудом Христич уговорил того не собирать бюро. Курсанты же сходились в кучки, обнимались, как перед последним смертельным боем, клялись держаться до последнего патрона. Аккордеонист вытащил свой инструмент из футляра, чтоб в бою поднять дух мелодией пролетарского гимна. Взрыв энтузиазма разметал взводных по лесу, управление ротой было потеряно, от стыда и злости сам Христич не знал, куда спрятаться.

Наконец угомонились. Минометный расчет ушли на южную окраину леса, ближе к дороге выставили передовое охранение. Все рвались в бой, а что к добру такое не приводит, Христич знал по собственному опыту. В октябре 41-го года (дело было в Горьковской области) его со взводом послали на будто бы сброшенный немцами десант. Взвод залег в засаде и на зорьке увидел одиннадцать человек с парашютными мешками на спинах. Почему парашюты должны быть на горбу – никому в голову не пришло, парашютисты представлялись всем не падающими с неба, а именно так – несущими их на себе. Сдурул весь взвод вместе с Христичем, а уж тот не впервые сталкивался с немцами, окружал в июле десанты, сам убегал от них. Здесь же – оглуился, когда на фоне алеющего востока увидел одиннадцать четких силуэтов. Открыли огонь, и вот результат: один убит, четверо ранены, и не парашютисты-десантники, а бабы ночью грабившие колхозный склад. Штрафбатов тогда еще не было, Христича могли без зазрения совести шлепнуть перед строем истребительного батальона, но в неразберихе московского драпа ему удалось переметнуться в сибирскую дивизию.

Ночью его разбудили. «Ну?» – спросил он, не раскрывая

глаз, ожидая доклада взводного, отправленного в райцентр. Но растолкали его курсанты: «Товарищ капитан! Немцы!» В кромешной тьме Христич пошел к охранению. Была беззвездная ночь, безлунная, было так тихо, что услышали, как в деревне (а до нее три километра) запел петух. Христич приложил ухо к земле. На севере что-то происходило, оттуда шел дробный гул, обрываясь томительной тишиной и возобновляясь. Не танки, определил Христич, не артиллерия и не пехота в походном строю, и от неопределенности душа погружалась в тоску. Гул наконец провалился в беззвучие, которое заговорило, пробуждая в человеке древние признаки надвигающейся беды. Где-то будто приподнималось на лапы раненое животное, ослепленное болью и способное поэтому разорвать в темноте клыками и когтями любое живое существо. Сдавленным шепотом Христич приказал всем взводам сосредоточиться на опушке, огонь открывать только по команде. Сам же вышел на дорогу, поднял голову к небу. Оно отражало рокот и ропот, поступь наползшего страшилища. Ноздри защипал запах навоза, обострив слух выросшего в деревне мужчины, и Христич догадался, что длинное, судя по протяженности звуков, существо – всего-навсего колонна вооруженных людей с обозом. Немцев здесь не предвиделось и вообще быть не могло, и все же Христич, возбужденный нетерпением и страстью курсантов, готов был принять неравный бой с авангардом противника, уничтожить его в короткой стычке. К счастью, вернулся из райцентра взводный, шепотом сообщил умопомрачительную новость: курсы – ликвидированы, всем трем ротам приказано поступить в распоряжение командира 293-й дивизии, Первая и Вторая уже там, Третью ждут на станции, из райцентра с минуты на минуту приедут грузовики, сам взводный добрался до леса на случайной машине, привез мешок с хлебом и консервами. И о конно-пешей массе на севере предупредил: идут переброшенные из-под Петрозаводска пограничники.

Христич глянул на часы: половина первого ночи. Выскочили из тьмы звезды, показалась луна. Конно-пешая масса приближалась, Христич совершил самую главную и страшную ошибку, не увел курсантов в лес, а позволил им рассмотреть то, что взводный называл пограничниками из-под Петрозаводска.

Осиянная лунным светом, по дороге брела бледносиняя

масса людей, похожих на трупы, только что вставшие из братской могилы. Эти разлагающиеся призраки издавали жуткую вонь, была она такая густая, что курсанты попятились, зажимая носы. Запряженные в повозки лошади мотали головами и тихонечко пофыркивали, эти коняги, когда-то дружившие с людьми, теперь боялись их. Бока их впали, ноги надламывались. Люди же еще не воевали, в повозках лежали не раненые, а смертельно уставшие, изможденные двенадцатисуточной дорогой солдаты, у которых не было уже сил идти и спать на ногах. Христич дернул за плечо офицера, внезапно заснувшего и осталбеневшего, двинул его, сунул в зубы зажженную папиросу, и тот, жадно затягиваясь, продолжая смотреть в спину впереди идущего, поведал Христичу, что направляются они в распоряжение начальника войск охраны тыла, что двенадцать суток мотались по железным дорогам, пока не прибыли сюда, что в срок их никогда не кормили и в последний раз видели они пищу трое суток назад, на станциях же все военпропункты считают их на довольствии Наркомата Внутренних дел, что, конечно, правда, и поэтому обеспечивать их нигде не хотят, указание же начальника тыла Красной Армии о постановке их на снабжение так и не поступило в округ.

Кто-то из курсантов мотнулся в лес и вернулся с тремя буханками хлеба, но призраки не замечали протянутого им куска, были они в той степени одичания и озверения, когда идти на смерть легко, ибо хуже этой жизни не придумаешь... Сорок минут текла мимо курсантов эта смердящая, колышущаяся масса. Колонну замыкала фура с зачехленным знаменем и полковой канцелярией, солдат на фуре зубами вцепился в буханку, разорвал ее пополам, спрыгнул на землю и остановил мерина, стал по кусочкам вкладывать ему в пасть ломанный руками хлеб. Солдат был, конечно, писарем, а те всегда довольны жизнью и службой, и этот полудохлый пограничник сразу ожил, намекнул на выгодный обмен: есть у него мины, немецкие, миномета же нет, так не махнемся ли — пять лотков мин на пять буханок?

Махнулись. Покормленный мерин отважился пойти быстрее, но смелости хватило на несколько шагов. Задержка дала курсантам возможность задать вопрос: да что же здесь происходит, кто виноват, кого наказывать надо? На что солдат, стронув наконец мерина, с писарской откровенностью брякнул: — Измена, братцы, кругом измена! Говорю вам — измена!

Не так уж и громко было сказано, и стояло-то у фуры пять или шесть курсантов, и тем не менее слово это «Измена!» долетело до тех, кто залег у дороги, кто с опушки глазел на странное шествие сизобледных человечков. Фура со всезнающим писарем скрылась из виду, тележный скрип еще раздавался в ночи, и Христич понял, что случилось непоправимое, что рота впала в тупое, глухое к разумным словам остервенение, и что будет дальше – это уже от него не зависит. Рота слушала только себя, никого более, и видела только то, что хотела видеть воспаленным воображением. Про десант было забыто, никто, пожалуй, уже не знал и не помнил, почему все они здесь, в сорока километрах от курсов. Никому из курсантов не было сказано, что сейчас подъедут грузовики из райцентра, но все они вышли из леса и – в пугающем Христича безмолвии – ожидали чего-то. Взводные командовать опасались, сам Христич то погружался вместе со всеми в безумие, то выныривал оттуда, жадно хватая ртом чистый воздух. Теперь уж, подумал он, штрафбат ему обеспечен, и горько пожалел своих взводных, по-детски жавшихся к нему. Они и Христич были уже пленниками и первыми жертвами хищной, злобной и жадной до крови стаи.

Подъехали полуторки, курсанты попрыгали в них. У Христича еще теплилась надежда, что тряская дорога выветрит из курсантов дурь, но рота свирепела с каждым пролетевшим километром, кулаками лупила по кабинам, подгоняя шоферов.

Остановились невдалеке от Посконц, курсанты спешились. Спасая взводных, Христич уложил их в кузове полуторки, шепотом приказал: ехать на станцию, предупредить коменданта. Пока укладывал взводных, пока грозил шоферу, две другие полуторки развернулись и скрылись в ночи. Что шоферы подумают и что кому доложат – Христичу было уже на все наплевать, он догонял ушедшую к Посконцам стаю, не сомневаясь, что нацелилась она инстинктом на гнездо изменников, то есть решила арестовать и расстрелять Висхоня и Калинниченко. В каких домах живут они – не знал никто, инстинкт безошибочно направил стаю к верному человеку.

Темень, луна скрылась, Христич бежал за ротой, пригибаясь как при обстреле. Рота грамотно, не бряцая оружием и котелками, вошла в Посконцы, полукольцом охватила

правление колхоза, выслала сторожевое охранение на развилку дорог. Несколько человек отделились и пошли к дому официантки Тоси. Как подняли ее, как позвали — Христичу увидеть не удалось. В длинной белой ночной сорочке Тося вышла к курсантам, сказала, что ни Висконя, ни Калининченко в селе нет. Зато указала на другого врага, на очаг разврата.

Пыхтящая от нетерпения стая разделилась надвое. Два взвода пошли в сторону курсов, что мало обеспокоило Христича, поскольку там — никого. Остальные пробирались краучясь к дому, где дрыхли беспутные парикмахерши. Тося так и не набросила на себя чеголибо верхнего, темного, белела в темноте ангелом мщения, над черной землей, казалось, порхает белая бабочка.

Подошли. Все залегли у плетня или сели на корточки. Тося сжалась в комок, сплющилась, прижалась к калитке, пытаясь отодвинуть засов, но, видимо, побоялась скрежетом металла разбудить ненавистных ей обитательниц дома. Повела курсантов в обход. Произошла непонятная Христичу заминка, задержка, все объяснилось, когда мимо пробежал курсант с бидоном керосина. Пистолет трясся в руке Христича, прекрасной мишенью была сорочка Тося, но руку кто-то заломил. От одного угла дома к другому перемещалась белая бабочка, макая белыми крыльшками, поливая стены керосином. Христич изогнулся, сбросил с себя напавшего курсанта, ударил его, тот дернулся и затих. Тут бы и выстрелить, но (он с ужасом признался Андрианову) ему самому «огонька захотелось», он почувствовал в себе такую тягу к сожжению чеголибо, не для огня предназначенного. Он, возможно, еще и струсили. За одним выстрелом последовали другие бы, и не отдельный дом на отшибе сгорел бы, а заполыхала бы вся деревня.

Дом оказался горючим, пересушенным, как береста в подпечной выемке, дом вспыхнул так ярко и жарко, что плясавшая от возбуждения и радости Тося казалась черной на фоне пламени. Огонь поднялся к небу, клочки воспламенившейся соломы летели по ветру, в сторону курсов, к счастью. Чтоб никто из парикмахерш из дома не ускользнул, Тося закрыла дверь и подперла ее паленом, курсанты наставили винтовки на ставни. Дом ревел, пожирая себя в огне, и вдруг из пламени донесся женский голос, прорвался сквозь нарастающее гудение. «Саша, ты помнишь наши

встречи в приморском парке на берегу, на берегу... на берегу...на бе...» И смолкло, будто поющей перерезали горло. «Ну что дое..!» – в восторге заходилась Тося.

Христич отполз, поднялся и побежал к курсам, потому что услышал чавкающий взрыв мины, а затем и другой, третий. В белесой синеве предвосходного утра он увидел черные комья взлетевшей земли, мины падали с недолетом, они, вспомнил Христич, были немецкими, калибр их на один миллиметр меньше, только шестая мина попала в забор. Выбежавшие из Посконц курсанты обогнали Христича, над полем разносилось «ура!». Командир Третьей роты сел на землю и понял, почему застрелился особист. Того страшила не высшая мера трибунала, а необходимость самому себе признаться в собственной никчемности.

Христича поднял наткнувшийся на него аккордеонист, и под рычание басовых нот они вместе дошли до пролома в заборе. Кое-где робко поплясывало пламя, уже гасимое курсантами. Звякнуло стекло, разбитое прикладом. «Сволочи! Все выгребли!» – орала на кухне Тося. Никто однако не хотел взламывать склад, как ни просила и ни умоляла она. С каким-то мстительным удовольствием Христич понял, что вот- вот наступит отрезвление, роте вернется разум, потому что попала она туда, где жила три месяца, где навыки привязаны к предметам военного обихода – к этим казармам, забору, гаражу, столовой.. Рота сейчас опомнится, заскулит. Выждав еще немного, он разрядил в воздух всю обойму ТТ. «Рота-а-а!.. Становись!» Построились в две шеренги, повзводно. Три часа на сон, сказал Христич, три часа на дорогу, в полдень обязаны погрузиться в вагоны, Первая и Вторая уже сражаются с врагом, всем спать, спать!..

Сам же сел писать предсмертное письмо жене и детям, повинился во всем перед ними, поставил дату. Потом снял с пожарной доски топорик, пошел к складу, чтобы сбить замок, достать консервы и накормить подчиненных. Взмахнул топориком и опустил его. Дверь склада была приоткрыта, замок висел на одной петле, кто-то уже польстился на казенное имущество, и не кто-то – аккордеонист. Очумело озинаясь, он вышел на свет, застегивая брюки. Христич заорал, едва не ударил: «Ты что, засранец, до уборной не мог дойти?» Странная улыбка блуждала на лице курсанта – и самодовольная, и виноватая, и стыдливая. Покончив с

брюками, он сделал шаг вперед и, оправдываясь, зашептал: «Товарищ капитан, честное слово, не я первый, она сама по добруму согласию, и еще просила кого-нибудь прислать к ней...» Христич отпихнул его, вошел, щелкнул фонариком, свет метнулся по мешкам и ящикам, пока не воткнулся в сидевшую на груде тряпья обнаженную женщину. Тося!

Он погасил фонарик, закрыл глаза, возвращая им нормальное зрение, а когда открыл их, увидел удлинившуюся белую фигуру. Тося легла. Христич рыскал по карманам, искал сбйму, вогнал ее в пистолет. Выстрел поднял Тосю и погнал ее к пролому в заборе, она дважды падала, но тряпья из рук не выпускала. Курсанты спали так крепко, что никто не проснулся, а Христич долго стоял или лежал у забора, был полный провал памяти. Пробудил его запах горячей пищи. Он встал, шатаясь, на ноги, будто контуженный, выбрался из заваленного окопа. Ко рту его поднесли котелок с варевом, он сделал глоток, а потом влил в себя весь котелок. Приказал построиться.

Построились и рассчитались. Глаза смотрят либо в небо, либо в землю. Стыдятся. На левом фланге — минометный расчет, без ящиков, без лотков, без мин. Вновь мстительное чувство овладело Христичем: ну, грамотеи, еще до ночи понюхаете настоящего пороха!.. да так, что не откашляетесь! «Напра...» И разъяренный Христич сорвал с кого-то ППШ, в щепки разнес аккордеон. «...во!»

На Посконцы, на черное попелище никто смотреть не хотел. Через три часа подошли к станции. Незнакомый майор обрушился на Христича, обвиняя его в дезертирстве. «На второй путь, бегом, марш!» Майор не отставал от командира пропавшей роты: «Ты где был со своими?... Семихатка?.. Так, так... Немцев много?» Христич оттолкнул его. «Какие еще немцы? Два батальона погранполка...» Майор не сдавался: «Ой врешь!... Десант немцы высадили!»

Христич дognал тронувшийся эшелон, руку протянул подполковнику, но не из 293-й дивизии, а из непонятно какой бригады. Договорились было о кормежке, но на очередной станции оказались рядом с танками под брезентом, нашли сопровождающих, те разрешили, курсанты перепрыгнули на открытые платформы. Поезд мчался на всех парах, по небу плавали легкие белые облачка, все самолеты летели в сторону фронта. «В сорок первом так бы вам ехать...» — не переставал злорадствовать Христич. Стемнело, когда оста-

новились. Танки, пофыркивая и постреливая выхлопами, сползли на землю. Рота соскочила и построилась. Подполковник пропал, только что стоял рядом — и уже поглотился ночью. Курили, ждали, молчали, никто ни о чем не спрашивал. Вокруг — беготня, мат, угрозы. «Кому табачку?» — пообещал кто-то из темноты, но тоже пропал. Перед Христичем выросли три офицера, осветили его фонариком и дружески посоветовали сматываться отсюда, иначе будут расстреляны за уход с боевых позиций. Разорвалась бомба, метрах в пятидесяти, офицеров сдуло. Рота стояла. Автоматно-винтовочный огонь слышался отовсюду, но опытное ухо Христича распознало: стреляют не по живым целям, а наобум и со страза. «Где Тараканов? — свирепел чей-то голос. — Тараканов где?.. Усы оборву!» Вдруг рота сама повернула налево и зашагала. Догоняя впереди идущих, Христич наткнулся на исчезнувшего подполковника. «Туда! Туда!» — показывал тот. Куда — не сказал. Рота влилась в массу людей, вытекающих из какой-то дыры. Потом танки, туда же спешившие, распихали массу, она вновь сомкнулась, когда последний танк, пылающий жаром, скрылся в ночи, освещаемой всполохами далекого огня. Два часа топала рота, пока не напоролась на автоматчиков, пригрозивших всех перестрелять, всех! Христич тоже взялся за оружие. Помирились, потопали дальше. Повстречался наконец здравомыслящий человек. Он стоял у горящей эмки, водя пальцем по карте в планшетке, накидка скрывала его погоны. «Вы несколько запоздали...» — мягко укорил человек Христича, затем ровно сказал, что 293-я отошла на подготовленные позиции, роте курсантов надлежит занять оборону в километре отсюда, имея справа понесший большие потери полк 134-й дивизии, а слева... Карты у Христича не было, он поверил направлению пальца всезнающего и хладнокровного полководца. Начинало уже светать, рота по-взводно ушла в предрассветную синь и сползла в траншеи. Здесь нашли ящики с патронами, трупы лежали в одной и той же позе — ничком. От полководца прибежал связной: быть готовым к атаке, пока немцы не закрепились. Раздавая патроны, Христич прошел по траншее, приговаривая: «Ребята, как вспрыгну и крикну — все за мной, ясно?.. Как вылезу наверх — сразу за мной, понятно?» За все свои фронтовые месяцы он четыре раза поднимал красноармейцев в атаку и дважды оказывался в госпитале, не сделав и

пяти шагов после «за мной!» Опыт был, и когда две ракеты, зеленая и красная, взлетели, он, выбравшись на бруствер, не стал орать призывы, не сбивал дыхание, а, вытаскивая из земли тяжелые ноги, пошел по-над окопами, загребающим жестом показывая курсантам – ну, давай же, вылезай! Кося глазом, он видел, какими строчками шили пулеметные очереди, и определял, в какую сторону ему бежать, а по густоте пищавших, цвенъкающих и гудевших пуль – с какой прытью. С ног свалилась тяжесть и они, легкие, понесли его вперед, он так и не увидел, поднялись курсанты в атаку или нет, потому что дальнейшее топтанье на виду свело бы на нем все немецкие очереди. Ярко-желтый ком земли, вывернутый взрывом, был ориентиром, и Христич бежал, думая только о том, чтобы живым и невредимым достигнуть ярко-желтой отметины, а когда поравнялся с нею, заметил впереди зелененький бугорочек и теперь только этот зелененький бугорочек и видел. Плотность пуль разжижилась, из чего Христич понял, что курсанты наконец-то выкарабкались из окопов и поднялись, отводя от командира роты пересекавшиеся на нем пулеметные очереди. Бугорочек проскочил под ним, глаза Христича нашли минометный лафет, зигзагами он приближался к нему, хохоча над немцами, которые стрелять не умеют, и выбирал момент, чтобы упасть, перевести дух, чтоб подняться и побежать к той каске, что торчит из-под земли. И упал, но не перед лафетом, и пополз к нему, со злостью убеждаясь, что коленки ни во что не упираются, скользя и наполняя его болью, что и рука немощна. Земля, к которой он прильнул, вдруг приподнялась и упала, оказалась внизу, а сам он парил над нею. Христич потерял сознание. Открыл глаза и увидел себя рядом со знакомым ярко-желтым комом. Повернул голову: над ним было солнце во всю ширь небес. Ярко-желтый ком поехал от него, Христича поволокли. Потом его подняли и понесли, и несли долго. Положили. Услышал: «Ну, этот подождет... Тащи того, с животом...» Ни боли он не чувствовал, ни страха. Не испугался, когда из-под глаз убрали солнце, а затем и все небо. В нос ударил густой дух крови, парного мяса, санитарии, ноздри зашипали эфирный ветерок. К губам поднесли водку, он выпил. Потом что-то стали делать с ногою, не его ногой, к Христичу будто привязали неизвестного голого человека, вытворяли с ним что-то безжалостное, страшное, человек этот дергался, стонал, мучился, дрожанием своего

страдающего тела передавая боль и страх подвязанному к нему Христичу... Кажется, врачи доконали бессовестно искореженного ими человека, отвязали его от Христича, унесли. «Как зовут его? – спросил Христич. На него заорал врач: «Хватит придуриваться! Таким, как ты, раненым я в сорок первом винтовки раздавал!..»

Прошли сутки, и Христич попросил костыль. Две сотни раненых лежали на земле под брезентом, в такую палатку, прикинул Христич, можно загнать танковую роту. Переходя от одного раненого к другому, Христич вглядывался в бескровные лица, но не находил среди них ни одного знакомого, курсантского. Начал расспрашивать: вчера отправляли в тыл тяжелораненых? из Третьей роты там был кто-нибудь? Отвечали: никого не отправляли, потому что все раненые померли, убитых тьма и никакой Третьей роты не было вообще. Христич развелновался, стал доказывать, что вчера на рассвете рота курсантов, приданный 293-й дивизии, заняла рубежи для контратаки, смелым ударом опрокинула прорвавшихся немцев... «Да пошел ты! – сплюнул кто-то. – Не было, поверь мне, никакой третьей курсантской роты!»

Христич выбрался из палатки, лег на землю и расплакался – от жалости к своим безумцам, которых он не научил прыгать от ярко-желтых комков к зеленым бугоркам. Все они полегли за дело, ради которого сожгли в избе трех русских баб.

Из запасного полка, рассказал он, его направили в штаб корпуса, оттуда в полк, им он теперь и командует. Ни о ком из офицеров курсов ничего не знает.

И Андрианов не знал. Помнил некоторые фамилии особо запавших в память людей. После Крестов он старался не перегружать себя лишними именами, адресами и воспоминаниями. Фалин, Кубузов, Рубинов, Лебедев, Сундин – достаточно. А о Висхоне и Калинниченко он почему-то не хотел говорить с Христичем.

– Особняк тебя не дергал?

– За тех блядей, что сгорели?.. Да кому они нужны.

– Понятно, – промолвил Андрианов, и голова его поникла, хотя уж он-то знал, что никто не сгорел.

В тот день, когда Калинниченко простился с ним и увел Висхоня на станцию, в часы, когда Третья рота была еще на марше, Андрианов готовил себя и женщин к бегству. Он

набил мешок всем необходимым для переодевания и, стараясь быть не замеченным, вернулся к женщинам.

Мешок оставил в сенях, ступил на порог и скромно сел, будто нет его здесь и не слышит он того, о чем спорят женщины, а те дотошно обсуждали: как лучше — с холостыми или жснатыми? «Да все они врут, что холостые!» — кривила губы Томка. Вдова мстила всем: немцам — за то, что они убили ее мужа, своим — за то, что не уберегли его от гибели. У воровки Люси сложилось иное мнение о достоинствах безалаберных холостяков: они никогда не печалятся, обнаружив пропажу, им ведь не надо объяснять женам, куда подевался портсигар или еще что поценнее. Зато Варвара видела в холостячестве много отвратительных черт, таких — она не говорила.

Иван Федорович помалкивал и слушал, будто пил парное молоко, так ему было свежо и приятно от мысли, что он спасет трех женщин, потому что на них завтра или послезавтра накинут петлю. По законам сложения и умножения слухов, присущих тяжелым боям на фронте, в немецкий десант включат этих тараторок, носительниц и хранительниц мужского счастья.

Он цыкнул на них, притащил мешок с обмундированием, сказал, что отныне они — воины славной армии, санинструкторы, документы уже сделаны, форму надо подогнать и завтра ночью смыться, за каждой что-то тянется, их ищут.

Женщины захлопотали. Люська, не один год перешивавшая краденое, из пяти брюк сделала три юбки. Томка, гордившаяся своими красивыми ногами, юбку себе укоротила, Варвара держалась моды начала века и служить хотела только в длинном, она же почему-то не любила пилотку, и с банкой тушеники пошла по дворам, в Посконцах эти банки уважали из-за вкуса и нелепой буквы «У», похожей на рогатину. На нее Варвара выменяла берет, Андрианов переколол на него звездочку со своей фуражки, в дальний путь он решил отправиться в пилотке. О драгоценностях от Калинниченко женщинам говорить не стал. Когда покинут они эти опасные места, тогда и разделит он золото и побряушки на три части, и женщины на них купят себе хорошую обувку, платья, кое-что сберегут и на черный день. Все-таки женщины, не окурки какие, не бычки обмусоленные...

Всю ночь и весь день кроили, шили и гладили, примеривали, учились прикладывать руку к головному убору,

заучивали новые фамилии. Всем было весело, бесшабашно даже, под пластиинки Утссова самому Андрианову казалось: да пустяки, вырвемся из этих проклятых Посконц, доедем! Куда доедем — сам не знал. Пока — в сторону Саратова, поездом, а там определимся, Варвара сойдет в семидесяти километрах от города, от станции до ее деревни — восемь километров, дошагает или доедет. Она накопила, заработав и выпросив, четырнадцать банок консервов, разных, от тушенки до крабов, да четыре килограмма муки. Могла бы и больше достать, сохранить и припрятать, но Люська бесила подруг откровенной прожорливостью и не раз запускала руку в сокровища Варвары.

Решили было уходить под утро, но женщинам захотелось поразжиться кое-чем на курсах. Там, знали они, никого нет, там есть мука, крупы, сахар, все это можно вытащить на дорогу, спрятать в кустах, самим же вернуться сюда за вещами, забрать жратву и шмотки, сделать ручкой «прощай», а дальше — как в английской песне про Типперери.

Вздорная была идея, глупая, опасная, и согласился с нею Андрианов потому, что хотел для Люськи прихватить на курсах одеяльце, она временами пугающе кашляла.

Стали собираться. Обманывая возможных воришек, дверь и окна закрыли изнутри, сами же выбрались через дырку в пристроенном к сеням сарае. Томка зачем-то сунулась в баньку, выскочила оттуда вся в гневе: «Ваня, дай пушку, пристрелю эту сучку!» Люська захихикала, что-то протянула ей, — наверное, подумал Андрианов, у Томки что-то ценное было спрятано в баньке. «Как вам не стыдно!» — укорила Варвара. Уже открыли калитку, когда чуткие уши Андрианова уловили шум автомобильного мотора, и не одного. «Назад!» — скомандовал он перепуганным женщинам. Побежали, спотыкаясь, к баньке, залегли в ней. Варвара высунулась в узкое оконце, поелозила в нем, но так и не пролезла. «Красноармейцы идут» — шепнула она, да и Андрианов разобрался уже в раздробленных звуках, какими сопровождается поступь вооруженных людей. Конец, подумал он, приехали за женщинами, брать их, и только по Тосе догадался, что в Посконцы ворвалась Третья рота.

Сад надежно прикрывал баньку, ее и днем не заметишь, но когда дом загорелся, всем в баньке показалось, что они на виду, что поджигатели доберутся до них. Женщины завизжали, Андрианов скватил Томку и Люську за горло,

Варвару же коленом придавил к полу. Умолкли. Дом горел, треща и повизгивая, испуская вопли, и женщины плакали от свалившейся на них беды: огнем уничтожалось самое дорогое для них, кое-какое бельишко, выстиранное и развешанное для просушки, а Люська горевала еще и по гитаре, по патефону всплакнула и Томка. В щель притолоки Андрианов сунул еще вчера камни и золото Калинниченко, и сейчас радовался, что так и не сказал женщинам о царском подарке.

Дом еще не сгорел, а по минометным взрывам Андрианов понял, кого теперь атакует рота. Надо было уходить, переждать в балке, Третья рота в казармах не задержится, ее погонят на станцию. Женщины совсем раскисли, дрожали, всхлипывали, первой сдалась Варвара, когда услышала, что вместо сгоревшего добра она получит на курсах втрое больше консервов и пшена. Люська вдруг рассмеялась и рассказала анекдот о попугае в горящем борделе. Ползком, мимо шалашика, добрались до склона оврага. Полежали в густой влажной траве. В сереющем мраке вилась дорога, безлюдная, светлая и не опасная. Перешли ее. Кошачьи глаза Томки отсвечивали зеленью, «ямка здесь, осторожнее», – предупреждала она. Спустились в балку и добрались наконец до стрельбища, сюда каким-то образом попала будка путевого обходчика, в ней обычно раздавали патроны и проверяли оружие. Наплевано, накурено, повсюду окурки, пустые гильзы пованивают пороховой кислятиной. Варвара наломала веток, подмела. Женщин клонило ко сну, они легли на тряпье, пахнущее оружейным маслом. В глубокой балке холодило, тяжелый туман влился в нее, Люська откашлялась и позвала Андрианова, чтоб тот спал вместе с ними, утеплял, обвила его руками. Сзади дышала в затылок Варвара.

Солнце уже выгнало туман из балки, когда он проснулся. Снял с себя руки и ноги женщин, выбрался из будки, поднялся наверх, залег в кустах. Забор – в километре, что за ним – не видать, в ветре была горечь горелой резины. Труба не дымила. Выстрел. Потом еще. Что-то задвигалось, забегало. Сухо протуткала автоматная очередь. По солнцу – около десяти утра. И наконец запылила дорога, Третья рота пошла вливаться в 293-ю дивизию. Андрианов съехал вниз по скользкой траве, разбудил женщин, сказал им: глаз не сводить с крайней караульной вышки, как появится на ней белая простынь – идти к забору.

Ключи начпрода позякивали у него в кармане, равнодушно глянул он на сбитые со складов замки, он знал, где начпрод прячет истинные богатства. Прошелся по казармам, постоял у клуба, у гаража, куда попала мина. Остальные только повыбивали стекла да кое-где обрушили забор. И все же повсюду — следы разгрома или бегства, как два года назад в том гарнизоне, где застала Андрианова война, там он, как и сейчас, один-одинешенек стоял на плацу военного городка, брошенного на произвол судьбы, под гусеницы уже грохавших невдалеке танков. Он тогда еле ноги унес, надеялся и отсюда выбраться живым, не встревожило его и появление нежданых гостей. У пролома в заборе взнудзанной лошадью остановился студебеккер с высокими бортами, автоматчики в касках и накидках ловко поспрыгивали, мягко опускаясь на землю, раньше всех через борт перелетел прыгучий начальник, без каски, с ястребиными глазами, сразу обшарил ими округу, не глядя причем на Андрианова, но руками побалтывая так, чтоб тот понял: пистолет он выхватит раньше, сопротивление бесполезно. Спросил, кто еще есть в расположении части. «Никого, сам видишь.» Лица автоматчиков вымазаны сажей, покопались, значит, на пепелище. «В госпиталь пора, служивый», — дал совет начальник, возвращая Андрианову документы. Тот чуял: за спиной кто-то наставил на него ствол, повернулся — еще два таких же начальничка, без касок, с волчьими ухватками, сажей не мазанные, под мышкой того, что справа, шахматная коробка.

— Партийку сметаем, капитан, да?.. выиграешь — не заберем, проиграешь — прихватим.

Шахматы — из красного уголка при казарме Третьей роты. Оттуда и подшивка «Красной Звезды».

— С немцами поиграй...

Ястребиные глаза нашли на земле что-то любопытное, начальник наклонился, поднял, всмотрелся. В руках его был осколок мины.

— А мина-то немецкая... — задумчиво молвил он, и мысли его свернули на коженую тропу.

— Три женщины, — из немецкой агентуры предположительно, — фланируют в районе станции, сейчас скрываются в близлежащих пунктах, не встречал?

— Не попадались. — Он скрытно ходил к женщинам: не хотел, чтобы Тося видела его. Какой-то стыд был перед нею.

— Где этой ночью был?

— Здесь.

— Кто ж стрелял?

— Курсанты. Третья рота. Баловались перед фронтом.

Эти ястребиные ребята в одну кучу сгребли поджог, десант, агентуру, бандформирование, женщин, парашютистов и совсем запутались. Уехали чрезвычайно озабоченными, в райцентр, Студебеккер дважды выполз на горбы дороги и прятался во впадинах. Потом машина скрылась в пыли, и Андрианов вывесил белую простыню.

— Конюшня, — сплюнула Томка, глянув на казармы. Люська шарила по тумбочкам, Варвару потянул к себе склад. Андрианов раздвинул пустые ящики, закрывавшие потайную дверь с неприкосновенным запасом начпрода. Продуктов хватило бы на всю деревню, Варвара упала на ящики, никого не подпускала к ним. Расплакалась: «Не довезу! Ой, не довезу!»

Добычу разложили по четырем вещмешкам, Варвара не выпускала из рук дополнительный узел. Люська блаженствовала, уплетая колбасу, а Томка места себе не находила, заглядывала во все углы. Круговым движением плеча подозвала к себе Андрианова.

— Я ведь, Иванушко, в казармах воспитывалась и отвращение у меня к ним, отец у меня из кадровых. И муж полком командовал, из грязи да в князи, на что у отца ушло пятнадцать лет, у него за три года получилось, одним махом. Прослужил после училища три года, стал командиром роты — и тут же полк, вместо арестованного командира.

— А зачем ему изменила?

— В отчаянии была, в страхе, вот что думалось: если так быстренько можно забраться на вершину, через ступеньки перепрыгивая, то и полететь вниз, упасть, сверзиться — плевое дело. Как въехали мы в квартиру комполка, так я сразу представила обратный путь. Полетит мой Петруша вниз, мимо комбата, мимо роты и взвода, и упадет рядовым красноармейцем или того хуже. Своя жизнь кончилась, когда поселилась среди чужих вещей, отдали нам всю обстановку. Я поняла, что долго Петруша не покомандует. И точно: в академию, а там учиться не дали, обратно в округ, я чемоданы не успевала закрывать и открывать, и на новом месте не раскрыла. А в войну бежала с ридикюлем, соседка в Минске догнала, от нее и узнала о гибели Петруши.

Он выстроил женщин, приирчиво осмотрел их, порадовался тому, что вместе со всеми дамскими причиндалами сгорела губная помада. Женщины выглядели достойно, гимнастерочки подогнаны, юбки не мешают ходить, сапожки ладненькие, воинские звания свои все помнят, фамилии тоже, что кому говорить — назубок выучили. Томка начинала входить в роль и глянула на номер пистолета, сверяя его с указанным в разрешении.

Прошли пять километров, отдаляя себя от Посконц. Потом Люська сбросила с плеча вешмешок.

— Надосло, — зло сказала она. — Какого черта мудохаемся? Мы что — заготовители? На всю варькину деревню несем жратву. Так пусть сама и тащит!

Томка повалилась на траву, задымила, держала нейтрализет. Люська не унималась, предположила, что Варька сестер да братьев придумала, снесет продукты на рынок и купит себе платье из крепжоржета!

У Варвары слезы брызнули от обиды, стала клятвенно уверять — да есть у нее братья и сестры, шесть человек, мать больная, папка погиб в прошлом году, похоронку прислали, не выживут они без того, что приносит им она, помрут с голодухи, по сто граммов зерна доли на трудодень, коровы нет, коза тощая, брыкается при дойке и дает всего полтора литра молока...

— Ну вот! — обрадовалась Люська. — Так тем лучше! Сдохли они уже, не все, так половина. Вот и тащи сама на трех человек!

Примирила всех Томка. Сделала гимнастический мостик, выпрямилась, потянулась, как кошечка.

— Ты, Люси, не на своей хазе. И понимать должна: Варька на эту жратву любого мужика приманит, вместе они и прокормят весь выводок.

Подняли мешки, пошли дальше. Тропа подвела к речке, разулись. Держа мешки и сапоги над головами, по колено погрузились в воду. На том берегу подкрепились консервами. Люська слопала две банки, полезла уже за третьей, тогда-то подруги рассорились опять, Люське напомнили ее излюбленный прием: получив от женщины деньги или что еще, она тут же начинала плаксиво уверять, что никто ничего ей не давал.

— Как не стыдно! — укоряла Томка. — Некультурно. Невоспитанно. Бери пример с Варьки. Она хоть из деревни, но честная.

— А ты?.. Ты сама! Помнишь того майора на станции? С которым ты поднялась в вагон? Часы ты с него сняла. Часы ты — слямзила!

— Он их сам дал мне! Сам! Свидетели есть!

— Нет свидетелей!

— Есть!

Вмешался Андрианов.

— Младший сержант Гайворонская! Отставить разговоры!

Когда показалась дорога с автомашинами, он еще раз проинструктировал: не забывать новых фамилий, помнить, что сопровождают больного офицера, Варвара же еще и демобилизованная, едет на родину рожать, беременная.

Томка и Люська, вышедшие ловить машину, составляли идеальную пару: пока шоферня лупила глаза на неземную Люськину красоту, Томка вколачивала им легенду, которую те проглатывали, не усомнясь ни в одном слове. Обработали две полуторки, но почти без пользы, те перебросили их всего километров на сорок, а до Саратова семьсот, если не больше. Потом попался чересчур недоверчивый старший лейтенант, этот, на дodge, так и сяк вертел документы, стараясь не глядеть на Андрианова, и произнес мрачновато: «Так-то оно так, но...». Выручил развеселый водитель полуразваленного автобуса, сам тормознул, заорал: «Сестрички! Закурить не найдется?». Согласился довезти до города, что в километрах пятидесяти, горестно покачал головой, сочувствуя больному капитану, и всю дорогу тискал Люську. Дали ему две пачки «казбека», рад был чрезвычайно.

В этом городишке Андрианову крупно, сильно повезло, у дома военного коменданта он встретил сослуживца по бригаде. Тот при ходьбе и разговоре валил голову набок и тянулся шеей, врачи обещали после войны что-то подрезать, подшить и поставить голову на место, с правым глазом тоже был непорядок, он подмигивал, и все сообщаемое сослуживцем походило на тайну, посвящать в которую можно не всякого. От него Андрианов услышал адрес хозяйки, где примут его и женщин без разрешений коменданта. Туда и пошли, приняли их очень хорошо, три тушенки и кулек сахара окончательно расположили хозяйку. Поели, покурили, помечтали, сон не шел, долго ворочались, в квартире над ними пили и танцевали вовсю, рыдал патефон, окна раскрыты, слышны споры о втором фронте, о боях на Курской дуге.

— Спать надо, — строго сказал Андрианов, зная, что женщин ужс не удержать. Они дня не могли прожить без мужчин, они постоянно хотели уже, чтоб их тормошили, обнимали, но не лапали, раздевали, но с уговорами, чтоб мужчины обмирали на них, даруя им свои силы. Томка с упоснением внимала жарким обещаниям, тут же высмеивая чересчур пылких. Люська нуждалась в легких побоях, в знаках того, что она своя в этой мужской кодле. В Варваре же еще не истребилось истинное уважение деревенской девушке к мужчине, который всегда делает то, что непосильно ей, матери, братьям, и всем городским, кто постарше, она говорила «вы».

Наверху буйствовала музыка, гремел Утесов: «... что-то я тебя, корова, толком не пойму.» Томка, нервничая, села у окна, Люська тоже встала, одергивая юбку, прислушиваясь к гитарному романсу, да и Варвара, свившаяся калачиком в углу, хотела потанцевать и выпить, но уходить от мешков не решалась.

— Вы как хотите, а я пойду, — поднялась Томка, и Люська тоже засуетилась. — Только... не пустыми же идти.

Развязали мешки (Варвара смолчала), взяли пару банок, хлопнули дверью, потопали наверх. Оттуда вскоре раздался восторженный рев, женщин приняли в компанию, гитара перешла в верные руки Люськи, она запела сиплым голосом.

— Товарищ капитан, что я вам скажу... — Варвара отлепилась от своих мешков, на четвереньках поползла к Андрианову. — Что я вам скажу... Я ведь и впрямь беременная.

— Да ну? — приподнялся тот. — И давно ты чувствуешь это?

— Да как позавчера прочитала в справке, что на пятом месяце я, так сразу и поняла.

— Ребенок ты. — Андрианов лег.

Женщины вернулись под утро. Томка встрихнула Андрианова, зажала ему рот рукою, сказала в ухо: — Уходить надо, Иван. Немедленно. Срочно. Люська, сука. все испортила.

Та затягивала свой мешок, от обеих сильно пахло денатуратом. Варька со сна хлопала глазами. «Вставай, тетеря!» — пнула ее ногой Томка.

Пошли на паровозные гудки. К вокзалу не протиснуться, выгружали раненых, забивая носилками все подходы к

старинному зданию с башенными часами. Патруль преградил дорогу, потребовал документы, мигом прозревшая Томка прильнула к офицеру с повязкой, глазами вращая в сторону Андрианова: с этим контуженным лучше не связываться, псих. Пропустили на перрон. В поезд сажали по литерам, кого пускали, кого нет. Люську втащили в вагон лейтенанты через окно, они же пробились к тамбуру, подсобили Андрианову, Томка зычным голосом пробивала себе путь, ведя Варвару. Едва тронулись, как она бурно заговорила с бригадиром поезда и потребовала отдельное купе, предъявив командировочное и упирая на то, что больной, которого они сопровождают, такое может выкинуть, что лучше бригадиру не рисковать. Тот напугался. Перебрались из общего в офицерский купейный, здесь было тихо и пахло по-другому, шипром и штабом, погоны у всех с двумя просветами. Люська божилась, что видела и генерала, Томка пальцами обежала свои груди.

До Саратова – сутки езды, в Саратове Андрианов хотел пристроить Томку к госпиталю, а там уж она сама найдет – мужа, дом, защиту от войны. Сложнее обстояло с Люськой, ее тянуло в подворотни, ее манили парни с челкой и в низких хромовых сапожках, их не пугали ее недовыведенные наколки.

Курили в купе, дымили нещадно, приспустив окно. Открыли последнюю пачку «казбека», и Томка пошла менять тушенку на папиросы. Вернулась ни с чем, банку истратила неизвестно на что, сидела, затылком касаясь межкупсийной перегородки, закрыв глаза, на губах застыла мечтательная улыбка. Встала вдруг, затянула гимнастерку под ремень, подмигнула: «Ну, девки, берите пример!..» Варвара сонно смотрела на нее, Люська облизывала палец, побывавший в тушенке.

– Ну? – спросил Андрианов, когда Томка проскользнула в купе и вновь погрузилась в мечтания, закрыв глаза. – Что-то наклевывается?

Она вынырнула из мечтательного забытья, глянула на него всесело и твердо.

– Ваня, благослови: подцепила дурачка генерала. Берет меня с собой. Выходим с ним на следующей станции.

– С богом. – И радость в нем была, и ревность, и опасение. – Командировочное предписание отдай.

– Возьми.

Она судорожно как-то подергалась. Встала, глубоко вздохнула, двигая мышцами живота. Притронулась к грудям.

— Прощайте, девки. Люська, не воруй без толку. А тебе, деревня, отдаю свою долю, бери мешок. Тебя же, Иван, долго помнить буду.

А еще через две станции пропала Люська, пошла в туалет и больше не показалась, Андрианов хотел было поискать ее в поезде, но передумал: Люськина пилотка на столике, одеяльце ее на полке. Время шло, а Люська не появлялась. Андрианов разорвал предписание, теперь нет уже сопровождавших его медсестер, теперь он сам по себе, офицер, направляющийся в госпиталь с целью переосвидетельствования, выписка из медицинской книжки в кармане, на удостоверении личности поставлены печати, настоящие, к ним Калинниченко не прикладывал свои золотые руки.

Так Люська и не вернулась. В соседнем купе Андрианов попросил лист бумаги и написал на нем: «Товарищи офицеры, солдаты и сержанты! Отнеситесь бережно к нашей героической медсестре Вареньке, которая едет рожать. Для нее и ребенка мы собрали продукты. С фронтовым приветом! Воины Энской дивизии.»

— Вот тебе и пропуск, — дал он бумагу Варваре. — До деревни от станции далеко?

— Да почти рядом... Не подвезет кто — ножками дотопаю. Если вдруг ребеночка рожу, назову его Ваней. Спасибо вам, товарищ капитан, за все.

Попрощались. Она легко спрыгнула на землю, Андрианов подал ей мешки. Поезд тронулся. В купе хозяйствами два угрюмых майора, почесывались, позевывали, у них была водка и хлеб. Чтоб не прихватить вшей, Андрианов ушел в другое купе, потом заглянул в соседний вагон, хотелось в последний раз глянуть на Люську: в ее красоте было что-то заманивающее и пугающее, на нее всегда тянуло смотреть, чтоб отворачиваться.

Всю ночьостоял он у окна, смотря в бесконечную ночь и думая о майоре Висхоне, хвором человечке. Битый и перебитый, иссеченный войнами, он не умел жить без наката бревен над головой, без свиста металла, он порой уходил из жизни на полчаса, на минуты, забывал обо всем. Когда приходивший арестовать его Сундин ушел, зажимая в кулаке лимонку, майор дожевал мясо и спросил у Калинниченко: «А что случилось?» И тот вздохнул: «Плохой

человек приходил, Вася...» Только что видел и слышал, а забыл. Как и о столовой. И уж не знал, что потянул за собой вереницу людей, оказавшихся фальшивомонетчиками, ворами, проститутками, бунтовщиками, предателями, убийцами, но раз они есть, то не такими ли были они до Висхоня, и не значит ли это, что весь жизненный смак – от Висхоня, разрушителя искусственных миров?

В Саратове дождило, в киоске у парка продавали пиво, Андрианов выстоял очередь, а потом обнаружил, что денег у него нет. А были, рублей пятьсот. Он отодвинулся от оконца с кружками, отрицательно помотал головой, когда кто-то вызвался заплатить за него, и горестно вздохнул: Люська, ах Люська!

Как восемь лет назад выпущенный из Крестов, он был налегке, даже кусочка мыла не завалялось в кармане. Но ноги шли бодро, руки в такт шагам отмахивались резво, во всем теле – то набухание чувств, которое сулит радость на весь день. Комиссия, он вспомнил, собиралась раз в неделю, иногда и чаще, в зависимости от того, как на фронте шли дела. Сейчас разгар контрнаступления, потери громадные, офицеры нужны позарез, уже через несколько суток он получит направление в свою часть и еще до фронта повидает здесь, в Саратове, Калинниченко и Висхоня.

В приемном отделении кричал раненый, требуя врача и отпихивая унимавших его санитаров. Дебелая баба в синем халате вдруг заорала на него, и раненый позволил завалить себя на носилки. Унесли его. Дежурного врача отвлекали телефоны, очередь к нему не укорачивалась. Наконец Андрианов показал ему свои документы. Изучив их, врач озабоченно сказал, не поднимая глаз, что комиссия перегружена, палаты тоже, в коридорах спотыкаются о больных, но так или иначе дообследоваться надо, анализы опять же, а пока – предварительный осмотр, во-он в той комнате, пройдите туда...

Иван Федорович вошел в комнату, где никого не было. Потом заглянул дежурный врач: «Раздевайтесь, раздевайтесь же...» Он снял гимнастерку, приподнял было нательную рубаху – и на него набросились молодцы-санитары, заломили назад руки и подсечкой бросили на пол. «Попался, гад!»

Привезли его в Посконцы, на курсы, посадили на гауптвахту, допросы шли круглосуточно. Впервые Андрианов услышал зменошипящее слово СМЕРШ – уже три месяца

так называлась военная контрразведка, и всеми следователями в Посконцах командовал московский полковник из ГУКРа, главного управления контрразведки. Человек двадцать было в той особой группе, что навалилась на Андрианова. Расследовался военно-фашистский заговор на курсах младших лейтенантов и деятельность преступного формирования на базе окопавшихся агентов авбера – лже-майора Висхоня и лже-старшего лейтенанта Калинниченко. Попутно разрабатывались и другие версии, не вмешавшиеся в границах здравого смысла. «Немецкий десант» можно, конечно, объяснить недоразумением и плодом разгулявшихся слухов, но уж «покушение на товарища Сталина» попахивало идиотизмом. Семь дознавателей из разных дивизий привез в Посконцы заместитель военного прокурора бывшего округа, они и помахали перед носом Андрианова ворохом телефонограмм. Доносы и жалобы, отправленные в штаб округа, дальше узла связи не пошли, их посчитали намеренной дезинформацией, и только известия о якобы высаженном десанте образумили смерш Степного фронта, погнали его в Посконцы.

Вновь Иван Федорович оказался втянутым в кипение и бурление мира, сочиненного папками следственного дела. Бесполезно, понимал он, говорить правду, потому что следователи знали, как должен отвечать подследственный. Ни свидетелей, ни подозреваемых поблизости нет, предположил Андрианов, и не будет. Первая и Вторая роты пропали бесследно, так и не добравшись до передовых позиций. Третья таинственно сгинула, проследили ее путь от станции до станции, нашли подполковника из 293-й дивизии, а дальше – глухой мрак неведения. Оповестили все фронты западного направления, ходили по палатам всех госпиталей, но ни Висхоня, ни Калинниченко найти не удавалось. Андрианову показывали альбомы с бандитскими мордами, он отрицательно качал головой: нет, не видел, не встречал, не похож. Калинниченко? Да как-то столкнулись, поговорили о том о сем. Висхонь? А как же, три раза виделись, в кабинете Фалина – раз, перед зданием штаба, когда полковой комиссар приказал Висхоню навести порядок в столовой – это два, и у правления колхоза как-то – три.

Брать Андрианову помогали Посконцы, колхозники отказывались что-либо вспоминать, а то, что говорили, не соответствовало следовательским версиям. Ни о каких трех

женщинах и ни о какой парикмахерской они не слышали. А Лукерья, разрушая воздушные замки военюристов, упорно твердила о родственных связях с майором-диверсантом. Об особых Андреянова не спрашивали, как и о курсанте Николюкине, скользкую тему самоубийств следователи свели к невнятному упоминанию о «развале воинской дисциплины». «Немецкий десант» тоже похерили, все штабы оргызнулись, когда их стали опрашивать. Управление войск охраны тыла не хотело признаваться, что под носом его блуждал немецкий батальон. Поэтому все накопленные следствием эпизоды сузили, обкарнали и превратили в случайный обстрел курсов необученным минометным расчетом.

Но какую-то роль самому миномету они отводили, что-то вокруг него накручивали, под кого-то копали, и однажды Андреянову был предъявлен якобы найденный 82-миллиметровый миномет.

— Узнаешь?... Тот самый, что числился у тебя на складе. Который ты выдал курсантам.

Миномет был новеньkim, из партии, которая только что начинала поступать на вооружение. Отлученный от артиллерийского дела, Андреянов ревниво посматривал на новую, без его участия принимаемую технику, и когда бывал на станции, щупал новинки, расспрашивал. При одном взгляде на этот миномет он понял: нет, такого он раньше не видел. Ствол шершавый, чистовая обработка наружной поверхности отсутствует, миномет, для убыстрения выпуска, изготовлен по упрощенной технологии, что пошло ему на пользу: раннее гладкий ствол соскальзывал с плеча.

— Нет, такого на складе не было. И выдавать его я не мог.

Военюристы поорали на Андреянова, но от дурацкой затеи не отказались, и чем закончилось «минометное дело» тот так и не узнал.

Полковник из ГУКРа, редко бывавший на допросах, вдруг включился в них, заинтересованный показаниями официанток. Спросил, что это за история со стеной в столовой. Вольнонаемные посконские бабы наговорили полковнику о страстиах, возникших вокруг снесенной перегородки, деревенским умом своим связав новые порядки в столовой со слухами о заговоре против товарища Сталина, о немецких шпионах, якобы проникших на курсы. Более точные сведения могла бы дать Тося, но и она исчезла, последний раз видели ее на станции, цеплявшейся к како-

му-то эшелону, и куда ушел эшелон, к фронту или в глубокий сибирский тыл, никто не знал.

— Перегородка? — не сразу переспросил Андрианов. — Ведите меня в столовую, покажу...

Полковник посмотрел, послушал и потребовал рулетку. Расчертывал лист бумаги, долго вглядываясь в прямоугольнички, изображавшие столы, скамейки, офицерские столики. Все перемешал в уме, чтобы было из чего составлять миропорядок, подвластный смершу. На минуту вырвавшись из притяжения светил, определявших вращение следовательских миров, он сказал: — Расстрелять тебя надо, капитан...

Опомнился, оседлал орбиту и произнес: — А кто присутствовал при вскрытии тайника, находящегося в перегородке?

А ведь казался наименее чумным, проявляя временами здравомыслие.

Роту связи прислали на курсы, чтобы обслуживать ораву. Проводные линии связи что-нибудь свеженькое подавали к утру, питая следователей, крохи доставались и Андрианову. «Мы тебе сюрпризик подготовили», — сказал как-то полковник, войдя в камеру.

Они добрались до женщин, до мужского счастья Ивана Федоровича.

Варвару нашли убитой в километре от своей деревни, с документами на имя Варвары Ильиничны Антоновой, хотя она в сельсоветских книгах была записана Дрыгиной. Достоверность красноармейской книжки подвергли сомнению, о том, что еще нашли при убитой, следователи не говорили, и, значит, помрут теперь без еды сестры ее и братья. Надо было сойти с поезда и проводить ее до дома, надо было! На три вешишка и узел в голод польстится каждый!

Ни Люську, ни Томку пока не обнаружили. Андрианов со страхом догадывался, что дела его плохи, раз следователи оглашают при нем факты розыска. В его молчании они уверены, то есть набрали достаточно обвинений, чтобы в законном судебном заседании приговорить его к расстрелу.

Ему давали газеты, но он их не читал. Он вспоминал жизнь свою и находил ее разумной, потому что не поддался сумасшествию на курсах. А то, что все три роты и сорок офицеров безумны, понял он здесь, в камере, и безумство охватило людей в тот миг, когда майор Висхонь снес перегородку в столовой. Они должны быть, эти разделяющие людей стены, они позволяют им жить в своих крохотных

мирах, люди свободны потому, что у каждого — камера.

Со сладостной тоской вспоминал он трех женщин, которых полюбил, которые и его полюбили, и взаимная любовь сделала четырех человек счастливыми. Если Андрианов, к примеру, брал за руку Томку и вел ее в шалашик, то Варвара и Люська провожали их добрыми словами, радуясь тому, что сейчас их подруге Тамаре и их брату Ванечке будет хорошо.

Иван Федорович пришел к твердому убеждению, что роты перестреляли бы себя и офицеров, не появись в Посконцах эти три добрые женщины. И его тоже уведут они из-под расстрела, хоть и страшат им следователи Андрианова на каждом допросе.

Был день, когда сам Иван Федорович захотел смерти. Он узнал в этот день о гибели Висхоня и Калинниченко.

Они были убиты в Горьком, при задержании в переулке у госпиталя. Опергруппа остановила их, Калинниченко безропотно отдал документы и оружие, не протестовал, когда группа скрутила его, но вдруг Висхонь бросился ему на помощь, разбросал оперативников, и тогда в ход пошли автоматы, в группе стажировался малоопытный офицер, он и открыл первым огонь.

Гибель их потрясла Андрианова. Он решил, что даже если его и оставят в живых, то в первом же бою на передовой он пойдет искать свою пулю.

Однажды под вечер привезли Люську. На голове — уродливая шляпка, рукав голубенькой блузки надорван, губа разбита, кончиком языка Люська слизывала кровь с нее. В четырех стенах ли сидела она, шла ли в открытом поле, но при ней всегда становилось темнее: таким сгущенным казался туман таинственности, не сдуваемый с Люськи никакими ветрами. Полковник из ГУКРа невольно глянул на ногти свои, пальцем коснулся щеки, проверяя, хорошо ли побрит.

— Гражданка Левчина, знаком ли вам человек, сидящий напротив?

Люська не могла ни врать, ни говорить правду. Она всегда сочиняла.

— Еще как! — подтвердила она, даже не глянув на Андрианова, — Ужас как напугал! В поезде ехала, а он подходит во-от с таким пистолетом! Снимай штаны, говорит, Машка — это мне, так какая ж я Машка, я Люда

Кушнир, санинструктор 18-го полка. И пистолет на меня наставил. Снимай, говорит, штаны, я — полковник Дубровский, я вывел дивизию из окружения под Смоленском, я...

Увели ее, а потом и увезли. Оставалась неарестованной Томка, «младший сержант Гайворонская», но ее-то уж точно не найдут, а со смертью Висхоня и Калинниченко у следователей рухнули все надежды на громкое дело. Уже начала отшлифовываться формулировка: «Следствие прекратить из-за гибели свидетелей неустановленного заговора». Но дознаватели семи дивизий на фронт не рвались, контрразведчики тоже, и нельзя с пустыми руками покидать Посконцы, тогда и уцепилась особая группа за Смоленск. Люська все-таки спасла Ивана Федоровича. Не ляпни она про окружение, дивизию и Смоленск, Андрианову светил бы расстрел или штрафбат с низеньким порогом выживаемости.

О Смоленске он сказал Люське, когда любил ее в шалашике, Люська, оказывается, была родом из тех смоленских мест, где бывал он в сентябре 41-го года. Тогда на прорыв из окружения пошла сводная воинская единица, жалкие остатки трех дивизий, что-то около батальона. Перед атакой собирались над картой, в лесу, соображали, куда лучше ударить, чтоб прорваться, и кому командовать. Генерал и два полковника от обсуждения уклонились, ушли в тень, буквально ушли, потихонечку отдалились от карты и сидели в тени густо растущих елей. Повел батальон Андрианов, двое суток звали его командиром дивизии, за что его потом допрашивали.

Объединенная компания военюристов, смершевцев и политработников (эти обеляли Шеболдаева) обзвонила и обтелефрафировала все отделы и управления кадров, запросила Москву и установила — с поразившей Ивана Федоровича радостью, — что в ноябре прошлого года старшего лейтенанта Андрианова И.Ф. наградили орденом Ленина за бои под Смоленском. С налетом изdevки военюристы поздравляли Ивана Федоровича и похахатывали: «Надо ж!... Витязь! Герой обороны Смоленска! Орден Ленина!.. До войны как звучало: о р д е н о с е ц...» Заточенного в камсеру комбата и капитана следователи награждали дурашливыми прозвищами, перед ним расшаркивались, угодливо спрашивали, не он ли окружал Паулюса под Сталинградом. И дергали Москву грозными вопросами: кто подписывал наградной лист на Андрианова, кто представлял к ордену.

Обнаружилось вдруг, что Ивана Федоровича ищет еще один орден. «Эх, почему ты не герой Советского Союза?..» — вырвалось у полковника.

Иван Федорович метался по камере, не зная, что предположить.

Как-то ночью проснулся и вспомнил Кресты, соседа по нарам, тихого и скромного артиста Ивановского драмтеатра. Никакими заслугами не был артист отмечен, незаметный служитель искусств, на сцене появлялся в эпизодических ролях, талантливый, но чем-то полезный, иначе Ленинград не переманил бы его к себе. Однажды вернулся он с допроса в сильном смущении, его, оказывается, следователи стали называть заслуженным артистом, выдающимся деятелем советского театра. Ивану Федоровичу разные мысли приходили по этому поводу, он в Крестах подумывал даже о том, что следователь пытается спасти незащищенного никакими титулами человека.

Догадался здесь, в камере. Есть же только два способа утверждаться в собственной значимости: либо врагов своих развенчивать до абсолютной никчемности, либо возвеличивать их, укрупнять, возвышать, дотягивать до героев. Ну, что лично для себя извлекли бы следователи Крестов из расстрела актера с амплуа «кушать подано»? Не упоминаемого в афишах? Мелко, скучно, и принижает того, кто вершит жизнями. Зато как упоительно определять на смерть людей заслуженных и почитаемых! И эти, нынешние следователи, кто они? Обычная энкавэдэшная мелюзга, так ни одного шпиона и не поймавшая, всех дел-то у них — самострельщики и дезертиры. А паек — по пятой авиационной норме, а орденами обвешаны, а власть грандиозная. На памяти Ивана Федоровича был случай. При нем в штабной землянке один начальник орал на особыста: «А ты куда смотрел? Ты что, забыл, кто командует полком?.. Ты командуешь, ты!»

В эту ночь Иван Федорович, просветленный догадкой, мысленно простился со всеми женщинами Земли. Он был готов к смерти.

А утром все вдруг изменилось. Полковник сам открыл дверь камеры, за спиной его — перекошенные в страхе физиономии особыстов, политработников, военюристов.

— Быстрей! В Москву!

Когда Андрианов (сердце пело и плакало) спросил, надо

ли ему засажать в госпиталь, ответили хором — мы, мол, тебя сами сейчас переосвидетельствуем, ты у нас побегаешь по полосе препятствий!

Все злыс, возмущенные... Дали ему сопровождающего, и тот повез его в столицу. Там-то Андрианов и узнал, что запросы следователей разворостили старое, вроде уже давно забытое дело, и с самого верха пришло указание, как надо оценивать эпизод с прорывом из окружения, кого наказать, а кого вознести. Одних убирали, других выдвигали, тут-то и вспомнили о человеке, который вывел из вяземского котла остатки трех дивизий.

В госпитале Бурденко Ивана Федоровича признали годным к строевой службе, в Кремле вручили два ордена. Жил он в гостинице «Москва», было в ней много офицеров, генералов и красивых женщин. Андрианову все казалось: вот сейчас мелькнет Томка.

Посконцы снились каждую ночь. Просыпаясь, Иван Федорович спрашивал себя: кто виноват? Его окружали в гостинице здоровые и неголодные люди, бунт на курсах уже не представлялся дурной болезнью толпы, а приобретал очертания исторического деяния.

В соседнем номере проживала бывшая партизанка. В придачу к медали ей сунули два билета в Большой театр, и она пригласила Ивана Федоровича разделить с нею награду. От этой женщины пахло свежим постельным бельем и духами «Сирень».

Жизнь продолжалась, несмотря на разные курсы, кремли, смерши, ордена, театры и окопы.

Решив не искушать судьбу, он попросился в самое безопасное для себя место, на передовую.

1992

НАБЛЮДАТЕЛЬ

* * *

Гурахчон, Кибадул, Сагалык!
У рептилий припухлые веки.
То раздвоенный мыслил язык,
называя озера и реки.

И твердеет на них желтизна,
верещит и стучит, как трещотка.
А потом выползает со дна,
припадающей движась походкой.

Ну, амбец тебе. Следом – гора
наступает хребтами своими.
И цветные горят веера.
Вынь Су Хим! Повтори это имя.

1992

* * *

«Подводная лодка в степях Украины» –
я помню угрюмый фильмец.
Под тучною почвою сдохла машина.
Сеансу приходит конец.

И в штреке заброшенном, дальнем, которых
немало пробила винтом,

Игорь
ТАРАСЕВИЧ

– родился в 1951 году в Москве. Окончил МИИТ и Литературный институт. Автор трех книг стихов и трех книг прозы.

затихла подлодка, и рядом шахтеры
тихонько уселись гуртом.

- Бастуем, ребята?
- Бастуем... —неслитно
сквозь катанный лист говорят.
- Поднимем, ребята, наш жовто-блакитный,
наш старый андреевский плат!

Прибой набегает. Туманные шхеры
уснули в широкой степи.
С трибуны вещают какие-то херы,
но ты уж, пожалуй, не спи.

1992

* * *

Калигула, люблю тебя, сынок.
Мы — третий Рим: ни Запад, ни Восток.

Мы — мужичок с дурацкою судьбой:
любить — одну, а думать — о другой.

Ведь, как известно, свыше нам дана
одна любовь, привычка и страна.

Но встать нельзя, пока не снят запрет.
Уже вода слита. Уже погашен свет.

1992

НАБЛЮДАТЕЛЬ

Недвижимо лето. Сухая стерня
горит, и прожарены грядки.
И слепни, кружящие возле меня,
кровавой желают посадки.

А там – самолетик висит на оси,
летающей нечисти пара.
Жужжит он, блестит, выпускает шасси,
совсем не боится пожара.

А я, потому что не в силах поднять
зенитку, рогатку, базуку,
маток процедить и с оттяжкою вдать
по этому злобному звуку,

невидим, неслышим, незнаем сейчас
в потоке колючего звона,
и кажется мне, что еще – косоглаз,
как партизаненок Сайгона.

Вот если бы сметь
поджигать и стрелять,
взлетая по собственной воле,
я мог бы, наверное, ангелом стать
и пасть, словно солнце на поле.

1992

* * *

Настрёвающий звук водотока,
твёрдь глухая – черна и пуста,
маслянистая руки осока,
да решётчатый профиль моста.

Лечь на рельсы у пропасти тяжкой!
Половчей не пристроюсь никак.
Раскроит, как буденновской шашкой,
и на оси навьет товарняк.

Уж не вы ли проедете мимо
за стеклом, под защитою дня?
Эта ночь и для вас недвижима.
Ой, умру, не смешите меня.

1991

* * *

А в подворотне – свет, изъятый
у темноты и немоты.
И Блок обходит виновато
красногвардейские посты.

Ему матросик рапортует.
Ложатся отсветы на снег
и отправляют в ночь пустую
наряд – двенадцать человек.

В соседнем доме окна – рыжи.
Казан да ссохшиеся лыжи
висят на стенке кровяной.

И, отстранившись от всех политик,
там ангел, словно сифилитик,
храпит, преступный и больной.

1991

* * *

Я люблю вас со злобой и страхом,
как детдомовец – сжав кулаки.
Разодрать бы себя, как рубаху,
то-то ночи мне станут легки!

Ворожить: пожалейте сиротку
хоть последним из ваших парней?
Иль со школьной доверчивой фотки
оживить вас страстней и верней?

Да вы знаете в вашем Париже,
что я порчу навел на года,
и уж так, как я вас ненавижу,
вас не будут любить никогда?

1991

* * *

Тюбинги бурые, танк нефтяной,
лед промазученный передо мной.

Радость! Больная весенняя ширь!
Стройка беспечная! Вечный пустырь!

Штабель в снегу. Отражается взгляд.
Рельсы блестящие. Щеки горят.

Щелкает ветер под свежей стеной
волчьим флагком у траншеи сквозной.

1989

ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО

Посреди Советского Союза
снеговая ширь и пустота.
Синим льдом давящиеся шлюзы
юшку выпускают изо рта.

И в поля – отсюда и до Бога –
бесконечно, как теченье дня,
словно бы железная дорога,
ледяная тянется лыжня.

Что ж ты, лыжник, смотришь исподлобья?
Здесь не утопить и не убить.
Со своим пугающим подобьем
лучше божий страх
перекурить.

Над причальной кромкою продутой
возведут, как девушку с веслом,
нашей встречи тяжкие минуты,
зимний день, валящийся на слом,

и меня, ломающего спички,
и тебя, верхом на ветерке

под железный хохот электрички
въехавшего с палками в руке.

1989

ВАРИАЦИИ СОБИРАТЕЛЮ БУТЫЛОК

Всю ночь от бешеной коровки
везли цистерны молока.
Маршировали пол-литровки,
как новобранцы, в облака.

И так же, полные старанья,
уже вне грязи и пыли
к победе самовозгоранья
той кровью малою пришли.

Теперь шагнешь – под каждым шагом
хрустит горячее стекло.
Нести осколки на бумагу,
чтоб даром руки обожгло?

Напрасно рыщешь по помойкам,
что крыса бурая, собрат.
Ведь победившее – нестойко.
А я ни в чем не виноват.

1988

* * *

Вы зачем живете на востоке?
Чтобы ночку первыми начать?
Солнце всходит, утверждая сроки,
как большая круглая печать.

Вот поля готовые подмыты,
вот заводы начали пыхтеть,
вот, как сперма, спущены лимиты –
надо только очень захотеть.

До чего же логика глухая!
Золотое, первое, у вас
солнце всходит, первым затухая
здесь, у вас, уже – в последний раз.

1988

* * *

Сова Афин, крылатый конь Коринфа!*
Я требую ввести в летучий строй
и рыбий глаз, бесцветный, словно лимфа,
и ломаные ящики горой.

Овеществленье длительных привычек
само – кричит, как явный самострел.
Прибью над дверью византийских птичек,
чтоб Никсон их с орбиты рассмотрел.

Он там летает, на Луну сажает
с мифическим названьем корабли.
Пусть, как Аттила, знаки прочитает
в земной грязи, в космической пыли!

1987

BKK**

Неизвестно, как будет в бою.
Чтобы легче душа отлетела,
летчик летную форму свою
надевает на голое тело.

Я примерил – сдавило в паху.
Тяжко с горним полетом знакомство.
Я не знаю, что там, наверху,
но за что же лишают потомства?

древнейшие в истории гербы городов
высотно-компенсирующий костюм

Ладно, парни, прикроем страну,
если к небу такая охота.
— Эй, ведите меня, не шагну!
А детей нарожает пехота.

Эта шкура ко мне приросла.
Сердце бьется в ушных перепонках.
Сквозь оскал броневого стекла,
не кончаясь, уходит бетонка.

1987

МАРТ

Стучи колотушкой, стучи — по железу железом,
давай, выбивай достославную песню труду.
Над скважиной гулкой, над свежим разрезом по срезу
окалину сбей, как последнюю искру-звезду.

Вернулась зима, и шлеи поползли по траншею.
А снова подтает — в коллекторе встанет вода.
Но может заметят хотя бы с кометы Галлея
и красную каску, и выжженный прочерк следа?

А как нелегко ошиваться настраввшему звуку
меж спутников связи и путь уступать кораблям,
последнюю искру искать, как последнюю суху,
в небесном просторе, где стрелки летят по нулям!

Да знаешь ли ты, в кирзачах и под тельником потным,
подставивший спину тебя предающей весне,
что звук и звезда, уподобясь фантомам бесплотным,
летят в тишине с гулевою звездой наравне?

1986

Так-то сдается под ключ помещенье жилое?
Гулкис крики летят на этаж
с этажа.

Как хорошо
по еще не просохшим обоям
шрам провести, чтобы волны пошли от ножа!

Сдерну поклейку и, пачкая плешь купоросом,
снова поклею и вновь потолки побелю.
Перекрою, уничтожу приметы хаоса,
так исцелю, потому что я строить люблю.

Нет, я не верю, не верю, строитель заклятый,
что ты потрафишь и выдашь текстуру и цвет.
Переиначу я, перепострою, ребята,
перепокрашу и перециклию паркет.

Голой рукой разбивал я дюймовые доски.
Нынче пол силы осталось. Терпеть ли? Блажить?
Ключ получить. Расписаться. Войти с папирской.
Выжить. Прожить.

1986

В нашем овраге – заводик резины.
Льют ее, черную тянут струну.
Вдоль по Черкизовской ходят машины,
так-то мешают нормальному сну!

Выскочишь утром с собакой – устанет
за две минуты прогулки рука:
рвется собака и тянет, и тянет
свой сыромнатый ремень поводка.

Зябко! Округа еще не прогрета.
Медленно красное солнце встает.
И под напором холодного света
медленно тянет резину завод.

Нас не опутать резиной вчерашней!
Сроют заводик, засыпят овраг.
Скоро здесь вырастут новые башни,
негде выгуливать будет собак.

Да! Нам придется с тобой потесниться,
больше тянуть невозможно никак.
Ну, не рычи. Эти хмурые лица –
лица строителей. Это – не враг.

1985

Грузовик модели «АМО»,
допотопный грузовик,
по колдобинам упрямо
ковыляет напрямик.

Что металла в нем? Наверно,
и не сдать в металлолом –
под кабиной фанерной,
под коленчатым крылом.

Оттого-то, потому-то,
что не нужен никому,
все идет он по маршруту
в громыхающую тьму.

Сколько той дороге длиться,
нынче, право, невдомек.
За рулем отец – в петлицах.
И грозит:
– Ужо, сынок!

1984

Десятиклассница – весну,
а подполковник ждет войну.

Ес мозги – сплошное тело,
и брать готово, и давать.
А он – желает делать дело,
а не бумажки подшивать.

Военный хочет воевать.

Одна звонит из автомата,
напрасно дергает жену,
другой – из райвоенкомата
напоминает про войну.

Ну, эта, может, начиталась,
накушалась – за томом том.
А этот что же? Примечталась
папаха с голубым крестом?

И оба литеры до рая
готовят мне нашармака.
И оба руки потирают.
Ну, ждите, ждите Игорька.

1983

ЛЕТО

Я вышел заполночь. Прогулка перед сном –
почти что лунатизм, дурацкая манера.
Но что поделаешь, когда наскучил дом,
а тополя играют: для примера,
там, в глубине, в листве...
Хорошенькие шутки
затеяют свет и тень,
когда впустую ими прожит день,
и ночью ты выходишь на минутку
вдохнуть сырой прохлады... Света нет.
Ни фонаря на темном гребне года,
и светофор под черным небосводом
один мигает желтым глазом – свет
на вывернутых листьях, и свобода,

и тишина под ветром. Никого,
чтоб ощущать простор, как вещество.
А чувство жизни ночью так огромно,
что сам уже не веришь, что живешь.
И радость душит, и колотит дрожь,
и дрожь, как жизнь – что с ней ни делай–
неуемна.
Весь мир стал шире.
Ветер дует в мире.
Как далеко до края мостовой!
И я иду Москвой.
И, словно карты, открывает лето
значенье этой улицы прогретой.
О, неизбежность!... Это счастье тоже –
смотреть в глаза тебя скрутившей дрожи,
в невидимую силу пустоты,
и сознавать, что все гуляешь ты...
В ночи шаги разъяты: вот каблук
ступил – асфальт спружинил. Вот ступня
всей тяжестью ударила об землю. Вот носок
толкнулся – я иду.
Под тополями улица открыта
до светофора, словно до зенита.
И понимаешь – шагу не свернуть.
А башни ТЭЦ беззвучный сеют пар
вдали, и твердые ладони
его собрали в складках кожи. Все!

1983

КОПЕР

С каждым утром, что рать неживая,
перед лесом, молчащим вдали,
ряд за рядом бетонные сваи,
словно зубы, растут из земли.

И ударом – умноженным, ярым –
воздух полон уже через край.
И – дымками, и синим соляром,
и железом, поюющим враздрай.

Неужели же нет интересу?
Погляди: с незапамятных пор
от порога до самого леса
злое дыхало тянет копер.

Что ж ты смотришь темно и покорно,
словно ждешь продолжения сна?
Всходят, всходят бетонные зерна!
Вырастают дома из зерна.

А копер все гудит и хлопочет
у разверстой земли на груди.
Подойди, погляди же... Не хочешь?
Ну, не бойся его, погляди.

1982

* * *

Налево ли, направо
за дальний окоем
с молодочкой вертлявой
по морю поплырем.

Они почти незримы,
линкоры из брони.
Все проплывают мимо,
а выстрелить — ни-ни.

Парады помнят шканцы
в эскадрах и флотах,
а мы устроим танцы
на банках* и бортах.

Раскачивая лодку,
пущу ее ко дну.
Вертлявую молодку
с собою утяну.

* Название скамьи в лодке

Прижму ее, как мину,
к линкору-кораблю.
Шепну ей, не премину,
что я ее люблю.

Из черной бездны моря
привет мы вам пошлем:
— На солнечном просторе
семь футов под килем!

1980

У ТРОЯНСКОЙ ДОРОГИ

1. Мне не забыть тот давний день...

Солнечный свет падал на стену. Стена была небеленой, ее лепили из самана мать и бабушка. Оттиски ладоней остались. Соломинки, освещенные солнцем, кажутся золотыми. Я пробую их на вкус. Чувствую пресную сухость во рту, но через мгновенье замечаю и солоноватость. Чудо! Соломинки пролежали в глине, а соль свою сохранили. Мне хочется отыскать такую же соль и в траве. Я уже помню множество вкусовых оттенков. Вкус застывшего сока на стволе вишни, молодой кукурузы, тыквенных семячек, еще сырвато-сладких, разложенных матерью на дощечке во дворе, вкус молодой айвы, запеченной в духовке: кожица лопалась, тягучий сок тек по польцам; вкус цветущей акации. Белый цвет; ветви кажутся обсыпанными снегом, нужно взобраться по черствому стволу, дотянуться рукой, царапая кожу о колючки на ветках, и сорвать бутон. В чашечках нектар, мед с горчинкой. Нужно только прихлопнуть бутон ладонью — нектаром любят лакомиться муравьи. От хлопка они выскакивают из потайных чашечек. Нет, нет, сладость нектара акации лучше привкуса соли в соломинках. Что-то похожее есть в укропе, в сельдерее, в листьях саженцев помидоров. Я нагибаюсь, мне хочется отыскать в земле похожий привкус. Но закатное солнце глядит на меня. Оно похоже на арбузную скибку без семечек. Надо схватить эту скибку и спрятать за пазуху, или, нет, отломить самый краюшек и подержать во рту. Надо скорее бежать, пока оно не зашло за Дунай. Скорее, скорее, огородами, мимо сосед-

**Илья
МИТРОФАНОВ** — родился в 1948 году в г. Килия (Бессарабия).
Окончил Литературный институт. Автор книг
«Забытая дорога» (1989), «Свои люди» (1982),
«За синими деревьями» (1982).

ских хат. Сердце стучит в голове — красная скибка все дальше и дальше. Я не успею ее схватить. Сейчас она скроется за деревьями. Я оборачиваюсь — соседские хаты глядят мне вслед. В окошках пожар, и никто не тушит. Это солнце в окошках горит, оставило память, а само скрылось. Розово-алая скибка, сладкая, сладкая. Надо еще побежать.

Берег Дуная рядом. Молодой камыш — сладко-вязкий. Чуть правее дорога. Ее называют Троянской, а наш поселок — Трояны. На обочине лопухи, клейкая кашка, калачики. Я поднимаюсь выше. Сажусь на землю, оборачиваюсь. Трояны внизу. Окошки в домах не горят, пожар никто не заметил. Он потух сам по себе. Камыш на крышах серый. Чуть дальше за хатами еще хаты — село Карагмет. Маковка церкви плывет над деревьями, и виден Дунай. От него пахнет мокрыми простынями, а с виду — горячий. Дунай мимо течет, в море. Но моря не видно с Троянской дороги, даже если на цыпочки встать. Зато рядом зеленый островок, затененный камышом и старыми вербами. Ветром опахивает с Дунаем. Сердце мое замирает. Душистая волна окатывает меня. Становится жутко и кажется, что я заблудился в самом себе. Запахи на островке очень сильные. Я не могу различить их по отдельности. Надо сюда приходить каждый день, чтобы привыкнуть. Надо научиться различать.

2. Наше тело и душа

Я возвратился домой. Мне хотелось с кем-нибудь поделиться своими новыми ощущениями. Но я не знал, не умел объяснить словами то, что чувствовал.

Во дворе пахло хмызом*. Мать с моими братьями Аксентием и Филаретом сидели за маленьким столиком под шелковицей.

— Ты ж где ходишь? — спросила мать. — Садись, будемвечерять.

Старший мой брат Аксентий, подмигнул мне, усмехнулся:

— Он уже повечерял! Глянь, мам, рот зеленый.

— Ладно, ладно, — взяла меня под защиту мать. — Садись,

* Хмыз — сухая виноградная лоза.

Оня... Где был? На дорогу ходил?

— Ходил. Там мята с горчицей! Сперва одна горчица! А потом — мята с горчицей!

— Ух ты-ы! Что ж не нарвал? — спросил Филарет. — Нарвал бы с пучок на чай батрине*.

— Годя вам над дитенком смеяца! — вступилась бабушка. Она вышла из кухни, неся на вытянутых руках казанчик с мамалыгой. Мать вывалила ее на рушник. Круглая, еще не обветренная, мамалыга была похожа на огромный яичный желток. Она жила, дышала сытым парком. Мать взглянула на бабушку.

— Режьте, мама!

Бабушка достала из карманчика вязанной кофты шелковую нитку, разрезала мамалыгу пополам, потом еще раз, на дольки. Они получились ровными, хоть взвешивай. Бабушке самой нравилось делить мамалыгу. Она была рада, что дольки ровные, и никому не будет обидно. Нитку она смотала на щепочку, присела за столик, вздохнула:

— Ешьте. Мамалыга — попуша** — наше тело и душа.

Я смотрел на рушник и не мог понять, где у мамалыги душа. Руки у братьев были на еду скорые — дольки свои они расхватали быстро. Но бабушка строго следила, чтоб всем было поровну. Она подсунула мне мой кусок:

— Не спи, Онька! А то без куска в жизни останисся...

— Он на траве проживет! — усмехнулся Аксентий.

— Годя вам! Языки сильно длинные! — Бабушка встала из-за стола и строго поглядела не на братьев, а на меня.

Я боялся бабушку. Я чувствовал ее постоянный надзор за своей душой. На братьев бабушкина строгость силы большой не имела. Братья были люди самостоятельные. Кизяки на гармане*** курили. Аксентий и в открытую баловался. Однажды бабушка назвала его табачником, антихристовым семенем, но получила отпор.

— Иди в свою Николаевку! — сказал Аксентий. — Там и командовой!

— И как не стыдно? Как ты можешь так говорить? — мать поглядела на бабушку, ожидая от нее подтверждения досады на сыновей. Но бабушка не сказала ни слова. С братьями

* Батрина — бабушка (молд.).

** Попуша — кукуруза (иск. молд.).

*** Гарман — огород (местн.).

она больше не связывалась, поняла, что в их души уже не достучаться. А в мою еще можно, моя толстой кожей не обросла. Мою душу еще можно мять по воле своей и хотению. И бабушка мяла, давила покрепче тяски*. Постоянно, везде, в любой час, я чувствовал на себе ее стерегущие глаза. Голос ее находил меня всюду, где бы я ни был. «Ванька! Ты где? Ванька! Иди суды! Ванька, куда подался?»

Я прибегал на зов, выполнял все поручения по хозяйству, а иногда прятался за хатой в надежде, что здесь бабушка меня не найдет. Здесь я сам себе господин. Здесь, за хатой, все мое. И солнце, похожее на арбузную скибку, и соломинки на стене, и камышовый плетень мой. Там тепло в камыше, если руку засунуть. Все я здесь вижу, все здесь мое. Вот выполз из своего закутка красный жучок-солдатик. Один-одинешенек без войска. Может, он на разведку вышел, а может, его прогнали свои же солдаты. А вот муравей побежал, вверх по стволу камышинки. Где его дом? Там, в глубине плетня, там и семья его проживает. Муравей им добычу несет — крыльшко божьей коровки. Он спешит. Скоро вечер: закатная тень ложится прохладным крылом на стену, траву на земле, становится тихо и сонно. И вдруг, громом с неба:

— Ванька, вставай! Ты что тут сидишь? Что задумался? Не смей! Задумываться не смей. Низя задумываться. Низяя! Что морду скривил? Не смей плакать! Слезы сховай! Крепким будь... Кому сказала: не смей. А ну, глянь на меня! Обратно траву ел? А штаны? На что они стали похожи? Ой, господи- господи... В кого ты такой? Тятькин сын называется! Идем, идем... — И тянула меня ко двору. Рука у нее была крепкая, не вырваться, не убежать. Я шел за ней следом.

— Не смей! — громко гремел ее голос. — Плакать не смей! Тятька таким как ты не был. Тятька бедовым был...

3. «Тяжелые» леи

Каким мой отец был на самом деле — я не знаю. Братья мои Аксентий и Филарет помнят его, а я даже не видел в лицо. В доме нет ни одной фотографии отца. И когда я

* Тяска — пресс для отжима винограда.

спрашивал у матери, какой он был с виду, она глядела на братьев, потом на меня и отвечала:

— А какой? Простой... Брови, как у Ксентия. Только лицом чуть белее. А глаза, как у тебя.

Мне было приятно, что хоть глаза у меня отцовские. Хотя сейчас внешнее сходство мне кажется не таким важным делом. Сейчас мне было бы легче на сердце, если бы и отец мой был виноделом. Но к виноградной лозе, как мать вспоминала, отец был безразличен. Он говорил: «Лоза — это природа. Она от человека не зависит. А ты мне такую работу дай, чтоб я ее сделал своими руками...» Отец мой был плотником. Работал всю жизнь по людям, строил дома. А свой дом поставить денег не заработал.

«Жили мы, сынок, — мать вспоминала, — как в той поговорке. Не каждый день было, что водой запивать. Я, иной раз, рассерчала: «Что ж это, Аким, за работа у тебя такая? Струмент носишь тяжелый, а леи* легкие платют...» А он мне в ответ: «Это тут они легкие. А за Дунаем потяжельче трошки...» Все он думку в себе имел на тот бок поехать за «тяжелыми» леями. Я не хотела его отпускать. Ты, говорю, там валашку себе найдешь. Куда я с двумя детьми денусь? А уже и тебя под сердцем носила. Сильно переживала. А ему что? Он шутил: «Хоть с десяток их рядом поставь, а лучше тебя не будет...» Как же так, думаю? Как не будет? До примаря** нашего приезжала дочка с Констанци. С зонтиком, и платье на ней цветастое. Куда мне равняться? Не хотела его отпускать. А он уперся — поеду и все! «Ничего, — говорил. — Поднатужимся трошки. Нужду прищемим и клин забьем...»

Собрался. Взял две рубахи. Постолы надел новые. Шляпу надел. Пилу с топором за спину. Не отговоришь. «Я провожу тебя, Аким!» — ему говорю. Он отговаривать начал. Я тоже характер ему показала: «Провожу! Что, не хочешь? Стыдно, что я в положении?» А он на меня посмотрел. «Ты что, Мария? Чего мне стыдно? Разве не мой дитенок в тебе? Хрестись... Мне тебя жалко... Заморисся пеши итить. Близкий свет...» А я на своем стою: «Ниче, — говорю. — Не заморюсь».

Пошли мы. Идти было и правда — не близкий свет. По

* Лея — румынская денежная единица.

** Примар — глава сельской управы.

трянской дороге, повздорь Дуная, аж до порта Рени. Там был мост на тот бок, в Румынию. Своими ногами шли. А где на повозке ехали. Люди видели, что я в положении, случая не было, чтоб подвезти отказались.»

Много народа собралось к тому мосту, за «тяжелыми» леями. Из Карагмета, и из поселка Салман, из Тучкова, Липавны – все кучками, каждый возле своих: болгары с болгарами, хохлы с хохлами, а как на мост стали – все меж собой смешались. Одна я осталась, и те, кто своих провожал, остались. Глядела ему вслед, думала шляпу его с виду не потерять. И голос дяди Гициной скрипки слушала. Он с дядей Гицей шел рядышком. С него все смеялись, с дяди Гицы: «Что, Гица? Куда ты идешь? На том боку своих скрипачей девать некуда...» А Гица в ответ: «Ниче! Я им как вжарю бессарабскую нашу. Как песня – сто лей в шляпу!»

Всю дорогу играл. Где остановимся передохнуть, он скрипку на плечо и с притопом, свою любимую:

- Эй, жена, подай мне вилы!
- Муженек мой, нету силы!
- Эй, жена, лоза поспела!
- Муженек, я заболела!
- Эй, жена, вино готово!
- Милый мой, и я здорова!

Играет, смеется, и людям радостно было. А когда по мосту пошли, стал у перил, оглянулся, другую запел-заиграл:

Яблони листок зеленый!
Захлебнись слезой соленоей!
Где мне хлеба раздобыть?
Чем ребят своих кормить?

Жалостно пел, душу выматывал. Я голову вверх – где тятина шляпа? Не вижу. Гица громче запел-заиграл – не слышу, слезы бегут. Хоть бы он оглянулся, крикнул что. Слово одно...

Нет, ничего он не крикнул. А крикнул бы, разве услышишь? Много народа шло по мосту.»

4. Расправа

Материнский рассказ об отце сросся с моим сознанием так крепко, что стал жить в моем сердце самой главной и кровной ягодкой. И мне кажется иной раз, что я сам ухожу

по троянской дороге в тот давний и жаркий день. И вижу Дунай. Вижу старые ивы у берега, и теплую пыль на дороге, долгой дороге, от наших Троян до Рени, до моста в «Романе марэ»*. Вот и Гица идет рядом со мной. Он смеется, поет, и летит над Дунаем знакомая с детства песня:

— Эй, жена, подай мне вилы!

— Муженек мой, нету силы...

Отец подпевает, подмигивает мне из-под шляпы, шагает быстро, перекладывая котомку с инструментом с плеча на плечо. Ноги его в новеньких постолах пританцовывают. Он улыбается матери. Она рядом идет. Я слышу ее дыхание, слышу жаркий стук сердца — я все слышу, я живу в ней. Я уже есть на свете. Вот отец обернулся, погладил ее волосы, сказал, словно оправдываясь за всех покорных, трудолюбивых, забитых и замороченных жизнью болгар, русских, молдаван-бессарабцев, разбросанных по чужим землям. «Мария! Не плачь, Мария... Вернусь я... Нужду прищемим...»

Слышу я отцовский голос. Мне становится больно, больно там, под сердцем у матери. Я вскрикиваю, шепчу бессловесно, сознанием нерожденным шепчу: «Нет! Нет! Он не вернется. Не сможет вернуться. Останется там, в чужом городе Галац. И болгары комратские там останутся, и русские из Касьяновки, и украинцы из Тарасовки. Все, все сейчас там, на веки вечные, без прощенья и покаянья...»**

5. За что?

Вернулся в наши Трояны дядя Гица. Когда начался расстрел, его привалило убитыми и ранеными. Гица сумел выбраться. Он ходил между ранеными и убитыми и искал свою скрипку, но не нашел.

Я никогда не видел, чтобы он пел и играл на скрипке. И песню про спелую лозу я слышал на свадьбах и от матери.

* Романе марэ — Великая Румыния (рум.).

** Дикая расправа румынских властей над бессарабцами была совершена в городе Галац. Из двух тысяч человек, рабочих порта, ожидающих транспорт для переправы на освобожденную советскую территорию — 600 человек убиты, 1300 ранены.

Я даже представить себе не могу, что Гица умел петь и играть на скрипке. Я каждый день его видел. Он жил через дом от нашего. И каждый день, если было тепло, сидел во дворе. Глаза у Гицы были открыты, но он глядел в одну точку, слюна текла из уголка рта по небритому подбородку. Иногда он начинал улыбаться и лопотать что-то бессловесное, понятное ему одному. «Это он работал с моим отцом в Галаце, — шептал я себе, когда видел его во дворе. — Это он пережил день расстрела. Тело выдержало, а ум ослабел... Он уже ничего не помнит. И никогда не вспомнит. А будет сидеть на прысьбе*, сам с собой, в своем старом теле. И будет свое думать. Что? Что?»

Хотелось подойти и узнать, но было боязно. Боязно было глядеть в Гицыны глаза, карие, как спелый желудь, почти светлые в свете солнца, охваченные крепкой, словно окоченевшей радостью, не известной уже никому. Может быть только сестре Кате. Она ухаживала за Гицой, а иногда давала и ему работу — посыпала в магазин за хлебом.

Гица шел мимо нашего дома. Он был высокий, в старом потертом кептаре**, в галошах на босу ногу. Деньги он держал в кулаке, в вытянутой руке. Продавщица знала, что ему надо и не пугалась Гицыной улыбки. Знали, привыкли к Гице и все соседи. Он был в наших Троянах, как дерево у дороги, как зеркало в каждом доме. Все видели его улыбку, и каждый задумывался о себе. Ни злые новости, ни дождь, ни ветер, никакие несчастья на свете — ничто не могло погасить этой улыбки. Кроме единственного, страшного — военной формы. Солдат, милиционер, любой, кто носил на плечах погоны, мог испугать Гицу. Я это знаю, и знают все, и помню Гицын испуг. В отпуск, к нашим соседям Мунтянам приехал из армии сын Мишка. Гица поднял голову, глянул во двор Мунтянов, зашептал, вскинув руку: «Пух! Пух! Там! Пух! Пух!» — «Нима «пух-пух». Нима!» — сказала сестра. «Там! Пух! Пух! — повторил Гица. — Там!» Сестра увела его в хату. Я глядел в его спину, слышал испуганный голос и старался представить это «пух-пух». Непережитая мною судьба отца и судьба этого человека увиделись мне иначе. Я понял впервые в жизни и понимаю сейчас, что все снаряды, все бомбы мира, слабее этого «пух-пух», слабее

* Прысьба — завалинка.

** Кептарь — овечья куртка-безрукавка.

одного выстрела из винтовки, если она нацелена в твою грудь. И я теперь понимаю, что пережили те люди во время расстрела. Я теперь понимаю, что выдержал Гица. И как это можно выдержать, если в тебя стреляют, если ты глядишь в лица стреляющим и знаешь, что через секунду две тебя не будет на свете. Ты умрешь ни за что, ни про что. Умрешь, так и не поняв, почему у тебя отняли жизнь? Почему? За что в них стреляли?

До сих пор я не знаю, за что. Гниющей ягодкой будет жить всю мою жизнь это непонимание. Оно будет отравлять меня своей гнилью. И я не смогу ее вырвать, потому что задену здоровые ягодки. Здоровые мне кричат: «За что погиб твой отец? Ты его сын, ты должен ответить». А что мне ответить? Понять не могу. Простить не могу.

Все было бы проще, понятней и объяснимей, если бы я знал, что люди, мои земляки-бессарабцы, из Карагмета, Липавны, Салмана – болгары, русские, молдаване и украинцы, сами стреляли. Но ведь они были безоружные. В чем было их преступление? В том, что они хотели вернуться в свою Бессарабию, к детям своим, матерям и женам, на нашу, родную землю. Ведь тогда, в том далеком году, Бессарабия наша стала советской, и всем работающим по найму разрешили вернуться. Зачем же их надо было расстреливать? Какую злобу? Какую гнилую душу нужно иметь, чтобы прицелиться в безоружного и крикнуть: «Огонь!». Знаю, теперь я знаю – эту команду подал офицер роты карабинеров. Я могу представить, о чем он думал в ту минуту. «Что, быдло? – думал наверное, он. – К большевикам захотели? Идите!» – И взмахнул рукой в черной перчатке. Люди начали падать, и упал мой отец. Я вижу, как он упал, и мне кажется, что падаю я, что стреляли в меня, безоружного. Почему? Почему я это вижу? На знаю, не могу себе объяснить. Но вижу лицо этого офицера, слышу его визгливый голос. Сейчас он взмахнет рукой в черной перчатке. Я смотрю на него. Я не прячу глаза. У меня нет в сердце злобы на этого человека. Я знаю – он враг. Знаю, что для них – оккупантов нашей земли – все мы, рожденные здесь, были быдлом все двадцать два года оккупации. И я не сужу этого офицера, пусть он живет в своей Румынии марэ. Мы его землю не занимали. Я другого понять не могу. Откуда взялась в сердцах такая жестокость, жажда убить безоружного у солдат-карабинеров, недавних рабочих из Баната,

Констанцы, Брэилы? Они все родились на Дунае. Почему они в братьев своих стреляли? Ведь ни у одного из них не дрогнула рука. Знаю, не дрогнула, потому что для того чтобы убить больше полтысячи человек и ранить больше тысячи, нужно стрелять, как стреляют в мишень. Стрелять из винтовок и пулеметов. Из разных огневых точек. Крепкой рукой. Холодной рукой...

Кто эти стрелки? Никто мне теперь не ответит.

6. «Чистые» и «Щепотники»

Нам еще долго казалось, что отец не погиб и вернется. Из порта Галац он прислал нам открытку в тот день, как устроился на работу. Мать хранила ее в сундуке и никому не показывала. Но иногда, наедине с собой, доставала открытку и долго разглядывала. На открытке были нарисованы черепичные крыши домов. За домами холмы и деревья. А обратная сторона исписана круглым выцветшим почерком. Мать не умела читать и спрашивала у бабушки:

— Где он живет там? Где его хата?

Бабушка брала открытку, гляделась в незнакомые дома и отвечала, что про свою хату отец не пишет. Она умела читать по-румынски, умел и отец. Но почерк на этой открытке был не его. Наверное, по приезде в Галац он зашел на почту, заплатил писарю, и тот вывел ловкой рукой стандартное послание.

«Привет из Галаца! — было написано на открытке.— Кланяюсь вам и желаю здоровья жене Марии, детям, Аксентию и Филарету! Сообщаю вам также, что в Румынии люди живут богато, благодаря Господу Богу и королю Михаю. Да будет ему на всю жизнь здоровье и радость. Мне здесь хорошо. И вам желаю всего хорошего. Целую ручки. Ваш муж и отец — Симаков Аким Поликарпович».

Отец не передавал мне привета. Он знал, что у матери родится третий ребенок, но что это буду я — Ион Акимович — узнать не успел. Я гляделась в полуустертыне круглые буковки, пробовал отыскать потайной смысл в этом стандартном приветствии. Но отыскать не мог. Бабушка, прочитав последнюю строчку отцовского послания, замечала:

— Ты ж гля на ево! Ручки целовать научился. Испоганица он тамытка... Изгадицца...

— А может, и ничего, — утешала себя мать.

— Ага! Ничего! — возражала бабушка. — Знаю я их, антихристов... Вороны* проклятые. Останется тамытка и будет тебе «ничего»...

Мать молчала. Не помню случая, чтобы она, даже в самую горячую минуту, поспорила с бабушкой, или сказала ей обидное слово. Все мы — мать, братья, я — казались мне в детстве виноградом одного сорта. Бабушка была — другого. Вся сила мудрого слова шла от нее, отцовой матери, Праксевы Федоровны. Вся остальная наша родня, три старших брата отца — Викул, Калистрат, Илья, сестры Наталья и Ульяна, их дети и внуки, хотя и живы по нынешний день, но родственной связи, как это должно быть у всякой родни, между нами нет. И нет здесь моей вины личной, как нет объяснения и тому факту, что по всей обжитой, заселенной бог знает с каких времен бессарабской нашей земли, начиная от первого на Дунае посада — Липавны и до последнего — Горловки — народ живет самый разный по национальности. Привычная поговорка о том, что язык до Киева доведет, к нашему краю не подходит. Языки разные. В наших Троянах говорят по-молдавски, в соседнем Крутом Яре — по-болгарски, в Чишме — по-немецки, в Бановке — по-албански. В Камрате живут гагаузы**. Язык у них и на слух такой, что кажется, сами себя не понимают. Вместо Киева — на Стамбул укажут. Ну, а чуть ниже по Дунаю, в Николаевке, живут по сей день рыбаки, русские староверы. Говор у них тоже чудной — по бабушке могу судить — так, как она говорила, разговаривали два века назад, когда пострадавшие за веру российские люди растеклись по земле, кто куда. Так и осели предки отца моего на Дунае. В Николаевке отец и родился. Там его дом. Но родня николаевская к нам, в Трояны, не ездила. Веры своей держались. Все никак не могли простить отцу, что женился на «ненашенской», моей матери, а значит, по разумению николаевских, — испоганился, и род Симаковых заодно испоганил.

Почему мой отец испоганился? Не мне судить. Не мною придумано это деление на «чистых» и «антихристов», на

* Вороны — так называли бессарабцы оккупантов.

** Гагаузы — турки христианского вероисповедания.

«нашенских» и «щепотников», с которыми ни водиться, ни родниться нельзя.

Отец этот закон нарушил. Работа плотника — дома строить, по селам ходить. Вот и зашел в наши Трояны, и встретил мать мою. И зажил в нашем молдавском селе, как и все мы. Все это так. Но сколько я помню себя, над всем нашим троянским родом висело проклятие николаевских родственников. И я, и братья мои, и мать считались, по их понятию, нечистым семенем. Ничем нам братья и сестры отца не помогали. А жили они и живут крепче нас. Им голод и засуха не страшны. Худо-бедно, а селедка в Дунае ловилась во все времена: без хлеба съешь пару штук — не умрешь. Но не в селдке, думаю, дело. Сейчас, по спокойной душе, без обиды, упрека, считаю, что самый главный корешок раздора не в том, что мы «щепотники», а они «чистые» — двумя пальцами крестятся. А в том, что этими двумя пальцами николаевские проворней деньгами вертели. А мы и с щепотью с дырявым карманом жили. А кто, в какие времена водился с безденежным? Бедный богатому не товарищ. Не была б моя мать сиротой, протоптали бы братья отца в наши Трояны дорожку. Деньги сильнее старинных заветов. Не в вере здесь дело... Обидно мне было всегда понимать сердцем, памятью, чувством, что живем мы на свете, как пасынки на лозе, — мать, братья, я. Один корешок у нас в нашей земле, второй вроде отрезан. И отец мой знал, что отрезан. Тоже с обидой жил. «Когда я в Галац его провожала, — мать вспоминала, — шли мы с ним мимо его Николаевки. Я на окна глядела: хоть бы один его брат вышел, простился! Хоть бы один! Так мне на сердце было, сынок, горько это видать! Такой виноватой себя считала! Да что ж это, думаю про себя, не один у нас Бог на свете? Что с того, что мы крестимся тремя пальцами? Рази ж это великий грех? Все мы под Богом равные... Так, так, я считаю. А когда мимо хаты его пошли, не втерпела. «Аким! — говорю. — Зайди, попрощайся...» — «Нет, Мария, — он мне в ответ. — Если я им не нужен, то и я в их не нуждаюсь...» — «Ишь ты, какой! — вмешивалась в воспоминания матери бабушка. — Не нуждается он! А я у окна стояла, выглядывала! Я за им аж до моста ренийского пеши бежала... Не нуждается он...»

Так все и было. Бабушка пошла за отцом до моста. Но в толпе уходящих на заработки догнать «Акимку сваво» не

сумела. Увидела мою мать, провела обратной дорогой до наших Троян. И решила пожить «трошки» с нами, пока я на свет появлюсь, «поглядеть за дитенком» решила, «покеда Акимка возвернеца. А то, гля на ево — уехал! Семью, детей бросил. Нично-ова! Дождуся ево! В глазы все выскажу. Я ему дам «чижолые леи»...»

Так и осталась жить в наших Троянах. Но в Николаевку тоже наведывалась, ослабить сумела нерушимую крепость «чистой» веры родни Симаковых. И мать посыпала проводывать, как там живет-поживает отцовский корень.

7. Ночь в дядином доме

Бывал и я с матерью в Николаевке. Разва три, помню, бывал. Но крепче в памяти держится первый приезд. Помню, как сели мы с матерью на «речной трамвай» — ходили еще в ту пору доходные суденышки по Дунаю из реквизированных в счет погашения долга Румынии, и помню название этого суденышка — «Режина Мария»*, уже замазанное краской, с выписанной поверху, новой, непривычной надписью — «Советская Бессарабия». Помню, как долго мы плыли на «Бессарабии». Ясное солнце помню, ранний, пугливый парок над Дунаем, лицо матери, немножко чужое и строгое. На ней новый кептарь, черная, вычищенная керосином, суконная юбка, и помню, как тесно было на палубе «Бессарабии». Кто только на ней не ездил в ту пору: и липаванские рыбаки в Тучков, и молодицы из придунайских поселков — Салмана, Лисков. Помню, как пахло айвой, теплым, вялосладким духом плетеных корзин, жаром работающей машины, подрагивающей под палубой, но что-то уж сильно подрагивающей, видать, сердечко у бывшей «Режины Марии» было уже никудышним, и она шлепала плициами, с одышкой, «пешки шла», как шутили пассажиры. Мать волновалась, чтобы я не упал в воду, поглядывала и на вещи — две папуровых** корзинки с подарками для николаевской родни. В корзинках лежали орехи, наши орехи, с четырех

* Режина Мария — королева Мария (рум.).

** Папура — тростник (рум.).

деревьев, что росли у дома. Помню, что были эти орехи еще молодые, только что ошкуренные, со следами ссохшейся зеленой кожицы. Кожицу мы счищали ножом, едкая горечь впиталась в пальцы, окрасила их в коричневый йодистый цвет. Ладони мои пахли йодистой горечью. Кроме орехов мы везли кукурузную муку, сушеные груши и вылущенную «рябую» фасоль. Мать не отходила от этих корзинок, держала меня крепко за руку, шептала: «Сейчас, Оня. Сейчас... Вон уже церкva ихня...» Вправду, маковка церквушки вынырнула из зелени береговых ив. Глядеть на нее было чудно. Вот она прямо передо мной, но вдруг сама по себе поплыла в сторону, может, задумала забежать в хвост «Бессарабии», глянуть, кто так шлепает пешим ходом и воду дунайскую мутит. И так эта вода — мутней не бывает. «Сейчас, сейчас», — шепчет мать. Волнение в ее голосе передается и мне. Я гляжу на зеленую просеку. Береговые ивы близко от борта. «Бессарабия» резко сворачивает, и видать камышовые крыши, ослепительно белые стены низеньких хат. Чистая прохлада окошек, понтон под ржавым навесом — и все это ясное, словно вымытое дунайским ветром, и непривычно чужое. «Сейчас, сейчас», — шепчет мать. И в лице ее появляется еще больше тревоги и еще что-то, приниженное, виноватое. Ее беспокойство передается и мне, но я не могу понять, откуда оно, где живет это беспокойство? Воздух чистый — в нем беспокойства нет. Солнце ясное, домики белые, маковка церкви рядышком, — нет, нигде нет беспокойства, и все же, чувствую — есть. Вот только бы догадаться, в чем?

«Советская Бессарабия» пристает к понтону, отдувается, шипит теплым солярным паром. Мы выходим на берег, идем по чистенькой уличке. Закатный свет солнца просвечивает зелень акаций, отражается в чистых окошках: остро пахнет жареной рыбой, смолой. Люди глядят на нас. Они сидят на низеньких лавочках у палисадников, бородатые, в белых навыпуск рубахах, каждый опоясан веревкой с кистями. Какой-то мальчишка, конопатый, замурзанный, вывернулся из-за плетня. Я слышу его насмешливый оклик: «Гля! Цыгани! Цыгани...» — «Цыть, псивера», — отзывается приказной голос.

Я оборачиваюсь. Где цыгане? Нет никаких цыган. Мы не цыгане. Я взглядаю на мать. «Идем, Оня, — шепчет она. — Не спотыкайся». Мы сворачиваем в переулок, к высокому забору, и мать останавливается, подходит к калит-

ке, стучит железной скобой. Звук резкий, сердце мое вздрогивает. Я уже понимаю — тревога и беспокойство не в цвете и запахе дня. Беспокойство там, за этой калиткой. Мне вдруг становится жутко. Я оборачиваюсь: солнце уже не видать, влажная тень легла на камышовые крыши, воздух стал плотным. Мне кажется, что сверху, с боков, на нас глядят чьи-то глаза. Я прижимаюсь к маминой юбке; запахи керосина, чистой овчины от новенького кептаря, успокаивают меня. За калиткой слышны шаги. Босые быстрые пятки стучат по дереву. Звенит скоба, калитка распахивается настежь. Я поднимаю голову и вижу круглое розовощекое лицо молодицы. Серые, словно стеклянные глаза глядят сквозь меня.

— Тять! Тять! — кричит она в глубину двора. — Троянские приехали. Тя-я-я-ть! — Рука у молодицы, испачканная кровяной слизью, в блестках рыбых чешуек, придерживает калитку. Крупные вишневые бусы блестят на белой шее.

Мать здоровается с молодицей, кладет корзинки с подарками на порожек у калитки, поправляет платок на голове, улыбается виновато.

— Жарко... Вроде осень, а жарко...

Молодица кивает, мол, спору нет — жарко, но рука ее продолжает держать калитку.

— Тять! — снова кричит она. — Ну, ты где тамытка?

— Растилькалась! — отзывается ворчливый басок. — Не глухой покедова...

Русая борода вырастает над головой молодицы. Глаза под низкими кустистыми бровями — маленькие, словно ягодки зеленца винограда — быстро ощупывают и меня и мать.

— Троянские? Ну, проходься, проходься...

Рука молодицы опускается. Она отворяет калитку, и мы идем следом за хозяином. Я еще не знаю, что это мой дядя, Викул Поликарпович, старший брат отца, но чувствую, что старший здесь он, чувствую настороженное недовольство в голосе, гляжу в его спину. Он в бордовой рубахе, простых штанах, закатанных по колено, шея у него в морщинах-трещинах, как дубовая кора, и пахнет от него потом, рыбой, и дышит он тяжело и сердито. Мне хочется, чтобы мать поскорее отдала ему наши орехи, кукурузную муку, сушечные груши. Может, он станет добре. Но мать не спешит. Мы проходим следом за дядей Викулом под навес. Здесь стоит длинный стол, на столе горка кровяных потрохов,

облепленных мухами, пахнет горячим подсолнечным маслом. Молодица принимается соскабливать ножом потроха со стола, потом убегает в глубину навеса. Оттуда слышится шум примуса и ее голос: «Колька! Иголка где? Гля, коптить...» Я не вижу Кольки. Не знаю, кто он. За столом сидят люди. Лица у них бородатые. Они глядят на нас с матерью с настороженным любопытством. Это мои дядя — Калистрат, Илья. Я не могу их отличить. Они похожи — светловолосые, веснушчатые. Дядя Викул кричит в глубину навеса.

— Улита! Дай сесть гостям!

Молодица приносит скамейку, смахивает невидимую пыль полотенцем, глаза ее улыбчиво шурятся.

— Садитесь! Садитесь, гости дорогие... От такытка. От и бравинька...

— Гля! — вскидывает голову, показывая на меня, Калистрат. — Пацаненок — чистый цыганча...

— Голя! — обрывает его дядя Викул и спрашивает у матери: — Ну, как тама матка? Вертца не думай?

— Нет, не говорила пока... — отвечает мать, и лицо ее становится виноватым. Откуда ей знать — вернется ли наша бабушка в Николаевку, или нет. — Не говорила, — повторяет она.

Наступает молчание, неловкое, тягостное. Мать взгляивает на меня, но глаза у нее чужие, будто я ей совсем незнакомый.

— Вот, примите, что Бог дал. С нашей градины...* — И ставит на краешек лавки корзинку, вынимает мешочек с фасолью, мешочек с кукурузной мукой, сущеные груши. — Примите, на здоровье...

Улита забирает подарки, перешептывается о чем-то с дядей Викулом. Под навесом уже темно. Глаза у меня слипаются. Вижу лампу, зажженную на столе. Теплый запах керосина, жареной рыбы. Есть мне не хочется. А мать ест, разговаривает о чем-то с дядьями. Я не могу разобрать о чем, но чувствую, что задобрить ей их не удалось: какая-то тягостная, тревожная тишина заползает под навес с сумеречным воздухом.

— Гля, гля! Спить дитёнык! — врывается в мое сознание голос Улиты.

Мать поднимает меня из-за стола, и мы идем в глубину навеса по сухим звонким доскам, пропахшим смолой, вяленой

* Градина — огород (молд.).

рыбой. Пугливый свет лампы, которую несет в руке Улита, мечется по стенам. Мне становится боязно, и кажется, что бородатые лица идут следом за нами, и сейчас что-то случится.

— От тутытка... — слышу я голос Улиты. — Тутытка и отдохнетя.

Она ставит лампу на подоконник. Желтый язычок пламени оживляет застоявшийся сумрак комнатки; здесь чисто, пахнет известкой и нежилым духом. В незанавешенное окошко, покачиваясь, заглядывают холодные, черные тени.

— Тутытка, — убаюкивающим голосом повторяет Улита. — Кроватей нима, а тюфячки я сичас принесу... — И точно, приносит два длинных мешка, пропахших сухой соломенной прелью. Мать расстилает их в уголке. Улита снова уходит, возвращается с чашечкой. Пришептывая, брызгает водой по углам комнатки, крестится и глядит на мать уже без улыбки.

— Всё хотела спытать... У вас вошей нима?

Мать испуганно взмахивает рукой.

— Нет, нету! Господь с тобой! Нету... — И словно понимая, что этого заверения мало, снимает с меня курточку, рубашонку, подталкивает к свету лампы. — Нету... Чистые мы... Вот, вот... — И протягивает мою рубашонку Улите.

— Я так... На всякий случай, — отвечает Улита. — Лампу потушится.

— Потушим, потушим, — покорно вздыхает мать.

Улита уходит. Мать задувает лампу. В комнатке становится темно, и эта темнота давит на меня, словно тяжелое, душное, пропахшее неживой цвелостью одеяло. Я прижимаюсь к матери, чувствуя ее запах, и мне становится легче.

— Спи, спи, сынок, — шепчет она. — Нету у нас вошей, спи...

Я слышу ее дыхание, чувствую, как подрагивает рука, гладящая мои волосы. Тревога моя не проходит. Я знаю, почему мне тревожно. Им не понравились наши орехи, мука, сущеные груши. И сейчас в комнату придет бородатый дядя, прогонит нас. Куда мы пойдем? Сейчас темно, уже ночь. Мы здесь одни, и дом наш далеко.

— Спи, сынок, спи, — шепчет мать.

Я прижимаюсь к ней всем телом. Но спать мне не хочется. Глаза мои привыкают к темноте. Из закутка пахнет смолой. Месяц скибочкой дыни глядит в окошко. Черные тени покачиваются. Там они все — бородатые лица. Там, там... Сейчас они нас прогонят.

— Спи, спи, сынок, — повторяет мать. Но в голосе ее нет покоя. Я чувствую это. Нет покоя в запахе смолы, извести, соломенной прели. Все это чужое. Все здесь чужое. И спать я не буду, я буду смотреть в окошко, покуда к нам не придет утро.

9. Гостицы

За неделю до начала сбора винограда бабушка поднимала меня утром ни свет, ни заря.

— Ванька! Вставай, Ванька... — слышал я сквозь сон ее неумолимый голос. Мне очень хотелось спать, но бабушка тянула меня за руку, и я подчинялся ее беспрекословной воле. Натягивал рубашку, поеживался, по-стариковски ворчал. Мне казалось, что бабушка не спала вовсе, а так и стояла над моей душой с самого вечера. Она уже одета: в бязевом платье и овечьей кофте, выгоревшей на солнце. Руки бабушки пахнут старой кожей и воском.

— Вставай, вставай, — повторяет она. — На старости отосписся...

— Я до старости ждать не хочу, — отвечаю я. — Мне сейчас спать охота...

— Гайда, гайда! Балакаешь много! — отвечает бабушка и легонько подталкивает меня во двор.

Утренний свет еще сонный, солнце тоже раздумывает — вставать или чуток подождать. Зыбкий ветерок с Дуная скользит сквозняком по ногам. Бабушка идет к коморе, хочет найти самую маленькую корзинку, ворчит, потому что маленькой как раз и нету — «позычил» сосед наш Михайло Пушки. А когда вернет, про то Богу известно. Бабушка берет большую корзину с подлатанной проволокой днищем, и мы идем на виноградник.

Ногам моим зябко, зябко телу: влажные от росы кукурузные листья, посаженные сторожевым рядом с краю, царапают локти, капельки росы скользят, словно ртуть по зеленому желобу, и все под ноги. Я поднимаю голову. Воздух над виноградником плотный, сырой, белесый туман стелется рваной шалью над уснувшей лозой. Дремлет «Андрей Иваныч» — так у нас назывался этот сорт винограда, листья свои растопоршил, а гроздья спрятал. Но мы его хитрость знаем — от нас

не спрячешься. Бабушка поднимает набухшие сыростью ветви, и вот они все, затаенные гроздья — ягодка к ягодке, крепенькие, чернильно-синие, покрытые седой пленочкой. Скоро, совсем скоро ягодкам этим под пресс. А пока пусть живут, забирают последний сахар от солнца. Бабушка ловко, наощупь, отыскивает самые спелые грозди, сама с собой разговаривая: «Ну, и чего хоронисся? Иди суды, иди... От такытка... Так... Гля! Бравый какой. Мед...» И держа ладонь ковшиком, переваливает кисть с боку на бок, щурясь, разглядывает каждую ягодку. Не дай бог, какая кисть с гнильцой или со сморщенной ягодкой — ее нам не надо. Удовдоверившись, что ягодки на кисти все здоровые, бабушка на всякий случай спрашивает и мое мнение.

- А ну-ка, глянь, Ваня... У тибе глазы вострые...
- Бун!* — даю я свою оценку.
- Бу-у-ун! Молдавана кусок! Говори «бравый», — поправляет бабушка.
- Что «бун», что «бравый» не одинаково? — не желаю я поддаваться.
- Однаково у Якова! — отвечает бабушка, но в голосе ее уже нет прежней строгости. — Иди, иди... Не волочи корзину. На! Не упусти...

Я кладу кисть на дно корзины, беру ее за ушки: влажные ивовые стенки холодят колени, руки мои покрываются гусиной кожей.

Утренний мир еще спит: белесый туманец, подживленный слегка ветерком, ворочается, словно вздыхает во сне. Над совхозной плантацией тоже лежит туман, и дальше, за шпалерными столбиками, до самой троянской дороги. А за дорогой Дунай. За Дунаем чужая земля. А за той землей что?

— Ванька! Не спи! Суды иди, скорейча! — зовет бабушка. Она уже отошла от меня к другому ряду. Я бегу следом, укладываю гроздья «Андрея Иваныча» на дно корзины. Весу в ней прибавляется. Я опускаю ее на землю: гроздья упруго вздрагивают.

- Может, хватит? — спрашиваю я.
- Хватит лысого за гриву, — отвечает бабушка. А нам, православным, станет... — Она разгибает спину, держась ладонями за поясницу, заглядывает в корзину, прикидывает — «станет» или «не станет». И подняв голову на совхозный виноградник, шепчет: — Корзину не бери... Оставь тутытка. — И с оглядкой, крадучись, придерживая руками

* Бун — Хороший (молд.).

платье, обминая кусты «Андрея Иваныча», выходит к меже.

Здесь нашему винограднику конец. Уезженная колесами грунтовка отделяет пограничной полоской наши кусты от совхозных плантаций. С краю, у самой межи, растет «Кримпошия Алба». С техническим сортом — «Алиготе», «Пино», «Кримпошию» не спутаешь. Листья у нее в две ладони, формой — кленовые, а цветом — сочнее майской зелени. «Кримпошия Алба» виноград знаменитый, посадили его в Троянах в ту осень, когда к нам пришла Советская власть. Не для нагрузки посадили, для памяти. Сорт «Кримпошия» — изюмный. И его, как весь виноград за межой, троянцы называли в ту пору советским. Манили эти сорта всех от мала до велика. Почему? Вон, у тебя свой виноград растет, вышел во двор, десять шагов прошел — рви — не хочу. Не рвали. Советский казался слаше. Братья мои со двора выйдут, на площадь, к клубу. За пазухой «Кримпошия Алба». Нарвали советского — подвиг! Еще бы... Охранник совхозной плантации хромой дядя Илис сидит сейчас за шпалерой в своем шалаше и целится из ружья — жахнет из обеих стволов, в бабушку и в меня. Убежать не успеешь.

— Не боись, не боись. Нечева тут боящца, — шепчет бабушка и, оглядываясь по сторонам, быстро перебегает на «савецкую» сторону. Ловкенько рвет в подол запретные гроздья. Лицо ее раскраснелось, глаза блестят: ей тоже, наверное, боязно, но виду не подает, сама себя успокаивает: — Ниче-е-е! Не обдняет савецкая власть... Детям, детям... Не на продажу... Мы ж кто теперича? Мы теперя савецкие, не румынские, не турецкие... Значищца, и нам гостинца дай... — И взглядывает на меня: — Шо скучюрился? Шо как той рак задки ползешь? Держи... — И быстро перебегает на наш виноградник, выкладывает, уже без утайки, кисти из подола в нашу корзину.

Гроздья «савецкава» сорта, поблескивая янтарем, сахаристо-медовой спелостью, разлеглись на жесткобоком теле «Андрея Иваныча».

Весу в корзине прибавилось. Мне одному не справиться. Бабушка подхватывает корзину, несет ее ко двору.

Все! Слава Богу, управились. Сердце мое стучит. Мне еще кажется, что охранник дядя Илис целится в наши спины. Пропадем на своей земле. Но выстрела не слыхать. Наше счастье.

Бабушка накрывает корзину кофтоей, выносит из «савово» угла стопочку старых газет и просяной веник.

Мы поднимаемся на горище*. Здесь тихо, сумеречно, пахнет кукурузой, горьковатым, щекочущим ноздри, высохшим в прах красным перцем, пылью и камышом, не остывшим за ночь. Солнце уже проснулось и заглядывает в слуховое окошко, сквозь унизанный бисером росы, сетчатый кружочек — хозяйство домашнего паучка. Он, быть может, спит еще, а может, наелся на неделю вперед. Сухие мухи висят на тонких канатиках — сушатся про запас. В камыше, под крышей, что-то потрескивает, и я слышу, как плачет воробышко детеныш. Но где он живет, времени искать нет. Я подметаю сухую пыль в закутке горища, расстилаю газеты. Читать я еще не умею. Но помню, что буквы румынские. Бабушка пододвигает поближе корзину, и я выкладываю виноград рядками. Пусть он лежит себе в тишине и покое до Рождества. Это — гостинцы для нашего праздничного стола.

К Рождеству виноград доживал. Ягоды на кистях морщились. Солнечный жар выпаривал влагу, оставляя сахаристую плоть, чуть припахшую пылью. Почти все, до единой грозди, оказались только что срезанными. Была в этом винограде наша семейная радость. К Рождеству мы все садились за стол в каса марэ**, бабушка приносила свой самовар, мать пекла плачинды***. Виноград, вымытый теплой водой, лежал в миске.

— Ешьте, ешьте! — потчевала бабушка братьев. — Это Ванька для вас постарался...

Мне становилось легко на сердце. Ясное дело, что я постарался — не бабушка. Но братья мои были людьми уже взрослыми. Ухажерок имели. Наши гостинцы считали детской забавой.

— Это что? «Кримпошия» с «Андрей Иванычем»? — крутил носом Аксентий.

— А то ты не видишь? — серчала бабушка. — Глазы разуй...

Аксентий отщипывал ягодку, подмигивал мне.

— Вижу! Но я лично «Андрея» люблю в жидким виде. А ты как, Филя?

— Я тоже не против, — отвечал Филарет.

— Ешьте, ешьте, — встревала мать. — Зря, что ль, старались для вас? Вы только попробуйте! Чистый сахар!

— А разве я что говорю? — удивленно вскидывал брови Аксентий и подмигивал Филарету.

* Горище — чердак.

** Каса марэ — праздничная, главная комната в доме. (Молд.)

*** Плачинда — пирог с тыквой.

10. Азы технологии

Андрей Иваныч» в «жидком виде» тоже к Рождеству сохранялся. Не на горище — в коморе, в бочках, освобожденный от кистей и кожицы.

Помню звон раздробленных ягод о дно чана. Помню запах молодого виноградного сока. Помню боязнь в тот момент, когда видел, как плотная мякоть с лопнувшей кожицеей теряла свою защиту. Мне казалось, что сладость умрет, чан нужно закрыть, чтобы сок подышал сам собой, чтобы остался таким, каким и родился. Что это там в углу? Корзина с картошкой. Вынести, вынести ее поскорей из коморы! И банку со старой засохшей олифой вынести! Скорее, скорее, иначе сусло испортится. Как это мать не видит? Бабушка, братья...

Видели, но посмеивались. Старший мой брат Аксентий похлопывал меня по плечу, подмигивал бабушке.

— О! Батрина! А говоришь, что он без куска в жизни останется. У него нюх собачий! Причем на вино нюх...

— Годя тебе языком молоть, — отвечала бабушка. — Дело какое! Нюх на вино. Таких нюхальщиков через хату, каждый учесный...

И это сказано было верно. Во всех дворах наших Троян жили виноделы с нюхом. Все тайны «Андрей Иваныча» знали, любого за пояс заткнуть могли. Дело известное. Кто у нас в Бессарабии не винодел? Пройди по дворам от Днестра до Дуная, где пару кустов на шпалере увидишь — стой! Здесь живет мастер, специалист. Ничего, что диплома нет. Ничего, что виноград у него разносортный. Ничего, что ни бочкой, ни прессом человек не разжился. Это все пустяки. Мастер и в кастрюле, и в выварнице для белья, по своей, доморощенной технологии такое вино сварганит — медали не жалко вручить. Сядешь с ним во дворе о погоде поговорить, он это вино на стол выставит, себе на донышко стакана нацедит, а тебе, как гостю — полный. И глядеть на тебя будут, похвалы ждать. И похвалишь, никуда не денешься — хозяина обижать нельзя. «Такое вино, — скажешь, — я первый раз в жизни пробую...» — « Да-а-а! — хозяин кивнет. — Такое

только у меня. По моему рецепту...» А по какому? Молчок! Тайна. Сиди себе, гость, пробуй, закусывай, а о тайне не спрашивай. Тайну эту хозяин в могилу с собой заберет. Детям и внукам не передаст, не то что тебе – постороннему человеку.

А какая в виноделии тайна? Рассуди по спокойной душе. Любишь – до тайны дотерпишься. Не любишь – подменишь фокусом. Один владелец «рецепта» подогреет сусло во время брожения, второй сахаром покалечит для эффекта, чтоб вино в голову было покрепче. Все это фокусы...

Сусло, что новорожденный ребенок. И как к ребенку, к нему надо бережно относиться, с лаской, с любовью. Его можно воспитать, исправить в добрую сторону, а можно и изуродовать. После уже не исправишь. Хотя, если взять технологию валового потока – исправляют, конечно. Запах и привкус плесени в сусле – парафином сбивают. Кассовый оттенок* – активированным углем.

Все это я позже на практике изучил, когда стал работать технологом. Всему этому можно выучиться, в соответствии, как принято говорить, с задачами производства. А вот только жалею, что тайны домашних технологий в эти производственные задачи не входят, потому что не понимал я в детстве и сейчас понять не могу – в какой связи виноградная ягодка с хозяином виноградника? В каждом дворе наших Троян вкус вина был похож на характер хозяина. Ты его можешь не видеть, ты только вино его взял на пробу, а портрет человека – полный.

Рядом с нами жил по соседству Воря Степан. Он, когда был в добром настроении, хвастался: «Захочу, две «Волги» куплю! Одну себе, вторую жене!». Соседи были не против: «Купи, купи, Степа, жене. А то она у тебя, как нанятая. С утра до вечера пашет...» Замечание верное. Жена у Степана – женщина работающая. С утра и до вечера на винограднике пропадала. И жили они в ту пору крепко. Но, видать, деньги Степан как баклажаны солил. Встретишь его на улице – рубаха, штаны на нем ношенные-переношенные. Пугало на совхозном баштане – краше. И лицом Степан был, что странник скорбящий. Кто не знал его – двадцать копеек на хлеб мог дать. Степан эти двадцать копеек возьмет – не откажется. Деньги видел – руки тряслись.

И вино у Степана было таким же. Цветом – ржавое.

* Кассовый оттенок – помутнение виноматериала.

Один глоток сделаешь – камнем в горле застрянет. Полный портрет хозяина.

Другого взять человека, Николае Кригу. Портным Николае работал. Все троянцы в его кепках ходили. Половина, может быть, до сегодняшнего дня не рассчиталась с ним. Николае к деньгам относился спокойно, мог и в долг человеку кепку пошить. По праздникам Крига надевал суконный костюм и шел в церковь, в соседний поселок – Васильевку. Семь километров туда, семь обратно. Встретишь его на улице, остановится, два пальца к козырьку: «Буна зива!». С почтением к тебе и уважением к себе. И улыбнется доверчиво, открыто, как брату родному.

Точно таким и вино было у Криги. Тихим, ласковым, безобидным.

Виноград в наших Троянах у всех один. Земля тоже одна. Дождь, слава богу, покуда никто персонально не сумел для себя самого заказать. И время сбора винограда соблюдалось в едином порядке.

А вина у людей были разные. Вот она, тайна. Как ее разгадаешь? Да и стоит разгадывать? Может быть, тайна эта, как последняя ягодка на шпалере. Ты ее чувствуешь сердцем. Ты глядишь на нее, а сорвать жалко.

11. Мечта

Детская моя вера в то, будто люди спиваются от того, что пьют плохое вино, долго держала душу мою в крепкой непогрешимости. Я не мог, не хотел принимать в свое сердце горчайшей правды увертливого, непобедимого зла, затаенного даже в самом чистом нектаре. А может быть, это скорее всего, боялся задуматься. Может быть, в нашей жизни так и идет: в незрелые годы мы ищем опоры в незамутненной, радостной сладости, силенок еще не хватает подумать о черной горечи, затаенной в лозе. Горечь не для нас, молодых. Горечь всплывает только тогда, когда жизнь накроет душу твою черным крылом, тогда-то и почувствуешь обратную сторону сладости.

Но когда еще придет эта зрелость и понимание? Насильно ее

к себе не притянешь. Не сумеешь себя самого обогнать. Надо вырасти поскорее, выучиться самому и создать такое вино, чтоб было для счастья и радости всем людям на нашей земле бессарабской. А пока что расти буду. Оыта и практики набираться.

И тут, скажу без похвальбы, старание я проявлял.

Через осень троянцы скумекали, что я в самом деле чувствую вкус и запах, в самом деленюх у меня — собачий.

Дяде Парфентию Сырбу — он на свадьбах играл на флюере — я помог выпарить бочки, и он за труды мои подарил мне рублевку. Деньги по тем временам нешуточные. Советские деньги. За время оккупации троянцы не успели от румынских отвыкнуть. А в бабушкином углу и старорусские в шкатулке хранились. На какой случай? Не знаю. Братья мои Филарет и Аксентий шкатулке ревизию сделали — червонцы искали. Но не нашли. А на царские, русские и румынские леи с оттиском короля Михая и пачки соли не купишь. А тут — на тебе! Целый рубль!

Хотел я в дело его пустить. Как раз в ту пору в Троянах открылся продовольственный магазин. Хлеб появился в продаже. А хлеб — это не мамалыга. Хлеба куплю, загадал я. И масла подсолнечного. Масло тоже было в продаже. Давили его на маслобойке, в Кругом Яре. Желтое было масло, тягучее. Ветром пахнет из маслобойки — слюнки текли. Намазать бы это масло на хлеб, а сверху солью посыпать! Что может быть вкуснее на свете? Бутылку для масла успел приглядеть. Вымыл ее, песком начистил. Вот будет праздник! Но не утерпел — рублевкой похвастался братьям.

— Ванька! А ну, дай я ее разгляжу поближе, — сказал Аксентий. — Что там на ней нарисовано?

— И я хочу поглядеть, — подскочил Филарет сбоку.

Рублевку отняли. Мне стало обидно, я чуть не заплакал, но придержал слезы. К бабушке побежал за подмогой.

Бабушка мою сторону не взяла.

— И где жа ты ее взял? — спросила.

— Мне дядя Парфентий дал! Он сказал, что мой нюх хороший...

— Ты ж гля на него! Нюх! — осерчала бабушка и глянула на братьев. — А ну-ка, дайте мне, я поглядю...

Братья переглянулись, но рублевку «поглядеть» бабушке дали.

Бабушка глянула на меня, как на совсем пропавшего человека.

— На! — протянула мне рубль. — Отнеси ее, где взял. И скажи, Симаковы не побиушки и не холопы! Симаковы себя самих прокормить могут... Иди, иди!

Я пошел. Отдал этот рубль дяде Парфентию. Насчет того, что мы, Симаковы, не холопы — смолчал. Но рублевку отдал. Это помню. И помню, что жалко мне было ее отдавать. Прощай, моя мечта о хлебе с подсолнечным маслом!

Вышел я со двора дяди Парфентия, а домой не хотел возвращаться. Прошел огородами мимо совхозной плантации на межу. Рос там в ту пору старый орех. Взобрался я на развилку, почти на верхушку, и просидел допоздна.

Меня искали. Братья, бабушка, мать. Я видел их из своего укрытия, а спускаться на землю не думал. Мать, никогда не спорившая с бабушкой, не утерпела.

— Ну, что ж тут такого? — слышал я ее голос. — Ну, принес хлопец рубель за труд... Что ты его так муштруешь? Он еще малый, дитя он еще...

— Малый не малый, — ответила бабушка. — А гроши баловать дитенка не дам. Збалуецца, сгадицца...

— Да у тебя что? Из дерева сердце? — спросила мать. — Он этот рубель сам заработал...

— Это не зароботок, а подачка! А мы не холопы! — не поддавалась бабушка. — Не холопы — нет! Нехай с малолетства это запомнит! С малолетства нехай в себе гордость имеет...

Я слышал голоса матери, бабушки, а звука не подавал. Сладко было в сердце моем. С горечью эта сладость была. Ничего, думал я, вы меня поищите, а я уже гордый. И буду гордым! Буду, буду! И гордым, и не холопом! Я этот рубль сам заработал. И еще заработка! И все про меня узнают. А сам про себя я уже все знаю — я не такой, как все остальные люди. Я с собачьим нюхом на свет родился. Ничего, ничего-о! Я всем докажу. Не зря я на свете живу! Все вы меня увидите! Вот земля подо мной, солнце закатное, дорога троянская за межой и островок мой зеленый — там мои запахи спать ложатся, самые чистые запахи. И я их знаю. Я выше всех. Вы меня еще вспомните. Вы увидите! Ничего, ничего-о! Увидите...

Так думал я. И еще что-то сладкое, жаркое, легкое пенилось в моем сердце, там, на высокой ветке ореха, у нашего виноградника в свете закатного солнца, спелого, как арбузная скибка. Не добежать к ней. И не вернуться в тот ласковый чистый мир, на теплую землю, даже во сне...

ТРИ РАССКАЗА

1. ВЕТЕР С МОРЯ

Из призванных и вернувшихся мужчин семьи – Илья не в счет: служил в железнодорожных войсках и за всю войну дальше Нальчика от Махачкалы не уезжал, – Бебка был единственным, кто вернулся домой с целыми руками-ногами. Произошло это, однако, во второй половине пятидесятых: в пятьдесят седьмом, в конце августа.

День тот выдался на редкость ветреный. К вечеру ветер заметно стих, пыль осела, стало жарко. В свете уходящего за горы рыжего солнца все вокруг было четким, насыщенным, пронзительным: начиная от кур во дворе, у которых, казалось, было видно каждое перышко, и вплоть до видневшейся за крышами домов на другой стороне улицы полоски моря, бывшей синей настолько, что хотелось зажмуриться, отвести взгляд.

Арбуз ели на веранде. Тюлевые занавески слегка колыхались. Одна из них, когда Юлька вышел за мундштуком для деда, встрепенулась и, пока остальные занавески прижимались к застекленным рамам, вырвалась на волю, перекрутилась там в странный жгут с пузырем посередине: в нечто вроде тощей ноги с отекшим коленным суставом.

Поднявшийся расправить занавеску Миша взглянул во двор и сказал:

– А вот и Бебка, – и, обернувшись к жене, спросил таким тоном, словно Бебка всего лишь опоздал к семейному обеду:

– Борщ не остыл?

Бебка любил борщ. Кроме того, он любил читать Майн

Дмитрий СТАХОВ – родился в 1954 г. в Москве. Окончил факультет психологии МГУ. Публиковался в периодике и коллективных сборниках.

Рида, ходить в кино и смотреть как играют в карты. После возвращения для него остались одни карты: из-за катара он мог есть только молочный суп, Майн Рида сожгли в первую же военную зиму — к тому же в лагере он начитался на всю оставшуюся жизнь и печатное слово больше его не привлекало, — а в кино не ходил из-за страха темноты. Зато в карты он теперь играл уже сам, играл подолгу и по-крупной.

Особой азартностью он не отличался. Просчитать самый простенький вариант было выше его сил. Немудреные заповеди преферанса Бебка не соблюдал: с дамой на руках пропускал валета, нес от длинной масти. За столом он мог позволить себе все что угодно и по одной причине: обычно читал любого, словно партнеры играли прозрачными картами, а бывало не раз, что на спор после торговли в точности угадывал прикуп. Постоянно с ним играли Саддулла, которому обычно карта шла хорошая, и Бебка со своим ясновидением был тут бессилен, да Снегирев: у этого, пока не посадили, карманы пухли от денег. Четвертый был заведомо жертвой.

Играть начинали в субботу вечером и заканчивали в воскресенье к ночи. Бебка играл молча, произнося только положенные «раз! пас!», выпивал много коньяка: верил, что коньяк полезен при катаре, — и много курил. Снегирев тоже помалкивал, а Саддулла бубнил безустанно: толстые губы его шлепали в такт картам, и все, о чем он говорил — будь то полет Белки и Стрелки или сделанное им очередное кесарево сечение — было, как хаш, жирное, и пахло жгучим перцем.

Работал Бебка на судоремонтном заводе, но уже не в цехе, а в бухгалтерии: поднимать тяжести ему было нельзя, а полуторалетний опыт работы в лагерной канцелярии здесь пригодился. Зла на завод он не держал: за опоздание на работу осенью сорок первого он был сначала осужден, потом помилован, лишен брони и призван, хотя отец Саддуллы, первый врач из нацкадров, говорил, что процесс в левом легком не остановлен. Бебка приходил на работу, тихо стучал костяшками счетов, тихо уходил домой. Место его за большим трофеинным сейфом со сколотым, закрашенным, но пропступающим сквозь краску имперским орлом на дверце, всегда было в идеальном порядке, бумаги лежали аккуратными стопочками и даже папироса в пепельнице дымилась скучо и ненавязчиво.

Воспоминания Бебки о прожитых вне дома шестнадцати годах были свернуты всего лишь в несколько фраз. Одна из

них: «Как под Ростовом!», повторялась довольно часто, другие, вроде «Не курить! Шире шаг!», произносимой несколько раз подряд, нараспев, – от случая к случаю. Первые же дни Бебка и вовсе молчал или отдельывался односложными восклицаниями из-за опасения сбиться на матерную ругань.

Для семьи он был пропавшим без вести: извещение доставили в Алма-Ату, где семья была в эвакуации, в конце сорок третьего, но уже с лета сорок второго писем от Бебки не приходило. Миша, для пущей убедительности стучал костылем, успокаивал мать, говорил, что с почтой такая неразбериха, что письма наверняка приходят на старый адрес, но Илья, несмотря на сделанную Мишой к письму матери соответствующую приписку, просто обошел этот вопрос. О самом Бебкеstryдали быстро: ведь оставалась хоть какая-то надежда, тем более, что сразу пришло и извещение о Ное, любимце Ревекки, красавце, скрипаче и шалопае. Когда Бебка вернулся, Ревекка лежала парализованная: не узнает никто, поняла ли она, что это именно Бебка целует ее желтую влажную руку.

Лия не ждала и не верила, что он когда-нибудь вернется. По дороге с работы Бебка обычно делал петлю и на приморском бульваре часто встречал ее: он покупал папиросы в павильоне «Газвода», она заходила туда с детьми. На Лию дети были совершенно не похожи: она была замужем за младшим Виноградом, и мальчик и девочка были маленькими копиями Яшки. Лия всегда первая здоровалась с погруженным в мысли Бебкой, тот как бы просыпался, улыбался щербатым ртом. Лия чувствовала себя виноватой перед Бебкой и все стремилась оправдаться, хотя видела, что ее не слушают, что ее оправдания вовсе не нужны. Она попробовала сделать это через Саддуллу, и тот не нашел ничего лучше, как однажды за карточным столом зачем-то рассказать о деньгах, затраченных Виноградами на борьбу с ее бесплодием. В рассказе сквозила обида – к Саддулле Винограды не обращались – но Бебка не обратил внимания на рассказ и Саддуллу не пожалел: заказав мизер, он взял из призуза семь и восемь червей, бросил карты на стол.

– Чистый, – сказал он.

– Постойте, постойте! – очередная жертва, брандмайор, столько ждавший случая сыграть с самыми сильными в городе игроками, потянулся было к Бебкиным картам, но Снегирев, бросив на них свои, оборотил к брандмайору тяжелое, с брылами, с перебитым носом лицо:

— Ваша сдача, товарищ гвардии пожарник, — прохрипел Снегирев, а Бебка налил себе рюмочку и с наслаждением выпил.

После этой игры — играли на квартире Саддуллы — Снегирев пошел с Бебкой. Ноябрьский ветер гнал по Буйнакской капли дождя вперемешку с мелким песком, забытые после праздника флаги гулко хлопали. Оба молчали, но на углу Дохадасева, когда после нескольких безуспешных попыток они наконец прикурили, Снегирев задал неожиданный вопрос:

— Ты скольких убил, Абрам?

— Одного, одного — это точно, — ответил Бебка. — А ты?

— Я-то наверное многих. Сверху разве подсчитаешь...

Лицо-то своего помнишь?

— Да это был наш полковой особист, — сказал Бебка, и Снегирев остановился.

Бебка сделал несколько шагов, обернулся.

— Точно так, наш особист, — продолжал он, возвращаясь и беря Снегирева за замок молнии на кожаной куртке. — Я из балки, с пацаном одним вместе, убило его потом, на дорогу вышел, а он мне: «В тыл драпаешь? Где твоя рота, морда жидовская? К мамочки, рыбу фиш покушать захотел?» Я и выстрелил...

Снегирев попытался что-то сказать, но Бебка так тряхнул головой, что мокрая прядь слетела с лысины и свесилась до воротника плаща.

— Мне пацан мой, убило его потом, нога у него была простреляна, много крови потерял, кричит: «Стреляй шофера!», да тот уж развернулся и со страха в Николаевку обратно...

Снегирев взгляделся в Бебкино лицо: губы его дрожали, на носу висела большая капля, отросшая щетина на впалых щеках казалась серой.

— А в Николаевке уже немцы были, понимаешь, — сказал Бебка, ловя Снегиревский взгляд, — немцы... Я кричал ему: «Стой, дурак, куда?», в воздух стрелял, бежал за ним... — он так плотно застегнул молнию, что слегка прищемил Снегиревский двойной подбородок, — ...куда там! Пацан мой, с ногами который, даже подумал, что я его бросил, тоже кричать начал... Цирк, цирк, одним словом!..

Следующая игра не состоялась: Снегирева арестовали в среду, прямо на работе. Начальник торга, зная, что Снеги-

рев не расколется, кричал больше всех, требовал для такого взяточника, как Снегирев, самого сурового наказания.

Когда Снегирев, отсидев шесть лет, вышел по амнистии, Бебки уже не было в живых – утонул, купаясь в шторм. Выброшенное на берег тело опознал Миша, а на вскрытии, на котором присутствовал Саддулла, было установлено, что левое легкое практически не существовало.

Примерно через месяц после Бебкиных похорон на веранде появилась маленькая отцветшая женщина. Она держала за руку худого мальчика в белой рубашке с пионерским галстуком, а в другой руке у нее был кусок местной газеты с крохотным некрологом о Бебкиной смерти, мятый, в пятнах от лопнувших сочных слив. Женщина говорила очень быстро, словно захлебываясь, путала слова. Сливы она купила на рынке, Бебке приходилась лагерной женой, а худой мальчик был Бебкиным сыном: это было все, что Миша понял. Он спросил у женщины, почему она не приехала раньше и почему Бебка не разыскивал ее, и та ответила, что раньше была замужем, а Бебка просто не знал, что у него есть сын.

Прежней семьи уже не существовало. Поскрипывая новым протезом, Миша в задумчивости ходил по веранде, неуклюже огибая пустые стулья, будто на них кто-то сидел. Женщина плакала внизу на скамейке, ее утешала Юлькина жена, которая приехала с дочкой на лето из Москвы, мальчик украдкой взял с этажерки коробочку с игрой «пятнадцать» и тихо передвигал квадратики длинным пальцем с обрызженным ногтем. Пришедшая с работы Мишина жена ни о чем не спрашивала, только всплеснула руками при виде мальчика и налила ему большую тарелку борща.

Они сходили на кладбище. Идти было далеко, новое кладбище располагалось над городом, по соседству со старым мусульманским, и, если смотреть от дороги, казалось, что белые надгробия с чалмой поставлены вперемежку с увенчанными звездой пирамидами, серыми плитами и наспех сделанными памятниками. Дул горячий ветер со стороны моря, выгоревшая трава шелестела, прижималась к потрескавшейся земле. У женщины по краю черного платка шел узор из черных же роз, углы платка были длинные: она то связывала их между собой, то распускала узел. Над Бебкой была обыкновенная плита без надписи. Женщина положила на плиту цветы и встала рядом. Илья посмотрел на нее и

сказал, что записался в очередь на памятник. Женщина кивнула, а на обратном пути купила на базаре яркие джурабки.

Через пару дней женщина собралась навестить сестру, жившую в Баку. Проводить ее пошли все. На вокзале она все время целовала сына, в паузах между поцелуями всхлипывала: «Абрам Исаевич!» и плакала. От поцелуев мальчик вяло уворачивался, старался держаться поближе к Мише. Илья с отсутствующим видом нес на руках Юлькину дочку, а сам Юлька тащил чемодан. Поезд тронулся, и мальчик заплакал. Миша посмотрел на него, на женщину, беззвучно разевающую рот за стеклом вагонного окна, положил на коротко стриженную голову племянника свою ладонь, прижал его к себе.

2. ЛИДА

У тебя есть мальчик? – спросил Владимир Павлович, присаживаясь рядом.

- Есть...
- Ну и как ты с ним?
- Хорошо...
- Любишь?

– Люблю... – ответила Лида и закрыла глаза, чтобы не видеть все более приближающееся лицо Владимира Павловича, загорелое, гладко выбритое, полно- и ярко-губое, ясно- и голубо-глазое, мужественное, открытое, красивое. Из рта у Владимира Павловича пахло мятой, но запах мятных лепешек не мог перебить глубинную, внутреннюю вонь. «Это от занятости, всухомятку питается, испортил желудок, печень, почки, кишки...» – подумала Лида. Владимир Павлович очень часто, жарко и со свистом дышал. «... и сердце испортил, легкие, горло...» – подумала Лида, и, хотя служба ее официально началась примерно через полгода после того, как Владимир Павлович, путаясь в подтяжках, разложил Лиду на уютном диванчике в комнате для отдыха за кабинетом, сама она вполне справедливо исчисляла стаж именно с того памятного момента.

Поначалу воспоминания о боевом и, правду сказать, неожиданном поведении Владимира Павловича, горчили,

но, как известно, память тела недолговечна, горечь выветрилась, да свято место пусто не бывает, и вместо одной появилась другая: Лида, часто в особенности почему-то во время чистки зубов, вспоминала снисходительную интонацию Владимира Павловича, этакое его не серьезное отношение – «Мальчик есть? Любишь? Хо-роший? Любишь? Хо-о-роший?» – и ей становилось неловко, так неловко, что она замирала в неподвижности, с щеткой в побелевшем кулаке. Но и эта горечь не так уж долго мешала Лиде совершать гигиенические процедуры: по постепенном увеличении стажа Лида обрела способность в простых и внятных выражениях объяснять вещи и посложнее, чем какая-то там интонация, и, выбрав объяснение, что Владимир Павлович был с нею таким из-за дистанции, их разделяющей, вроде бы успокоилась.

Однако справедливости ради следует отметить, что обучившаяся трактовать, используя материал передовых, прогрессивно ориентированных общественных наук, все и вся, Лида тем не менее обычно терялась, когда ей – а это, как ни странно, случалось! – требовалось разобраться в перипетиях своей собственной жизни. Объяснив Владимира Павловича, Лида тем не менее не могла непротиворечиво объяснить саму себя. Как она тогда начинала мучиться: ей казалось, что твердая почва уходит куда-то из-под ног, а, с другой стороны, ей было неимоверно стыдно минутной, липкой слабости.

Она была ухом, одним сплошным, хорошо, добротно, с учетом последней моды, но без вызова, на казенные дотации упакованным ухом, и временами ей и в самом деле казалось, что слышит она всем телом и что все тело ее,зывающее вполне определенное влечение, принимающее ею без глупого ханжества, порождающее плохо скрываемое стремление сделать с ним (с телом) поскорее некоторые эволюции в горизонтальную плоскость и – уже в ней, приобретает форму ушной раковины. Такова была ее работа – слушать, слушать, слушать, и слушала она прекрасно.

А ведь раньше она и не подозревала о том, что все ее разнообразные способности проявятся в этой одной, в ее случае особенно ценной, так как выслушав и запомнив, а потом поставив последнюю точку в отчете, она навсегда забывала все, что слышала. Но правильно говорят – истин-

ная педагогика состоит в обнаружении, раскрытии, развитии ведущего таланта, в нужном случае – за счет других, менее важных. Ее случай был именно таким. Правда, других талантов ей бывало жаль. Другие были более естественны, их развитие, пусть самое безрассудное, даже доведение их до крайности, все равно не смогли бы превратить Лиду в некое подобие магнитофона с последующим автоматическим стиранием записи, как это получилось при развитии способности слушать. Например, она обладала особым, при ее небольшом росте и несколько коротковатых, но удивительно изящных и стройных ногах, редким дарованием юрко продвигаться в толпе за указанным ей человеком, продвигаться незаметно для этого человека, приближаясь к нему, почти касаясь его стоящей торчком маленькой грудью, отдаляясь от него так, что казалось – вот сейчас он уйдет, растает, растворится среди других людей, приближаться вновь, да при этом вести переговоры по портативной радио так четко и, в то же время, так незаметно для окружающих, что создавалось впечатление, будто она напевает, мурлыкает себе под нос незамысловатый мотивчик, песенку о романтической любви, потряхивая в такт милыми куделечками.

Но и этот дар оказался лишь второстепенным. Приходилось выбирать и выбрав – жертвовать. Как человек способный, с трепетом наблюдающий, гордо чувствующий в себе набухание, обещающее вырваться в настоящие таланты, она была готова к жертвам и жертвовала (начиная со случая с Владимиром Павловичем) без ненужных колебаний, многим.

Слушание было одной из жертв. Все же лицо ее постепенно стало бесстрастным, его словно покрывал толстый слой косметики, но как ошибся бы тот, кто так бы подумал: не косметика, а внимание, внутренняя устремленность к источнику звука делали его таким. А что касается Лидиного тела, то оно все больше и больше теряло пластичность, приобретало способность вдруг, в самых замысловатых позах замирать, тем самым сводя к минимуму помехи, а жесты ее становились все больше похожими на действия манипулятора. Подобная метаморфоза поражала всех, не только Лидиных подруг и друзей, не подозревавших, кстати, о той стезе, которой она себя посвятила, а и ее сотрудников, коллег, которые, с одной

стороны, не могли понять, каким образом за удивительно короткий срок из бойкой хохотушки Лида превратилась в столь интересный манекен, внушающий тем не менее страх полуприкрытыми глазами, плотно сомкнутым ртом, бесцветной речью, походкой настолько прямой, как будто она идет по только ей видимой струне, с только ее ощущаемым кувшином на голове, и настолько бесшумной, что хотелось засвистеть, затопать ногами, требуя: «Звук!..»

И муж Лидин, тот самый предмет мнимого интереса Владимира Павловича, ставший ее мужем вскоре после первой жертвы, а затем и коллегой (чем жертвовал он – неизвестно), не переставал удивляться своей жене, которую не было слышно ни на кухне, ни в постели, ни в ванной: когда она мылась, то вода шумела так, будто на ее пути нет никакой преграды в виде Лидиного тела, когда она обнимала его, то он не слышал ее дыхания, и простыни не шуршали под нею, когда она готовила, то даже шипения масла или булькания не доносилось: он входил – обед стоял на столе, сидела Лида, смотрела на него, он пугался и ел, нарочно чавкая, нарочно, как в постели он нарочно стонал, кряхтел и подывал, избегая, однако, облекать свои, постепенно убывающие чувства в слова...

У них родился мальчик, тихое, бесцветное существо. Потом девочка, нежная и тихая, словно молодой, клейкий листик, и муж посвятил себя, вернее, всю ту часть себя, которая оставалась от работы, детям, и становился сам тихим, как и они. Если же дети вдруг начинали несмело пошумливать, он быстро заставлял их угомониться, показывая пальцем на Лиду, бесшумно переворачивавшую страницы уже разлохмаченного первого тома Джека Лондона, и шепча: «Мама отдыхает!...»

Потом с Лидой случился первый прокол: слушая в баре гостиницы, Лида заснула с открытыми глазами, с бокалом в руке, и храл ее, неожиданно громоподобный, так всех рассмешил, что серьезный разговор, ради которого она здесь и сидела, прекратился на полуслове и перешел на футбол. Второй прокол произошел в аэропорту, куда Лиду перевели из гостиницы и где она работала с ожидающими международных рейсов: там она заснула с большой шоколадной конфетой во рту, и толчки храла совпали с волнами коричневой жижици, изливающейся из потерявшего твердость Лидиного рта.

Она обратилась к врачу, но тот не нашел ничего серьезного, посоветовав на всякий случай побольше бывать на свежем воздухе. Лида начала гулять с детьми и мужем по вечерам, но как-то заснула на ходу и врезалась в телефонную будку. Она спала, пока ждали «скорую», спала в «скорой», спала в госпитале, демонстрируя полнейшую бесчувственность, такую, что на ней сэкономили новокаин, но Лида хрюкала с такой мощью, с такой страстью, что держать ее в палате не представлялось возможным, и ее положили в коридоре, возле лестницы.

Муж, и сам начавший было засыпать на ходу, что, впрочем, не так было заметно при его кабинетной работе, в связи с Лидиной таинственной болезнью встрепенулся на время, засуетился, перевез детей к матери и стал каждый вечер ездить в госпиталь, где, задеваемый каталками и бедрами сестер, сидел возле койки, несмело и неслышно мял пакет с гостинцами, неподвижно смотрел на бесстрастное лицо жены. Лида все время спала. Кормили ее через зонд. Диагнозы менялись каждый день, пока старичок-профессор, снизойдя до младших офицеров и отменив все предыдущие назначения, не определил, что имеется некоторое нервное истощение, назначил курс всевозможных лекарств и процедур, приказал готовить больную к операции по удалению полипов. Во время операции, ярко-освещенная, с карцантом в ноздре, Лида, словно в насмешку над профессором, чуть не испустила дух, причем лицо ее, перед этим последним, но так и не совершенным актом жизни, перестало быть восковым, сморщилось жалобно, и вся бригада, судорожно возвращавшая Лиду на этот свет, едва удержалась от слез сопереживания.

Ее выписали в удовлетворительном (так было сказано в эпикризе) состоянии, комиссовали со службы, посадили на инвалидность, и талант ее, несомненно определенным образом связанный — каким, никто не знает, да, наверное, и не узнает никогда, — с ее патологической сонливостью, стал никому, абсолютно никому не нужен. Муж получил новый чин и повышение в должности. Вечерами неизменно раздобревшая Лида сидит на балконе и вяжет. Заключая, хочется подчеркнуть, что никогда — ни до, ни во время болезни — Лида не видела снов.

3. ЧЕТЫРЕ ДЕВЯТКИ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ

1

Если зависть, любовь и голод крутят колесики, то направление движения машинки задается числами. Однако, будучи как бы внешними, числа — числа и только они! — определяют, и откуда берутся, и куда уходят вертящиеся колесики, что они, как и почему, более того — устанавливают, зачем они. Таким образом, числа управляют всем и вся, только числам понятным — только им! — образом маркируют все колесики без исключения, а любое колесико, решившее узнать свое число, дабы следовать только ему, и решившее постигнуть, что значит число вообще и его, колесика, в частности, ни черта не поймет, да и следовать будет не оно само — число, именное число этого самого возомнившего о себе колесика, тащит, тащило и будет тащить его за собой, оставаясь для колесика навсегда тайной.

2

Лиза, колесико с тонкими икрами, немного жестковатыми от лака волосами, ставшими чуть ломкими от предыдущих — пока Лиза не выбрала действительно очень идущий ей цвет — покрасок, и с длинными ресницами, никогда не пыталась проникнуть за покров тайны числа и никакому из чисел следовать не собиралась. Просто Лизе нравились числа, нравились все, даже мнимые — такие странные! — числа, но больше всего — натуральные, до пяти. Число четыре — в особенности. Если разобраться, то у лизиной наклонности к четырем были свои, лизины причины. В числе три ей не хватало устойчивости, три слишком было стремительно, но почему-то прихрамывало, три проговаривалось наспех, как и один, число слишком претенциозное, слишком гордое, потому — одинокое. Пятьказалось Лизе слишком сложным, но одновременно немного смешным. Четыре же стояло крепко, казалось идеальным, при счете на четыре Лиза отдыхала, как на два, и оба эти числа произносились чуть нараспев, как

впрочем, и все четные. Но четыре было любимым. От любимых же, как известно, жди неприятностей, причем самых неожиданных. Если б Лиза хотя бы догадывалась, как поведет себя четверка, она бы отказалась от своего чувства, она обратила бы взгляд на другое число — например, на единицу! — и увидела бы в ней ту целостность и самодостаточность, которой нет у других чисел. И повиноваться, сообразовываться четырем Лиза вовсе не намеревалась: не она, казалось ей, шла за своим любимым числом, а число ее сопутствовало ей, за ней поспевало всюду, все вокруг нее обрамляло в четверичность. Так было с детства, и хотелось Лизе, хотелось всегда, с детства, одного — чтобы четверка ее не оставляла: некий искус был в том, что у нее, в отличии от других, от всех, у кого хранителями будто бы были бестелесные, но с человеческими чертами существа, витавшие в беспредельной вышине и в нужные момент спускающиеся к хранимому, что у нее хранителем, оберегателем, обустроителем было число.

3

Так было и тогда, когда в первый раз приехал Геннадий, который, войдя в лизину жизни, стал лизиным четвертым, и Лизе представилось — не сразу, конечно, — что больше не будет никого, что устойчивость обретена, что выстроен квадрат, что завершенность достигнута.

4.

В первый свой приезд он говорил несколько торопливо, будто — захлебываясь, а улыбаться предпочитал, губ не разжимая — зубы его были порченными. И искал он тогда не Лизу, а ее старшую сестру и долго переспрашивал: «Как умерла? Ты шутишь, да?»

5.

Какие тут шутки!

Они встретились после лизиной работы – она тогда стояла за прилавком в парфюмерном отделе, – и Геннадий долго расспрашивал о лизиной старшей сестре, качал головой. Пахло от него чем-то таким, что никогда в лизин универмаг не поступало, когда он поворачивался или брал Лизу под руку, куртка его поскрипывала, ботинки были темно-вишневыми, с дырочками, блестели. Они прошли от универмага до метро – четыре автобусных остановки. Фонари горели через один, темнота поднималась от влажной земли, окутывая серые стволы берез и их желтеющие кроны. Говорить с этим Геннадием о своей старшей сестре, о ее самоубийстве Лизе не хотелось, тем более – не знала причин, которые заставили сестру съесть три упаковки снотворного и открыть газ. Геннадий же напирал как раз на причины, его – как Лиза поняла, – не интересовало лизина старшая сестра сама по себе, его интересовало «Почему?» У метро Лиза стала прощаться, повернулась к Геннадию так, что в ее темно-голубых, почти синих глазах отразился свет буквы «М». Геннадий взял ее руку в свою, в своей руке задержал, и по его лицу разбежались очень шедшие ему морщинки. «Может, поужинаем?» – спросил Геннадий. Раньше никто и никогда не приглашал Лизу на ужин, в этом вопросе было что-то не отечественное, что-то чужое, что-то манящее. Лиза пожала плачами, а Геннадий, шагнув к краю тротуара, поднял руку: таких, как он, с поднятыми руками, было немало возле метро, но такси подъехало именно к нему.

Ко второму его приезду Лиза собиралась учиться на вечернем – экономика, организация производства, – и работала секретарем в малом предприятии: что-то где-то производили – что-то никому не нужное, устаревшее, но трудоэнергоматериалонаукоецкое, – а малое предприятие лизино пыталось это что-то продать с особенной для себя выгодой. Лиза хотела стать хорошим специалистом – отец твердил ей постоянно: «Чтобы ни происходило, надо быть мастером своего дела!» – хотя сам никаким мастером не был,

а уныло уходил куда-то по утрам составлять длинные отчеты, а к вечеру возвращался, неся с собой затхлость, табачный запах и запах съеденного за обедом беляша. В доме пахло коврами, шторами, покрывалами, пахло готовкой: вода в большой кастрюле вечно закипала на плите, кость с остатками мяса лежала на разделочной доске, на большой тарелке — капуста и морковь. Мать лизина всегда варила щи.

8

Лиза ждала его звонка, ждала все те несколько месяцев, пока он перевозил свою жену и ее сына от первого брака из Мневников, Москва, в Куинсборо, Нью-Йорк, что, как Гена ей объяснил, было делом тягомотным. Гена заехал за ней на работу. Куртка у него была та же самая, только — потертая, зубы торчали через один, но уцелевшие уже были хороши. Третьим в машине был Боря, хозяин машины, который сидел на заднем сиденьи, говорил без умолку, и Лиза — Боря обращался к ней «Элизабет» — затылком чувствовала, что все, о чем говорит Боря, говорится для нее. Они поехали сначала в театр — у Бори был знакомый администратор, — потом в ресторан — у Бори был знакомый официант, — и по дороге от театра до ресторана выяснилось, что в том, чем торговало лизино малое предприятие — выяснилось совершенно случайно, Лиза даже не знала как правильно произносится название этого элемента, — содержится Лубентий. «Так-так, — проговорил с заднего сиденья Боря, — один грамм — сорок тысяч долларов, если, конечно, основной состав элементов...». Гена быстро оглянулся через плечо: «Потом об этом..».

9

В первый приезд Геннадия Лиза была с ним в квартире его родителей. Родители смотрели телевизор в большой комнате, Геннадий их отвлек, а Лиза проскользнула в его комнату — узкую, пыльную, заставленную сумками и чемоданами. Перегородки были тонкими, почувствовав, что Лиза вот-вот закричит, Геннадий затолкал ей в рот угол подушки — Лиза так вцепилась в подушку, что потом долго

доставала изо рта горькие перышки. В туалет он ее не выпустил — родители, тем не менее, спали давно, — принес большую банку и отказался отвернуться.

10

После ресторана Гена высадил Борю у стоянки такси — ни одной машины там не было, — и они с Лизой — «До встречи, Элизабет!» — так попрощался Боря, — поехали в квартиру его жены. Квартира была практически пустая: никому не нужный комод, пара стульев, огромная кровать — и все. Гена сразу начал звонить кому-то по телефону — «Бизнес, — сказал он Лизе, прикрывая ладонью телефонную трубку, — извини!» и она по его разговору поняла, что бизнес у Гены не самый мелкий: речь шла о целых пароходах какого-то сырья. В первую ночь — по второй свой приезд Гена пробыл около двух недель, — Лизе было еще нельзя, но палец Гены оказался вертким и проворлив, а рот Лизы — то мягок, то тверд, и кричал уже Гена, крика своего впрочем, подушкой не заглушая. «Ты меня зацепила,» — сказал наутро Гена, улыбаясь щербато и извлекая Лизу из-под простыней: ей хотелось понежиться, но надо было спешить на работу, а у него самого была масса дел — и по бизнесу, да и тещу надо было готовить к отправке.

11

По просьбе Гены Лиза разузнала насчет Лубентия, причем сделала это очень осторожно. Она не стала обращаться к лицам, обличенным в малом предприятии властью, а поговорила с Владиком, человеком несвежего вида, патлатым, со следами фурункулов на щеках и шее, который в малом предприятии выполнял некие неясные для Лизы функции, просиживая долгие часы за компьютером. Не отрывая взгляда от дисплея, но страстно вращая вечно красными глазными яблоками, Владик поведал Лизе много занимательного. Это был почти идеальный для числа четыре элемент, в котором почти все соответствовало четверке, было ей кратно, разве что в относительной атомной массе,

144,444, впечатление несколько портилось навязчивой единицей, разве что располагался он в шестом периоде, но зато — в четвертом ряду, разве что число электронов на первой и последней, шестой орбите, четырем кратно не было, но, как объяснил Владик, такова уж вредная их, электронов, природа и против нее не попрешь. Кристаллическая решетка Лубентия — Владик запустил графическую программу и продемонстрировал Лизе эту решетку, — была, по выражению Владика, — четвертична, а сколы — вот загадка Творца! — имели четыре на четыре углов. «Зачем тебе это?» — спросил Владик, вновь возвращаясь на дисплее к бесконечным таблицам и прогоняя по ним курсор, а Лиза не ответила: она была Лубентием зачарована.

12.

Когда Генка приехал в третий раз, зубов у него был полный комплект, куртка была новая, но того же самого покроя и цвета, а Лиза уже проучилась почти весь первый семестр. Осень выдалась холодной, грозила вот-вот перейти в раннюю зиму, время летело и мчалось, но Лизе не верилось, что от второго приезда Гены прошло целых полгода: это было как один день, причем день тяжелый, суетливый. Имевший поручение за Лизой приглядывать, Боря был не особенно навязчив — возможно, он, по старой памяти, еще боялся своего хозяина, который не приехать не мог: оставались еще родители, да и квартира тещи была еще не продана, — но даже борины редкие звонки и приглашения провести где-нибудь вместе вечерок выводили Лизу из себя. Ей претила борина проникновенность в голосе, настойчивость, с которой Боря пытался узнать, как ее дела, детали, которыми он уснащал рассказы о жизни своей. За полгода Лизе удалось встрети с ним избежать и увиделись они, когда в аэропорту, толкаясь, с двух противоположных сторон, приблизились к стеклянной двери, из-за которой и появился Генка. Лиза повисла у него на шее, а Генка из-под Лизы протянув руку Боре, тут же ее отдернул назад: Лиза начала заваливаться на сторону, на каких-то низкорослых мужичков, хором спрашивающих всех прибывающих: «Какой рейс?»

Лубентий достал Владик – два слиточка по сорок грамм каждый. Лизе не терпелось поиграться ими, но Владик был непреклонен: сначала деньги, причем встречаться с Генкой он не хотел, а передачу был готов осуществить через Лизу. «Спроси, сколько он хочет», – сказал Генка. Лиза спросила. «А! – сказал Генка. – А-а! Спроси – чистый?» Лиза спросила и это. «Четыре девятки после запятой», – ответил Владик.

Все сотрудники малого предприятия – и Лиза в том числе, – после работы выходя из располагавшегося на первом этаже семнадцатиэтажного дома малого предприятия, вереницей шли по тропинке через пустырь к троллейбусно-автобусным остановкам на шоссе, сразу за длинной, проходившей над железнодорожными путями эстакадой. Владик уходил в другую сторону – в одиночестве, ссугулясь, он шел вдоль гаражей, проходил в просвет между ними, под лай сторожевых гаражных собак доходил до железнодорожных путей, выждав удобный момент – электрички к вечеру метались там туда-сюда, туда-сюда, – через пути перебегал и уходил, пропадал из виду на поднимавшемся к недавно выстроенным, одинаково бело-коричневым домам склоне холма, домам в сумерках зыбким, в темноте ранней зимы – и вовсе, казалось, невидимым – квартал-новостройка почтено-то заселялся очень медленно.

Лиза думала, что в третий приезд Генки они будут вместе в квартире его тещи; в четвертый – в квартире его родителей, а про пятый и последующие думать уже боялась. Она оказалась права только в отношении квартиры тещи: Генка обделывал дела быстро, споро, отправив родителей, их квартиру продал тут же, а, получив деньги за квартиру тещи, с новым владельцем договорился, что в тещиной квартире проживет до своего отбытия. Там, на кухне, он долго считал деньги. Измаявшаяся в ожидании Лиза, кута-

ясь в пахнувший чужим, тещин, заношенный халат, заглянула на кухню и была поражена тем, что доллары тоже бывают мятymi и грязными. «Генка, — сказала она, присаживаясь на холодную табуретку, — возьми меня с собой...» «Куда? — спросил Генка, плюя на кончики пальцев и вновь начиная глухо шелестеть долларами. — Куда?» У Лизы начало пощипывать в носу. Генка собрал часть денег в плотную пачку, пачку скрутил в тугую трубочку. «Вот, — сказал он, — отдашь ему..». «Но он же говорил, что...» — попробовала возразить Лиза, но Генка, поковыряв в зубах зубочисткой, промычал что-то невнятное. Потом Лиза долго плакал, Генка ее долго утешал, смыкался ее слезы тонкими и горячими губами. Пришедший утром новый владелец квартиры — Генка умчался по бизнесу рано, — приняв Лизу за владелицу прежнюю, настойчиво высрашивал у нее — не слишком ли громко шумит унитазный бачок. «Не слишком», сказала ему Лиза и предложила: «Попробуйте!..» Новый владелец попробовал — спустил воду и удовлетворенно покивал: вода набиралась в бачок тихо-тихо, последние капли проникали в бачок с нежным шипением, завершившимся окончательным «кап-кап-кап-кап».

16

Она боялась потерять деньги. Если б она их потеряла, то, чтобы отдать, ей пришлось бы работать и копить, отказывая себе абсолютно во всем, даже — отдавая свою зарплату целиком, ровно сорок четыре года, и расплатилась бы она в свои шестьдесят четыре.

17

Лиза сидела в квартире генкиной тещи, ждала, когда Генка за ней заедет, чтобы ехать на встречу с Владиком — в малом предприятии, с начальством она договорилась, что у нее отгул, — и не спускала взгляда со скрученных в трубочку долларов. Спускаясь по лестнице — Генка посигналил снизу, — она сжимала трубочку потными пальцами в кармане темно-силеневого пуховика. В машине с Генкой сидел Боря и оба они смотрели, как Лиза подходит к машине и улыбались с таким

видом, будто только что один рассказывал другому сальный анекдот. Лиза села на свое обычное место — на переднее сиденье, — рядом же с Борей, на заднем сиденьи, располагался здоровенный ребристый металлический ящик с иностранными наклейками и затейливым никелированным замком.

18

К малому предприятию они подъехали уже после окончания рабочего дня. Было промозгло, с неба сыпался мелкий, колючий снег. Люди словно короткими перебежками двигались или к остановкам на шоссе или — от них. Лиза поднялась по стальным ступенькам к двери в малое предприятие и позвонила. Открыл охранник, а из-за его спины выглядывал Владик. «Ну, принесла?» — шепотом спросил Владик, когда они с Лизой вошли в комнату, где стоял владиков компьютер. «Принесла, но сначала дай один кусочек. Они проверят», — ответила Лиза. Владик взъерошил волосы и ему на плечи посыпалась перхоть. «Хорошо», — согласился Владик, запустил руку в карман пиджака и вытащил целлофановый пакетик с похожим на таблетку слитком. Лиза вернулась в машину, отдала пакетик Генке. Генка зажег в машине свет, поднес пакетик к тускло светившему плафончику и хмыкнул. «Давай сюда, — сказал Боря. — У меня все готово», — металлический ящик был раскрыт и в нем зажигались и гасли разноцветные лампочки. Генка передал пакетик Боре, тот раскрыл пакетик, достал слиток, поскреб его какой-то палочкой, а потом вставил палочку в располагавшееся на неком подобии панели гнездо. Ящик издал похожий на бульканье звук, Боря застучал пальцем по клавишам. «Да, — сказал он наконец, — это оно...» Генка и Лиза, стукнувшись лбами, перегнулись на заднее сиденье и увидели горящие в маленьком окошке цифры: 9999. «Оно!» — еще раз сказал Боря, а Генка толкнул Лизу локтем: «Отдай ему деньги и неси второй. Я беру...».

19

У них оставалась одна последняя ночь — генкин самолет вылетал рано утром, — и Лиза была уверена, что больше она никогда Генку не увидит. Боря, распив с ними бутылку

шампанского, уехал к себе домой, чтобы заехать в четыре утра. Генка достал вторую бутылку, разлил по пластиковым стаканчикам, Лиза выпила и окончательно опьянялась. Она плакала и смеялась. Она порывалась уйти и молила Генку взять ее с собой, непременно — завтра утром. Он говорил, что прилетит еще, что что-нибудь придумает, что он ее не оставит, что лучше нее нет и быть не может, но обстоятельства сильнее его, что обстоятельства таковы, что необходимо смириться, смириться и ждать. Лиза кусала генкину волосатую грудь и царапала его спину, извиваясь, била его коленями и локтями, чуть не открытила ему ухо. Он терпел, не защищался, не говорил, что следы от зубов и ногтей заметит жена, и Лизу понесло — у нее началась истерика. Чтобы ее успокоить, Генке пришлось отвесить ей пару пощечин, пришлось сходить на кухню и принести воды, но Лиза смыла стаканчик, залила водой простыни, и Генка ударил ее еще раз, ударили сильно, полусжав пальцы в кулак. Лизин рот наполнился кровью: Лиза прикусила язык, а внутренняя поверхность щеки покрылась садняющими язвочками.

20

К тому моменту, когда приехал Боря, Лиза совершенно успокоилась. Не от удара, не от вида текшей изо рта крови. Ей вдруг стало так жалко Генку, так стало за него почему-то страшно, что плакала она теперь другими слезами — крупными, редкими, очень горячими.

21

Боря отвез Генку в аэропорт. Лиза, раньше говорившая, что провожать не поедет, поехала тоже. Она уже не плакала, к Генке льнула, была покладиста. Боря пожал Генке руку, похлопал того по спине и тактично отошел. Целоваться Лизе было немного больно, но она стерпела, и Генка, махнув на прощанье, из таможенного коридора проследовал к багажным стойкам. «Мудак!» — услышала Лиза у себя над ухом, обернулась: «мудака» вслед Генке запустил Боря.

Боря привез Лизу к себе, заставил в свою квартиру подняться. Лиза была как в тумане, села в кресло, покорно приняла от Бори кружку с кофе. «Твоя доля», — сказал Боря и положил рядом с Лизой пачечку долларов. «Доля? За что?» — изумилась Лиза, и Боря рассказал как они с Владиком — а получалось — при посредничестве Лизы, — провели Генку. Это была тонкая, тщательно продуманная, безупречно выполненная операция. Скрупулезно подобранные эксперты разыгрывали восторг при упоминании Лубентия, Лубентия, которого не существовало в природе, на факс, который Генка отослал в Штаты, чтобы прояснить конъюнктуру на Лубентий, получен был ответ с просьбой достать Лубентия как можно больше и с заверениями, что на рынке Лубентия сейчас ситуация самая благоприятная. «Как же так, — восхлинула Лиза. — Мы же с ним вдвоем видели таблицу Менделеева!» Боря захохотал: таблицу — даже не одну, а две, большую и маленькую! — подготовили они с Владиком — и ту, которую Генка с гордостью повесил в квартире тещи и которая теперь стала собственностью озабоченного унитазным бачком нового владельца квартиры, и ту, которую Владик вклеил в учебник по химии для девятого класса. «А анализатор? — словно цепляясь за соломинку спросила Лиза. — Анализатор же был, был и показывал четыре девятерки!» «Ага! — Боря просто заливался. — Анализатор! Владик паял его целых два дня, а я искал коробку, ящик под фирму! Во как!» — и он, для Лизы неожиданно, выдернул ее из кресла, прижал к себе. Лиза спросила в чем дело, а Боря, еще раз назвав Генку мудаком, сказал, что Генка уступил Лизу ему, Боре, уступил за сумму настолько мизерную, что даже, чтобы Лизу не обидеть, сообщить ее Боря не может. Лиза попыталась вырваться, но Боря держал ее крепко. «Ты повязана, киска, — сказал он. — Не советую рыпаться. Будешь со мной — не пожалеешь. Я ведь лучше твоего. Я лучше всех. Ты в этом быстро убедишься...». Щека у Лизы болела, от слишком крепкого кофе кружилась голова, Боря тяжело дышал. Вырваться не было никакой возможности, кричать было бесполезно. Она зажмурилась. Боря ее поцеловал, поцеловал нежно, как бы пробуя лизины губы на вкус. «Он всех всегда подставлял, — сказал Боря чуть отстраняясь. — Твою сестру тоже. Ты не

знала? Ее же убили. Понимаешь?» Лиза кивнула: ей хотелось, чтобы все кончилось быстрее, и Боря, по своему понявший ее кивок, становясь лизиным пятым, был – видимо, от напряжения последних лубентированных дней, – быстр.

23

Владик, при встречах с Лизой, смотрел как бы сквозь нее. Она чувствовала, что спрашивать Владика о чем-либо бесполезно и только изредка просила поиграть на компьютере, на что неизменно получала владиково согласие. Где-то в феврале ей – стараниями Бори, – предложили место в совместном предприятии. В малом предприятии, когда Лиза подала заявление об уходе, огорчились, просили остаться, обещали прибавить к зарплате, но Лиза – вернее – Боря, уходить решила твердо. Заявление подписали, Владик, на прощанье, подарил ей вычерченный на многоцветном принтере плакатик, в центре которого был вензель из букв «Л» и «В».

24

Весна – как и катящаяся к завершению многоснежная зима, – тоже обещала стать ранней. Она грозила наступить сразу, все вокруг растопить–разморозить, все вокруг пробудить. Правда, зима еще держалась, боролась, разражалась метелями и морозами, но чувствовалось – дни ее сочтены.

25

«Он меня бросит», – думала Лиза про Боря, но Боря не бросал. «Найдет другую», – думала Лиза, но Боря не искал.

26

После одного из посещений родителей Лиза заметила возле подъезда их дома – девятиэтажной башни, – машину с двумя молодыми людьми. Все было бы ничего, но возле

бориного дома стояла — может, та же самая, может — другая, — машина, и в ней тоже сидели двое двое молодых людей, которые курили и которым вроде бы было на все наплевать. А когда Лиза поехала в малое предприятие — получить недополученные при расчете деньги, — машина оказалось и там. Лиза сказала о машине Боре, но Боря ее высмеял.

27

Владика убили — Лиза была уверена, что убили, Боря же доказывал, что обкурившийся Владик или Владик, обьевшийся грибов, виноват был сам, — в начале действительно ранней и теплой весны. Владик якобы попал между двумя электричками, поскользнулся, упал. Тело было так изуродованно, что определяли, Владик это или не Владик, довольно долго. Когда определили, то и Лизу — она все же появлялась в малом предприятии: Владик снабжал ее программами и помогал в освоении компьютера, — вызывали и допрашивали. Лиза, понятное дело, ничего не знала, так сказала следователю, но следователь, как оказалось, копал глубоко. «Что вам известно о перепрода же Лубентия?» — спросил он Лизу напрямик, да еще с таким видом, что Лиза даже онемела. Видимо, лизина мимика следователю показалась подозрительной — он начал наседать, советовать чистосердечно признаться во всем. Лиза пришла в себя, сказала, что признаваться ей не в чем, набралась храбрости и спросила: «Что такое Лубентий?» «Вы в школе учились, девушка?» — был ответ следователя. «Училась», — призналась Лиза. «Что у вас было по химии? — продолжил следователь. «Пять», — призналась Лиза. «Ну, и как же вы не знаете, что такое Лубентий?» — с укором произнес следователь, раскрыл папку с надписью «Дело» и торжественно вынул из нее и положил перед Лизой таблицу Менделеева. На этой таблице, отпечатанной совсем недавно, в городе Петрозаводске, Лубентий был! Был, и Лиза тут же увидела его в четвертой группе, в шестом периоде, в четвертом ряду, увидела две жирные буквы «LB», и голова у нее закружила. «Ну, так что, девушка?» — следователь привстал со стула, стараясь заглянуть в глаза склонившей над таблицей

цей голову Лизы. – «Будем говорить?» «Мне.. – начала и запнулась Лиза. – Мне говорить не о чем. Я ничего не знаю. Я там только печатала на машинке. Я...» «Ладно, ладно! – следователь заметил, что Лиза готова заплакать. – Вас еще вызовут, еще с вами поговорят!» и, подписав пропуск, дав Лизе почти дойти до двери кабинета, добавил: «Советую, девушка, хорошо подумать. Это, с одной стороны, миллионы, а с другой – хорошие сроки!»

28

К известию, что Лубентий якобы действительно существует, Боря отнесся так, как Лиза и ожидала. Он посмотрел на Лизу насмешливым взглядом, покрутил пальцем у виска, сказал: «Они там что, все охерели?» «Я видела таблицу», – сказала Лиза тихим голосом. «Таблицу? Да это, наверное, владькина, одна из тех, что готовилась для Генки...» «Нет, – сказала Лиза. – таблица отпечатана уже после той истории...». Он подошел к книжным полкам, собираясь взять учебник химии, но того на месте не оказалось. Боря раскрыл энциклопедию, но в ней была статья о Менделееве, а таблицы не было. «Сейчас!» – бросил Боря и помчался к соседям, у которых были дети-школьники. Обратно он вернулся не жив, не мертв: Лубентий был обозначен!

29

«Это Владька, это он! – кричал Боря. – Он придумал зачем-то, что Лубентия нет, а сам, наверняка, сделал на нем большие деньги! Его и грохнули из-за денег!» «Нет, – отвечала Боре Лиза. – Нет, тут что-то другое..».

30

В четвертый свой приезд это был Глен, с зубами как жемчуг, в длинном, под цвет лизиных глаз, пальто, говоривший медленно, размеренно, как бы нехотя. Лизу он нашел в состоянии близкому к психотическому: незадолго до его приезда она нашла Борю – вышла всего-то на пятнадцать

минут за хлебом! – на полу с передавленной дверью шеей. Глен вставлял в свою речь много американских словечек и особенно любил те, которые оканчивались на «п» – трип, тип, шип, флип, фрип. Употребляя эти и схожие с ними по звучанию слова, Глен пытался Лизу утешить, пытался уверить ее, что происшедшее было не в действительности, а в каком-то вымыщенном ею мире. Ненастоящем. Лиза Глену не верила – он-таки проговорился, что своим нынешним благополучием – дом в хорошем районе, сын жены от первого брака в хорошей частной школе и всем прочим, – обязан Лубентио, цена которого за грамм была, конечно, не сорок тысяч, а в несколько раз больше. «Значит – Лубентий есть!» – подумала Лиза и медленно закрыла глаза, а Глену не осталось ничего другого, как выйти из комнаты и присоединиться к лизинным родителям – мама Лизы собиралась накормить Глена щами, папа – с Гленом выпить Гленом же принесенного итальянского красного вина. «Я люблю красное итальянское вино», – так или примерно так сказал Глен лизиному папе, доставая бутылку из шуршащего пакета. Без номера. Для любого колесика – и только для него! – самым обидным, если приглядеться по-пристальней, является прискорбный факт: в случае его, колесика, установки или долговременного сбоя, с вращением других колесиков ничего не происходит. Но и это даже не все! Самое, самое-самое обидное – машинка продолжает двигаться! Ну, а про то, что направление движения машинки задается числами и про все такое прочее уже, вроде бы, говорилось...

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Есть такая японская сказка. Шел горной тропою путник. Ночь была ненастная, выл ветер, гремела гроза, а у здешних мест была к тому же дурная слава. И вдруг при вспышке молнии увидел он, что на краю обрыва сидит девушка и горько плачет. Он подошел к ней, спросил, что с ней и чем он может помочь, а она повернула к нему голову, провела ладонью по лицу, и оно стало гладким, как яйцо. Демон! В ужасе кинулся он бежать, выбежал в поле, боясь остановиться, и вдруг увидел вдали огонек. Костер и люди вокруг костра! Он сел меж ними и, запыхавшись, стал рассказывать, как шел горами, встретил у обрыва девушку, которая горько плакала, как стал ее утешать, а она повернула к нему голову, провела ладонью по лицу...

— Уж не так ли? — спросил один из сидящих, провел ладонью по лицу, и оно стало гладким, как яйцо.

И путник умер от ужаса.

Кому надо доказывать величие и важность закона, который охраняет самое дорогое, что нам дано: жизнь, свободу и достоинство? Кто этого не понимает?

Да никто не понимает. Все больше и больше я в том убеждаюсь: само общество наше с его культурой, правовыми структурами, с его общественным мнением, потоком газет и журналов, неустанной работой радио- и телеканалов не только не понимает этого, но, как

**Ольга
ЧАЙКОВСКАЯ**

— родилась в Подмосковье. Окончила ИФЛИ, затем аспирантуру Института Истории АН СССР. Кандидат исторических наук. В 60-е годы дебютировала как прозаик и публицист. Автор ряда работ по русской культуре и многочисленных очерков на нравственно-правовые темы, привлекших к себе широкое общественное внимание. Печаталась в «Новом мире», «Известиях», «Литературной газете» и других центральных журналах и газетах.

видно, и не хочет понимать. Поразительный феномен социальной психологии: страна, в диких сталинских репрессиях потерявшая цвет нации и не сразу, но все же осознавшая глубину катастрофы; те самые люди, что в траурных митингах стояли над открытыми могильниками, где мертвые лежали на мертвых; те самые, кому открылась правда о следственных застенках и лагерях медленного уничтожения, – все эти люди вдруг потеряли интерес (недавно еще столь жаркий) к проблемам законности, как будто бы у нас все с ней благополучно.

Но ведь все знают: по-прежнему страшные дела творятся подчас за глухим забором, где пропадает арестованный и где власти практически по-прежнему бесконтрольны. Спросите любого гражданина страны – думаю, любой скажет: беззакония стали повседневностью. Все это знают – и словно бы не знают. Общественное сознание как бы упирается, не хочет ни знать о беззакониях ни, тем более, против них протестовать – оно как бы считает их неизбежным злом, в какой-то мере даже необходимым в борьбе с преступностью. И в этом его усердно поддерживают многие работники правоохранительных органов – соблюдая законность, преступления, мол, не раскроешь, преступника не поймаешь.

Знаем – и как бы не знаем... Это – двойственность сознания, давняя, привычная для советского человека раздвоенность. Она прочно сидит в его подкорке, отправляет кровь и не позволяет увидеть, что тут, в проблеме «неизбежного зла», все спутано – спутанно и нечаянно, по правовой темноте, и сознательно, нарочно по расчету.

Правовая наша безграмотность действительно ни с чем не сравнима. Мне недалеко ходить за примером: он мой собственный. Сколько лет занимаюсь я проблемами правовой практики, сколько видела судебных и следственных дел, казалось бы, приобретен некий опыт – и все же нынче я делаю для себя одно открытие за другим, одно другого удивительней. Так, недавно, занимаясь неким судебным делом, я решила «начать с начала» – выяснить, на каких основаниях был арестован подсудимый. Вопрос этот, разумеется, вставал передо мной в каждом судебном деле, и всякий раз юристы отвечали мне, что основанием для ареста послужили милиционские оперативные материалы. Они секретны. Я так привыкла к этим объяснениям, что мне и в голову не приходило взять кодекс и посмотреть, как же он формулирует соответствующую статью закона. Не странно ли, что все это так поздно пришло мне в голову? Но ведь вместе со мной к практике арестов на основании закрытых милиционских оперразработок привыкла вся наша правовая система. Между тем, нетрудно было убедиться, что в УПК, в статье, относящейся к аресту, нет ни слова о том, что он может быть произведен на основании оперативных данных милиции.

Однако к нашему стыду и вопрос о доказательствах, необходи-

мых и достаточных для того, чтобы лишить человека свободы, здесь тоже вообще не ставится. И потому на практике неприкосновенность личности, провозглашенная Декларацией прав человека, Конституцией и тем же УПК, может зависеть от того, какую информацию даст дядя Коля, рабочий подсобки, которому всегда не хватает на поллитра.

Арест без каких-либо требуемых законом доказательств вины! – такое «открытие» в любой стране стало бы подобно разрыву бомбы. Я написала об этом в «Литературной газете» (3.11.93, № 5). Написала я и о том, что стоит человеку день тюремы, особенно в кошмарных условиях наших следственных тюрем, о том, что ни в чем не повинные люди без суда подвергаются тяжкому наказанию.

Не только никаких взрывов – ни один лист газетный не шевельнулся, никакое самое робкое телевизионное эхо не отклинулось.

Второе мое «открытие» (я писала о нем в той же статье) было еще удивительней, поскольку касалось феномена времени, и без того загадочного, а в стенах следственного изолятора...

Человек сидит тут в условиях особого – тяжкого, тюремного – времени, другого у него нет. И вот это время для него останавливают, словно перехватывают ему дыхание, – думаю, вряд ли где-нибудь еще власти позволяют себе подобные дьявольские игры. Когда кончается следствие, заключенный знакомится с материалами дела, и, естественно, время, которое для этого требуется, всегда входило в общий срок содержания под стражей – тот срок, рамки которого ограничиваются законом – ведь человек-то под стражей! Однако новый закон (от 28 ноября 1989 года – то есть уже «демократический!») изъял это время из общего срока, и получилось: заключенный сидит, как и сидел: под стражей, а между тем время это удивительным образом стоит на месте (не зачитывается).

Может ум человеческий это понять?

«Тут нет ничего удивительного, – объясняют иные юристы, – когда гражданина осудят, весь срок предварительного заключения ему полностью зачтут». А если оправдают? Кто возместит ему погубленные месяцы и годы?

Но и это далеко еще не все.

Когда дело передано в суд и числится за судом, тюремное время тоже останавливают. И, бывает, надолго: иные процессы тянутся месяцами, даже годами – заключенный сидит, его срок не идет. Нередко дело отсылают на доследование, тогда срок включается (еще на месяц), а по истечении его дело снова направлено в суд и вновь остановилось время – годами тогда сидят люди и слепнут в тюрьме, и глухнут, и лысеют, получают инфаркты, инсульты (смертная казнь фактически). Я всегда дивилась нелепости и жестокости закона, и опять же только недавно пришло мне в голову заглянуть в УПК. И опять оказалось, что такого закона не

существует. Во всей Вселенной время идет; а для арестанта оно остановилось. Не по закону, а по нелепому и злому обычаю...

Так отступили мы в глубь веков, отползли в область обычного права, того самого, догосударственного, уходящего корнями в родоплеменной строй, в пещеры и шкуры. Как могли юристы страны подобное допустить? — взывала я в той же статье, — почему против подобной дикости не протестуют? Почему не делают запросов депутаты-законодатели?

Можно предположить, что после выхода статьи хоть один юрист подхватил эту тему или хотя бы просто на нее откликнулся? Ни один.

Хорошо, юристы и без меня все это знали, но ведь и те, для кого это не могло не быть потрясением, — не потряслись. Ни писатели, ни ораторы, столь речистые по всевозможным политическим проблемам, ни депутаты, так рьяно рвущиеся к микрофонам, ни священники, ни ученые — никто!

Что же это такое? Заговор молчания? Общая апатия?

Но ведь именно в тяжкие времена, в роковые, люди, особенно интеллигентные, и должны были бы, кажется, собрать свою волю, отстаивать жизнь — ведь она взыывает к гласности.

А гласность помалкивает. Мертвая тишина, хотя нетрудно понять, что речь идет вовсе не о каких-то частных правовых вопросах, но о коренных проблемах страны — о том, повторю, как защищены жизнь, свобода и достоинство ее граждан, любого человека. Ведь именно тут, в начальный период следствия, все и начинается. Именно от методов следствия в это время все и зависит — и в час ареста, и в дни и недели (месяцы и годы!) предварительного заключения.

Именно эта тема и будет нас сегодня интересовать.

1

Лет десять назад дело это было знаменито. Но, как читатель сейчас увидит, оно удивительным образом весьма актуально и сейчас.

В Смоленске и его окрестностях стали пропадать женщины, их потом находили мертвыми в оврагах и на свалках. Гнетущий ужас навалился на людей — что ни месяц, то новая страшная находка. С наступлением темноты мужья и братья встречали жен и сестер — но каково было возвращаться с ночных смен тем женщинам, у которых не было ни мужей, ни братьев? Три года искали убийц, сперва местными силами, потом прибыла бригада Прокуратуры СССР — найти не могли. И вот, наконец, в Смоленск был послан Иса Костоев, старший следователь по особо важным делам Российской прокуратуры. Посыпая его в Смоленск, тогдашний заместитель

Генерального прокурора СССР сказал ему:

— Это дело теперь особого труда не составляет: убийца арестован. Осталось только его раскрутить.

Найден убийца?! Этого Костоев не знал. Сел он (уже приехав в Смоленск) читать дело. Молодой прокурор Николай Гончаров ехал по шоссе на своей машине, некоторое время следя за рейсовым автобусом, потом их пути разошлись, но пока он за этим автобусом ехал, некий пассажир уже сильно пенсионного возраста вообразил, будто молодой человек едет недаром, а преследует девушку, которая была в автобусе и с которой он до того мельком заговорил возле автомата. Атмосфера в городе была воспаленной, только и говорили, что об убийствах, пенсионер сообщил в милицию номер машины, и через какое-то время молодого человека арестовали. Костоев читал и дивился — ничего, что могло бы служить причиной ареста. Ничего! Кончался срок содержания под стражей, и Костоев заявил, что продления просить не будет.

По этому поводу в следственной бригаде начался конфликт, один из следователей яростно настаивал на вине прокурора и столь же яростно протестовал против его освобождения. Столкновение стало настолько острым, что Костоев — а он горяч! — в сердцах сказал ему: «Создать липовый процесс, мол, сенсация, убийцей оказался прокурор, я тебе не позволю.» Но прокуратура СССР срок содержания под стражей продлила, дело было выделено в особое производство — и вот следственная работа пошла двумя бригадами. Одну возглавлял Костоев, в другой ведущую роль играл тот самый ретивый следователь, который так яростно возражал против освобождения Гончарова. Словно бы сам Бог решил поставить редкий правовой эксперимент.

Костоев начал работу. Проверка шла глобальная — спецприемники, общежития, автовокзалы. Сотрудники обходили медицинские учреждения, выясняли, не обращались ли сюда женщины со следами травм (найти бы хоть одну живую!). Подняли все прекращенные дела, связанные с нападением на женщин, все отказные, все приостановленные, проверяли заново (нет ли там похожих). Преступления всегда совершались близ шоссейных дорог, преступник был явно на машине, это значит, особое внимание автохозяйствам, автобазам, владельцам частных машин — водителей, всех без исключения, проверяли на группу крови, все обладатели четвертой группы (к ней, согласно экспертизе, принадлежала кровь преступника) были на особом контроле.

А что вторая бригада? Она тоже активно работала — кроме самого Николая Гончарова арестовали его братьев и друзей, арестовывали шумно, выводили в наручниках (огромное впечатление это произвело на окружающих). Столь же шумно ворвались с обыском в дом Гончарова-отца, кричали ему, что он полицай, вынесли великое множество вещей (в том числе и часы, и радио-

приемник!), угнали машину, которую Гончаров-старший получил бесплатно как инвалид войны. Возбудили уголовное дело против матери Николая в связи с будто бы неверно оформленной ею и тем самым злоумышленно завышенной пенсиею. Допрашивали всех, против кого Гончаров выступал по долгам службы.

А бригада Костоева продолжала поиск. Был составлен фотоальбом вещей, которые убийца снял со своих жертв — часы, сапоги, золотые серьги кольцами и другие ювелирные изделия. У каждого следователя, каждого оперативника, каждого участкового был в кармане такой фотоальбом. И вдруг Костоев узнал: совершено нападение на женщину, сообщила ее подруга, сама же она говорить об этом не может или не хочет. Она действительно была в ужасном состоянии, глаза багровы от кровоизлияний, на шее черные пятна. Помнила она преступника неясно, но немало все же рассказала: высок, черноволос, на руках и груди татуировка. По ее смутному рассказу был составлен фоторобот, разосланный по всем милицейским отделам и отделениям. Ей показывали альбом особо опасных преступников, она смотрела их час за часом, день за днем, и однажды сказала неуверенно: кажется этот похож.

Кто такой? Некто Стороженко, водитель грузовика, дважды судим (правда, по «малолетке»). Группа крови? Не проверялся. Как так не проверялся? А так: когда на его автобазе шла проверка, он уволился и поступил на автобазу, где проверка уже прошла...

А у второй бригады была огромная удача: признался младший брат Николая — Иван, признался в убийстве, которое совершил Николай. Написал даже «явку с повинной»: «Продумав и осознав всю тяжесть преступления, совершенного моим братом Гончаровым Н. С., я не хочу стать укрывателем этих преступлений, так как вспомнил все разговоры с братом, касающиеся фактов насилия и убийств.» А родителям своим он писал: «Мне прямо говорят, что убивал Николай. Ему докажут эти преступления и его или признают дураком или расстреляют, а мне за укрывательство дадут 15 лет. Говорят, что Колька шпион». Не только уговоры, однако, вынудили Ивана признаться, он говорит, что ему были предъявлены заключения экспертиз: на убитых женщинах нашли волосы, светлые, принадлежащие Николаю!

А что Костоев? Он послал одного из сотрудников проверить по путевым листам, где был и что делал Стороженко в дни преступлений, проезжал ли вблизи тех мест, где они совершены. К примеру, невдалеке от шоссе на Рославль была убита женщина — ездил ли в это время Стороженко по шоссе на Рославль? Да, ответил сотрудник, ездил в поселок Гнездово на завод.

Теперь каждое преступление примеряли на Стороженко. Произошло убийство в самом Смоленске, но в воскресенье, когда все автобазы закрыты. Оказалось, однако, что как раз в этот день Стороженко возил снег из города. Опять совпадает?

Костоев помнил: родные одной из погибших, возвращаясь домой примерно в час убийства, заметили на шоссе грузовик ГАЗ-93, стоявший на обочине с поднятым капотом. Проверили все машины ГАЗ-93, которые в тот день и час проезжали по шоссе, таких оказалось 76, в их числе была и машина Стороженко. Опять совпадает!

Конечно, проще всего было бы предъявить Стороженко на опознание той женщине, которая осталась жива, так Костоеву кругом и советовали. А если она его не опознает? – ведь в темноте она его не разглядела, а потом долго лежала в кустах в полном беспамятстве. И еще: предположим, Стороженко признается в этом эпизоде, но от всех остальных отпрется и замолчит, что тогда? Ведь его нужно изобличить в каждом убийстве, каждое доказать – только тогда, кстати, можно быть спокойным, что по улицам Смоленска не ходит еще один убийца. Нет, пусть уж лучше преступник не знает, что женщина осталась жива.

Его задержали вечером, когда он шел с работы (одновременно на допрос вызвали его жену и брата). Он вошел спокойный, веселый, улыбался. Рассмеялся даже, когда узнал, по какому поводу его сюда привели.

Я видела его фотографию. По виду – младший сотрудник какого-нибудь научного института. Никакого сигнала опасности: глаза из-под ровных темных бровей глядят задумчиво и как бы с неким вопросом; красивый овал лица, рот мужественно очерчен с некой тенью горечи – парень из итalo-французского фильма эпохи неореализма. Отвечал спокойно и с достоинством.

– Приходилось ли вам, – спросил между прочим Костоев, – ездить в поселок Гнездово?

– Ездил, – ответил Стороженко. – Не помню когда, но ездил, через «Красный бор».

Ни слова больше, а какое разом возникло напряжение! Стороженко больше уже не улыбался. Это следователь усмехнулся про себя: противник, почувствав опасность (Рославльское шоссе!), сообщил, что ехал в поселок другой дорогой, хотя его об этом не спрашивали. И сейчас понимает, конечно, что зря поспешил с «Красным Бором». Заметался внутренне – никак не может сообразить, где «засветился» и в чем. Но ощущение, что следователь о нем знает многое, в душе его, конечно, растет. Этого-то Костоеву и надо.

– Вот вы не прошли проверку на группу крови, – заметил он. – А хотите, я скажу вам, какая у вас группа? Четвертая.

(Конечно, группа оказалось четвертой.)

Зазвонил телефон, Костоеву сообщают: жена Стороженко, явно ничего не подозревая, говорит, что муж подарил ей золотые серьги кольцами, она отдала их мастеру починить.

– Дарили ли вы своей жене золотые вещи? – спрашивает

Костоев.

— Никогда, — отвечает Стороженко.

Костоев записывает это его «никогда», дает ему расписаться, и только потом знакомит с показаниями жены. Она ошибается, говорит Стороженко, она лжет! — И знает уже, конечно, что попадается на каждом шагу. Вскоре будут найдены и мастер, чинивший, и ювелир, делавший эти серьги для женщины, которой предстояло так страшно погибнуть. А следователи костоевской бригады нашли в доме Стороженко среди хлама и мусора кусочки оплавленного металла, сперва думали, горевшие радиодетали, оказалось, обломки ювелирных изделий.

Но ведь и вторая бригада не сидела, сложа руки, работала вовсю. Мы еще не сказали о главном — ее работе с самим Николаем Гончаровым.

Он молод, он «сителен, как лось», очень спортивен (разряды); сильный профессионал, выпускник Свердловского института (в институте, как и все студенты, был влюблена в профессора С. С. Алексеева, знаменитого юриста). Не раз вступал в конфликт с местными властями, с коллегами из милиции и прокуратуры, и когда почувствовал за собой слежку, понял, откуда ветер: с радостью ухватятся за любой «сигнал». Но того, что произойдет дальше, он предвидеть не мог, просто не знал, что такое может быть в наши дни.

Здесь я должна сделать отступление. Источники, которыми я пользуюсь в своем рассказе — это документы, выписки из следственного дела (в нем 17 томов, я изучала его в Прокуратуре РСФСР), копия приговора и другие. Но есть ситуации, которые документами подтверждены быть не могут, особенно если дело касается застенка, — на том он и стоит, застенок, что голоса узников оттуда не слышны, гаснут за глухими стенами. У меня записан рассказ Николая Гончарова — этот человек имеет право на то, чтобы его выслушали (он в случае необходимости сможет привести свои доказательства).

Когда он отказался признаваться в убийствах, как того от него требовали, его бросили в подвал — бросили в буквальном смысле этого слова — на пол ударом сапога. Перед тем сорвали с него одежду (всю!), заломили руки за спину, защелкнули наручники — нарочно косо, чтобы впивались — и вот он на полу в ледяной воде. Несмотря на то, что он «здоров как лось», он понимает, тут ему не выдержать, хотя бы уже потому, что «полетят почки». Часы ползут, или это уже дни ползут? Придет время, ему швырнут какое-то омерзительное тряпье (одевайся!) и поведут на допрос. Следователей несколько, но лидирует один (тот самый, ретивый). Пора его назвать — это Гдлян, так он начинал свою карьеру. Разговаривает он на чистом мате, от истошного крика («Передо мной министры стояли на коленях и плакали!») внезапно переходит к нарочитому спокойствию: «Признаваться будешь?» Николай не отвечает, его бьет озноб.

«В подвал!» — командует Гдлян. И опять подвал, опять холод до костей. Опять тянутся дни, — чтобы не потерять им счет, он делает узелки на нитке, которую выдернул из ветоши. За это время атлетическое тело Николая ссыхается в скелет, даже когда приносят похлебку (мука, разведенная в воде), он боится ее есть: от нее сердцебиение и адская головная боль, однажды он нашел в ней нерастворившуюся таблетку.

И все же он был верен обещанию, которое дал самому себе: не сдаваться. Не уступать палачам.

А Стороженко признался на третий день (Исса, таким образом, ловил его менее трех месяцев). Потом, в тюрьме, он впал в состояние такого бешенства, что у дверей его камеры, у глазка, целые сутки сидел надзиратель — боялись самоубийства. Придя в себя и убедившись, что деваться ему некуда, преступник стал энергично работать на сохранение своей жизни. Он все рассказывал, все показывал, опознавал по фотографиям свои жертвы. Закон требует, чтобы каждый эпизод уголовного дела был неопровергимо доказан, и Костоев доказывал. Я могла бы рассказать, как искали (три дня искали и нашли) часы в заброшенном колодце. Как искали (цепью шли!) сапоги убитой на огромной свалке. На читателей моего очерка об этом деле в «Литературной газете» (16.05.90; №25) наибольшее впечатление произвел вот такой эпизод:

Как-то сторож водонапорной башни, стоявшей на берегу Днепра, спустился к реке и увидел, что к большому валуну прибило какой-то узел — то была женская синтетическая куртка, в ней — женская одежда и белье. Милиция сообщила мужу пропавшей женщины, что жена его утонула, а уголовное дело было возбуждено лишь после того, как убитую нашел в лощине мужчина, гулявший с собакой. Между тем Стороженко, когда рассказывал об этом своем убийстве, показывал, что бросил узел с моста совсем в другой части города, и сколько Костоев ни переспрашивал — не ошибся ли он? — твердо стоял на своем. Неустранимое противоречие, каких в следственном деле быть не может. И Костоев провел следственный эксперимент.

С моста, указанного Стороженко, был брошен и поплыл по реке тот же самый узел. Он себе плыл, рядом дрейфовала лодка с молодыми следователями; понятые шли берегом.

Узел не торопился, плыл целый день (лодка следователей держалась рядом, понятые шли берегом), к вечеру поровнялся с водонапорной башней, судя по всему, собрался проплыть мимо, но вдруг стал поворачивать, крутиться — оказалось, что на пути его водоворот, который и доставил его прямо к валуну.

Надо ли говорить, что при таком методе расследования само признание Стороженко роли уже не играло (оно важно было в самом процессе расследования), — если бы он отказался на суде от своих показаний, это нисколько не поколебало бы систему доказательств,

представленную в обвинительном заключении.

Оно было написано, утверждено и направлено в суд. Начался знаменитый процесс.

Ну, а Николай Гончаров — вы думаете, его выпустили? Ничуть не бывало. Он по-прежнему сидел в тюрьме, равно как и его брат Иван. Уже Стороженко судили, уже приговорили, кажется, уже и расстреляли, а Николай все сидел.

Потом и его судили.

За что?

Судили его за то, что он, «вступив в преступный сговор» с родной матерью, способствовал повышению ее пенсии и тем самым «хищению государственных средств» (мать Гончарова Мария Романовна всю свою жизнь вкалывала в колхозе — помните, каковы были тогда колхозные пенсии? — следователи таскали ее на допросы, орали, грозили арестом, она возвращалась домой еле живая). А еще судили Николая за то, что он якобы присвоил себе изъятый у браконьера старый бредень (что тоже ничем не было доказано). Подобного рода статей было двадцать — явное намерение из двадцати рябчиков слепить одну цельную лошадь. Судили за нарушение правил уличного движения, будто бы приведшего к какой-то аварии; за то, что «склонял должностных лиц к подлогу», получил бюллетень, почему-то объявленный следователями незаконным, — и тем самым «нанес ущерб государству» в размере 47 рублей.

Совсем дохлыми были следовательские «рябчики». Эпизод по обвинению во взятке разрабатывал сам Гдлян, большой, как известно, в этом деле специалист.

В суде дело развалилось, из двадцати эпизодов судьи оставили шесть, да и то, подозреваю, чтобы можно было бы не оправдывать подсудимых — оправдательных приговоров в те времена наша юстиция вообще не знала. Но самым жалким, даже комическим образом распался эпизод по взятке. Предполагаемый взяткодатель (кстати, во время следствия он был посажен в КПЗ) подробнейше рассказал, как шел в кабинет Гончарова давать ему взятку, где поворот, где дверь, но оказалось, что в здании (уже после описываемых им событий) произошла перепланировка, и судья под смех зала спросил несчастного, как удалось ему проникнуть в кабинет Гончарова через печь.

Николай с братом получили уже отсиженное и вышли на свободу из зала суда. Вышел Иван, сломленный, помнящий, что предал старшего брата своей «явкой с повинной», безмерно униженный. Вышел Николай — не сломленный. Правда, веру в нашу юстицию потерял окончательно, когда оказалось, что нигде не может он добиться правды и наказания виновных в беззакониях. Но к жизни он вернулся.

А теперь представим себе — попробуем представить! — чтосталось с ним, когда он увидел Гдляна демократом, депутатом,

борцом за справедливость и законность особенно. Кумиром ревущей от восторга толпы. Со страниц газет и журналов смотрело на него лицо, которое он видел на допросах страшным, по радио и телевидению он слышал голос, тот самый, что командовал: «В подвал!» Воспоминания обжигали его с новой силой.

Но он, юрист, не мог вместе с тем не понимать, что дело не в одном каком-то следователе, что этот новый культ будет иметь тяжкие последствия для всей правовой системы – что идет новое наступление.

Тут необходимо объяснить.

С приходом к власти Горбачева общество двинулось по пути создания правового государства и, как ни странно, двинулось довольно уверенно. Это даже удивительно, сколько удалось сделать за очень, в сущности, короткий срок. Изменения действительно произошли значительные. Беззаконная практика, когда человека сперва бросают в тюрьму, а потом доказывают его вину, была запрещена – и разом опустели до того перенабитые тюрьмы (сама ходила коридорами Бутырок и Матросской Тишины, видела полупустые и вовсе опустевшие камеры, зато сидели в них действительно опасные преступники – работники тюрьмы говорили: служба стала много трудней и опасней).

Но главные изменения, невиданные за все годы советской власти, произошли в области судебной: стала укрепляться «третья власть», судьи почувствовали свою независимость, появились оправдательные приговоры, которых, повторю, страна до сих пор не знала. Если раньше хозяином процесса практически был прокурор, то теперь восстановливалось попранное равенство сторон, с адвокатом стали считаться, он уже больше не говорил, как раньше, в пустоту. Словом, наше правосудие, недавно влачившее самое жалкое существование, начало обретать достоинство и силу. Но – только еще начало.

Нетрудно было предвидеть раздражение худшей части следственного аппарата – тех, кто своего ремесла не знает, преступлений раскрывать не умеет, умеет только лепить фальсификацию на фальсификацию и шагу не может ступить без насилия (физического или духовного, неизвестно, какое хуже). Потеряв возможность бесконтрольного ареста, который означал для них возможность получить человека в полную свою власть, они становились совершенно беспомощны. И потому начался саботаж, следователи этого типа демонстративно перестали арестовывать тяжких преступников (знаю случай, когда даже адвокат считал, что его клиента необходимо арестовать, поскольку тот очень опасен – следователь отказался), громко заявляя, что будто бы им вообще запрещают арестовывать, не дают бороться с преступностью и т. д. Все это не выходило за рамки обычной демагогии, но то, что произошло далее, предвидеть было невозможно. Когда поднялась митинговая волна,

иные из этих следователей, особенно те, кто мог опасаться кары за свои беззакония, вскочили на нее с большой ловкостью — и их помчало! Их мчало вверх — к должностям, депутатским креслам и, самое главное, к депутатской неприкословенности. Игра их была беспроигрышна. И людей, которые им поверили, нетрудно понять. Гнет советского партаппарата был чудовищным, грабеж народа, законодательно оформленный, был беспредельно наглым, ложь опутала страну, духовное насилие сделало ее безгласной — под плитой этого гнета копилась живая, огненная ненависть, раскалялся справедливый гнев. И конечно, тем сильнее была надежда, что появятся избавители, рыцари на белом коне — вот они как бы и явились.

Никто не помнил, да и мало кто знал, как рьяно служили эти «рыцари» тому самому аппарату, тому самому режиму, который теперь так громко обличали. И когда они обвиняли во взятках всех, направо и налево, «по вертикали и по горизонтали», — ни по вертикали, ни по горизонтали не предъявляя никаких доказательств — оказалось, что несчастное массовое сознание уже никаких доказательств и не требует, что в своей справедливой ненависти к «аппарату», оно все готово заглатывать, в том числе и любую клевету. На каждого, кто пытался противостоять неистовству, обрушивались грязные обвинения, порой весьма затейливые (из моего собственного опыта: на митингах следователи кричали, что я являюсь автором статьи «Убийцы в белых халатах», омерзительного сочинения, написанного лет сорок назад правдисткой Чечеткиной, и митинги орали «К стенке!»).

В цивилизованном обществе, в нормальном правовом государстве только безумец мог бы отважиться на такое: по десять раз на день бездоказательно обвинять людей в тяжких уголовных преступлениях. Но обвинения, дикие и бездоказательные, вполне подошли ураганному безумию людских множеств. Социальная психопатия правила свой бал открыто и беспрепятственно.

Союз «черного следствия» с митингом был в открытую направлен против судебной власти, против третьей власти страны, ее достоинства и независимости, в том и была его главная опасность. Много лет передовая печать обличала «телефонное право», давление аппарата на судебные дела, в эпоху гласности это беззаконие одним из первых попало под яростный ее прожектор. Но прежнее давление аппарата на судей не идет ни в какое сравнение с беспеной атакой на них, начавшейся при новоявленных «демократах». В воспаленной, отравленной общественной атмосфере мало кто из судей отваживался оправдывать невиновного, а если кто и отваживался, его тотчас же громко (не только на митингах, но и в печати) обзывали взяточником. Явилось страшное зрелище «рёвтрибунала», когда от судей требовали, чтобы они вели процесс на стадионах, в присутствии толпы, и, бывало, заставляли (о подобных случаях в то время сообщала печать).

Но что говорить о подневольных, забитых советских судьях,

если в панику впала сама высшая власть – ведь нужно было вовсе потерять голову, чтобы публично, на съезде заявить представителям черного «митингового» права, как сделал это А. Лукьянен: «Чего вы хотите? Мы обещали вам снять председателя Верховного суда СССР, и мы его сняли» (действительно, В. И. Теребилов был отстранен от должности и притом именно тогда, когда на митингах против него орали обвинения, столь же грязные, сколь и бездоказательные).

Так правила бал правовая бесовщина.

Кто мог стать у нее на пути?

Передовая интеллигенция. Она и должна была, и могла это сделать, демократическое движение тогда набирало силу, его лидеры пользовались высоким авторитетом, их слова ловили с жадностью, им верили бесконечно. Честно говоря, я была убеждена, что прогрессивная интеллигенция, люди высокой культуры и подлинного гражданского бесстрашения остановят начавшееся правовое безумие. Но «левые» демократы, пораздумав и прикинув, решили, что «черный митинг» может быть весьма полезным союзником.

И вот предстало миру зрелище невиданное: крупнейшие правозащитники, люди, известные своим гуманизмом и благородством, стояли на митингах рядом с самим беззаконием, самим насилием. Возвышаясь над морем голов, плечом к плечу, в едином порыве...

Так впервые обозначился этот союз. Он был закреплен организационно. Гдляня приняли в Межрегиональную группу народных депутатов СССР (МДГ), форпост демократической интеллигенции, выбрали в ее координационный центр. Он даже носил оттенок некой сердечности, этот союз, во всяком случае на первой странице первого бюллетеня МДГ была фотография молодого человека, обеими руками растягивающего плакат, на котором было написано: «Гдлян и Иванов наша совесть и надежда!»

Между тем интеллигентные люди, в том числе и депутаты МДГ, знали многое об этих следователях, о методах, которые те в своей работе применяли. Конечно, дела Н. Гончарова никто не знал, я пишу о нем впервые, но об узбекских делах уже немало было известно, проникло в печать, прозвучало в Верховном Совете СССР.

Об «узбекском деле» много напутано и мало сообщено. Еще в начале 80-х годов в Узбекистане работало несколько бригад Прокуратуры СССР, и работы у них был непочатый край, они распутывали сложнейшие дела, в те времена коррупция и взяточничество в этой республике достигло огромных размеров, тут работали сильные профессионалы, Владимир Калининченко, например, и другие; они работали в рамках закона, вскрыли немало преступлений коррумпированного партаппарата, их дела успешно проходили через суд. Совсем иное – группа гдляновских следователей. Она была поставлена в особое, привилегированное положение – и не

стеснялась; здесь, как и в деле Н. Гончарова, беззакония и профессиональная беспомощность шли рука об руку (дела, расследованные этой группой, потом в суде, как правило, разваливались, ситуация «в кабинет через печку» возникала постоянно – конечно, если обстоятельства проверялись – но в том-то и дело, что судьи зачастую боялись проверять). Были следователи, которые отказывались работать в этой группе, подавали рапорты о «методах 37-го года». Были юристы, которые приходили в Прокуратуру СССР, убеждая, что подобного терпеть нельзя, им отвечали: «Оставьте, ребята делают святое дело». Из Узбекистана к Горбачеву шел поток жалоб – их «перехватывала» та же Прокуратура СССР. Мне рассказывала жена молодого профессора (его посадили в камеру уголовников и держали, явно вымогая деньги), что Гдлян на допросе открыл ящик стола, туда набитого письмами, и сказал: «Вот, все у меня. Жена такого-то вот так же писала, теперь у нас сидит». Бурная самореклама Гдляна была поддержана той же Прокуратурой СССР, заинтересованной в громком процессе (сколько тут было бы орденов и повышений!). Когда жалобы все-таки прорвались к Горбачеву и была создана комиссия Верховного Совета СССР, вот тут-то и произошел скачок в новое качество, тут-то и явились миру следователи-демократы, герои борьбы с коррупцией.

Материалов о беззакониях гдляновской группы было много (следственное дело в конце концов составило 200 томов, его потом прекратили – сохранил ли архив все эти тома?), но «левые» депутаты не хотели ничего видеть и слышать. В «прогрессивной» печати была установлена цензура столь жесткая, что ни слова правды появиться в свет не могло. Зато эти органы печати, а также радио и телевидение, в частности сверхпрогрессивная телепередача «Взгляд», – все они усиленно работали над тем, чтобы создать – нет, воссоздать – романтический образ следователя, который не ошибается.

Повторяется история. Такой образ был уже создан в 30-х годах, вся гигантская машина советской пропаганды над ним работала, – романтический образ бесстрашного и благородного героя-следователя. О таком писали рассказы и романы, сочиняли песни, ставили пьесы и фильмы. Массовое сознание, разумеется, было не в силах противостоять могучему прессингу и сдалось, никому в голову не приходило спросить, в силу каких же это причин герои-следователи не ошибаются, если человеку свойственно ошибаться и всякий может ошибиться? Всякий, но не этот – этот стоит высоко над людьми, в волнах таинственного, уже мистического тумана, за которым не разглядеть истины. А истина заключалась в том, что там, в застенках, орудовало бесовское племя, ничтожества, свихнувшиеся от безнаказанности, от сладостного сознания того, что великое множество людей (и каких!) отдано в их полную власть.

Интеллигенция, ряды которой косили сталинские репрессии, в

лучезарный образ, разумеется, не верила, и все-таки... Все- таки чекисты появлялись в светских гостиных 30-х годов — молчаливые, спокойные, таинственные; чисто выбритые (чисто отмытые от крови и грязи пыточной камеры), цветущие (хорошо кормлены); ремни, портупеи, одинокие многозначительные ордена. Они ужасали, эти насильники, но и притягивали (власть и кровь!), особенно женщин — Фрейд мог бы об этом многое рассказать, да и Достоевский тоже, недаром же иным дамам в Ставрогине «положительно нравилось, что он убийца». Еще в двадцатых годах Есенин, по свидетельству мемуариста, хвастался именно перед дамами, что может показать им самый доподлинный расстрел. «Почему их так влечет к генеушникам — такого — растленного образа мыслей, к карьеристам, перерожденцам, мазурикам? Почему такие милые, простодушные женщины (...) втянуты в эту кровь?» — писал Корней Чуковский в своем дневнике о женщинах горьковского дома.

То было не случайное, а расчетливо спланированное поветрие.

И вот в расцвете перестройки, в период демократических свобод «левая» печать, радио, телевидение начали новую компанию по воссозданию образа следователя, который не ошибается — сочиняли, не очень заботясь о том, что на самом деле происходило за глухим забором, в застенке, в подвале. Повторяли (исключительно со слов самих «героев») истории о том, как враги готовили им коварные ловушки, как хотели их убить и т. д. Все эти легенды рассыпались в прах при первой же проверке, но любое слово критики или сомнения встречало дикую злобу почитателей и особенно почитательниц, потому что в этом движении женщины тоже играли ведущую роль, левые «депутатши» более чем активно поддерживали этих следователей, снимались с ними для печати и пр. Митинговые крики Т. Корягиной представляются некой концентрацией этого явления.

Я не знаю, что происходило тогда в сознании интеллигентных людей, но ведь как-то должны же были они объяснить себе и другим эту, что не говори, странную позицию. Конечно, как всегда, когда речь идет о самооправдании, доводов хватало. «Левые» интеллигенты, те, кто, ринувшись в политику, очень быстро усвоили девиз: «Политика дело грязное» (хотя на самом деле грязной политику делают грязные политики), утверждали, будто единство демократического движения нужно беречь во что бы то ни стало, любой ценой, — хотя объединение левых демократов с реакционным «черным следствием» могло только компрометировать их, расстроить их ряды. Усиленно намекалось, что союз с «черными следователями» носит сугубо временный характер — лишь только те станут не нужны, мы, мол, их погоним (ни малейшей способности предвидеть события на полшага вперед). Сильно нажимали на то, что два лидирующих следователя подверглись гонениям, были уволены из Прокуратуры СССР (действительно были уволены, но мы не станем углубляться в перипетии тогдашней политической борьбы, нас

интересует морально-правовая сторона вопроса), не восстановлены и сейчас; думаю, нынешнее руководство прокуратуры понимает, каков уровень их профессионализма.

Но главным среди этих объяснений-оправданий было выдвинуто утверждение, будто бы все наши следователи таковы, все насилиники, все беззаконники, а эти по крайней мере борются с коррупцией партаппарата.

Но, во-первых, уже по делу Стороженко-Гончарова мы видели уровень гдляновского профессионализма (я знакомилась с несколькими «узбекскими» делами, все они свидетельствуют о полном профессиональном бессилии – это, повторю, свойство всего «черного следствия»). А что до главного тезиса – «все они таковы», то он является собой, скажу грубо, уже чистую ложь.

2

Формально следственный аппарат разделен на три части – те, что в прокуратуре, милиции и госбезопасности. Но мне представляется самым существенным другое разделение в среде следователей – на профессионалов и портачей, на порядочных людей и тех, кто забыл о долге, чести и совести. Это непроходимый барьер, мы видели его на том же деле Стороженко-Гончарова, его нетрудно показать и на примере сегодняшнего дня.

Квартира Алены не отвечала ни на телефонные звонки, ни на дверные – сколько кошмарных историй начиналось именно так, с молчащей двери, с длинных безответных гудков в телефонной трубке. А потом в квартиру вошли трое – аленина мать и двое молодых людей, алениных знакомых. То, что они увидели, описывать не буду; то, что стало с ними, описать не смогу, думаю, и сам Достоевский не смог бы. Оба они, молодая женщина и ее семилетний мальчик, лежали неподалеку друг от друга, в крови, крови было очень много; говорят, мертвые глаза матери были обращены на сына. Валились разбросанные вещи, убийцы что-то искали (впрочем, что искали, то и нашли, деньги и вещи). Произошло это в ночь с 23 на 24 января 1992 года.

Молча стояли трое, как бы парализованные (какие-то минуты до того, как мать упадет в обморок), и вдруг один из молодых людей, Игорь, закричал: «Это я их убил!». И все повторял, как в беспамятстве: «Это я их убил!»

Надо ли говорить, что его задержали. Когда исследовали стоявшую на столе посуду, оказалось, что на недопитой бутылке с водкой ясно видны следы его пальцев.

Он объяснил: да, он считает себя виноватым в гибели Алены, это он принес в ее дом немецкие марки, и тут как раз пришел брат

одного ее знакомого, быстрый такой парень, он все поглядывал на валюту (три купюры, две по сто и одна пятьдесят). Если бы он, Игорь, не принес бы эти проклятые марки... А тогда, в квартире убитых, он схватил бутылку, глотнул прямо из горлышка, вот почему на ней отпечатки его пальцев.

Ну, а теперь представим себе, как поступили бы при подобных обстоятельствах следователи-портачи. Собственное признание, да еще публичное, да еще в ту страшную минуту, когда не лгут, — да еще такая удача, как отпечатки пальцев на бутылке! — им приходилось начинать с куда меньшего. Зачем гоняться за каким-то братом какого-то неизвестного парня, когда чувствительный дурак сам идет к ним в руки! И можно рапортовать по начальству: преступник найден в тот же день, по самым что ни на есть горячим следам. Готов материал для печати и телевидения, да и вообще немалые выгоды могут отсюда произрасти.

Что до самого уголовного дела, то укрепить его и украсить, это вопрос времени и опыта (вот тут уж у них как раз очень богатый опыт!). А подследственный Игорь, потом подсудимый, потом осужденный, может сколько душе угодно вопить, писать во все инстанции, что не убивал, рассказывать, как все это было в действительности — никто уже ему не поверит, ни судьи, ни корреспонденты, ни читатели газет, ни телезрители. И что нужды, если подлинный горячий след тем временем остывает. Пусть остывает...

Но дело об убийстве Алены и ее сына расследовали не портачи, а как раз профессионалы (прокуратура и милиция города Москвы); они пошли по следу того самого быстрого парня, который тогда, накануне, все поглядывал на валюту. Круг алениных знакомых исследовать было непросто, он делился на старых и новых, друг с другом незнакомых. Выяснили, что среди них был один, совсем недавний, по уровню культуры от других резко отличавшийся, у него был брат, именно «такой быстрый», по описанию очень похожий на того, кто приходил при Игоре. А кто они, эти парни, где живут, никто не знал. Тут работала группа оперативников, сотрудники ходили, ездили, опрашивали — и вот оказалось, наконец, что одна из алениных подруг, живущая не в Москве, случайно знает телефон матери этих парней (звонила однажды по просьбе Алены).

Убийство произошло в ночь на 24 января, а рано утром 26-го сотрудники милиции уже разбудили братьев, каждого на его квартире. Захваченные врасплох, те не успели ни собраться с мыслями, ни толком договориться друг с другом (хотя, конечно, до этого договаривались), — допрошенные (разумеется, порознь и с большим искусством), они рассказали одно и то же. Не только немецкие марки, в квартире вообще были ценные вещи. Сперва вошел младший, Константин, минут через сорок выскоцил снова, сказал, не может справиться, и в квартиру вбежали оба. Спасаясь от убийц, Алена заперлась в комнате, они вышибли дверь и увидели, что она

звенит по телефону, сама в крови, аппарат в крови. Подробно рассказали они, как убивали и как увидели вдруг, что в проеме двери стоит Ярославка, которого оба прекрасно знали (помните? мертвые глаза матери были обращены на сына). Потом они смыли с себя кровь в ванной, пошли рыться в шкафах и ящиках, выбирая, что подороже. И, погасив свет, ушли.

Ключи и окровавленные перчатки выбросили где-то в снег. Приехали к знакомому, отдали ему часть вещей и валюты для реализации. Свою одежду и аленину малооцененную бижутерию засунули в рюкзак и бросили возле каких-то гаражей.

Ключи и перчатки оперативные работники нашли тотчас же. Приехали к знакомому, которому были оставлены вещи, тот, надо думать, не сомневался в их криминальном происхождении, но убийства не предполагал и немедля выдал все, что не успел продать (в последующие дни были найдены те, кому он продал аппаратуру и валюту, один из покупателей был по объявлению, нашли и его; все они тоже поспешили с добровольной сдачей). В квартире старшего брата Валерия, в вентиляционном люке ванной комнаты, вскрытом при помощи шлямбура, нашли аленины драгоценности. А с рюкзаком было так: его обнаружил в снегу некий владелец гаража, обошел соседей, спрашивая, не потерял ли кто, а потом отдал его сыну, который работал в МУРе, тот подал рапорт по начальству — и рюкзак лег на стол следователя московской прокуратуры. На раскрытие дела профессионалам потребовалось 40 часов.

А следователям предстояло все эти материалы — протоколы допросов, акты экспертиз, «вещдоки», — ввести в строгие рамки закона, превратить в убедительные доказательства, неопровергимые для суда. Как ни страшно было читать обвинительное заключение, подписанное старшим следователем городской прокуратуры С. Б. Дорофеевым, все же стороной шло и другое чувство — некоторого удовлетворения от сознания, что в документе этом заключена не только правда событий и фактов, но еще и справедливость.

В ходе следствия преступники изменили свои показания (заявили, например, будто пришли к Алene за каким-то долгом, которого подтвердить не могли и которого быть не могло); на суде старший, Валерий, взял всю вину на себя, утверждая, будто брат ждал его на лестнице. А потом оба брата замолчали, вообще отказываясь отвечать на вопросы. Все это уже не имело никакого значения: ничто на свете не могло разрушить систему обвинения. Мы повторяем непрестанно: «в любом цивилизованном государстве», разумея при этом какое угодно, только не наше собственное. Так вот, и московская милиция, и московская прокуратура работали в этом деле именно на уровне цивилизованного государства. И суд (Московский городской) был на том же уровне.

Процесс шел в обычном судебном зале, довольно светлом, а

казалось, что это дымный подвал, где остановилось время, где царит смерть — воспоминанием об умерших, и мысль о тех, кому предстоит умереть.

Передо мной на скамье близкие убитых (юридически — «потерпевшие»), они стараются изо всех сил держаться, но бывают минуты — юристы вынуждены то и дело возвращаться к подробностям убийства — когда сил не хватает. Прямо передо мной бабушка убитого Ярославки; это молодая бабушка, научный работник, человек сдержаненный и большого мужества, — но и она не может унять крупной дрожи, ее непрестанно и сильно колотит. А рядом с ней прабабушка, совсем старенькая, она что-то бормочет, стонет и вот в какую-то минуту вдруг выхвачивает из-за пазухи фотографию убитого мальчика, кричит: «Смотрите, какой он был!» — наверно в одну из бессонных ночей своих придумала она это, убежденная, что тем самым потрясет и судей и всех присутствующих. Но судья говорит поспешно: «Не надо, спрячьте». С какой бы бережностью ни относился он к потерпевшим, он не может допустить, чтобы процесс сполз в истерику и припадок, а когда прокурор потребовал расстрела обоим и прабабушка захлопала в ладони, как, впрочем, и некоторые другие, судья Н. А. Сazonов их остановил: «Аплодисменты тут вовсе неуместны».

Он прав, аплодисменты неуместны. Стоит мне немного повернуться назад, и я вижу мать преступников, лицо ее пропиталось слезами и распухло, она не спускает глаз с сыновей. «Вам легче станет, если они умрут?» — тихо говорит она.

А сыновья? Старший не поднимает головы, кажется, подробности убийства ему слышать тяжело (я вижу его лицо сбоку). Младший уравновешен вполне, глаза его спокойны до самой их глубины, более того, в них иногда мелькает некое холодное любопытство, может быть, даже тайное удовлетворение: судьба на час отдала в его распоряжение человеческие жизни, и он распорядился ими по своему усмотрению.

Я вижу их глазами их матери — сохраните, сохраните им жизнь! Я вижу их глазами потерпевших: мы не можем, не в силах жить с ними на одной земле! И даже если вы их на луне поселите, не сможем мы жить, зная, что они живы!..

Когда дело дошло до приговора, в зале и вовсе потемнело, почернело. Угрюмы стали лица судей. Наряд милиции выстроился перед скамьей подсудимых, звякнули наручники. Два смертных приговора — дело нешуточное.

Я решительно против смертной казни и никогда от этого своего убеждения не отступлю. Но когда видишь эту несчастную старуху с фотографией за пазухой, только тогда начинаешь понимать, как сложна, как страшна проблема.

Но у нас речь о другом, мы говорили о разделении следователей на профессионалов и портакей, на порядочных людей и непорядочных. Это очень важный разговор, судебные ошибки почти всегда происходят по вине следствия. Вот почему, чтобы понять, в каком состоянии находится сейчас наше правосудие, и необходимо обратиться прежде всего к работе следственного аппарата (разумеется, опять же к реальным делам и судьям).

Мне кажется, что с правосудием у нас сейчас дела обстоят хуже, чем при Брежневе. Сказался развал Союза, распад властных структур. Раньше если не в республиканских органах правосудия, то в союзных человек мог найти защиту; конечно, круговая порука в этих органах существовала и тогда, но в ней, как правило, можно было найти брешь. Сейчас «своих не выдают», даже когда речь идет о случаях, потрясающих сердца (когда, например, расстрелян невиновный). Все глухо, как в мертвом царстве. Сказался здесь и правовой погром, учиненный «черным следствием», многие представители которого — и это очень важно — были избраны (на ура прошли!) в Верховный Совет России, во многом и сегодня определив характер его деятельности. Немалую роль сыграло и то обстоятельство, что уголовное дело (те самые 200 томов), возбужденное в связи с беззакониями следователей в Узбекистане, было прекращено, и «черное следствие» резонно решило, что можно ничего не бояться: пришло его время.

Так оно и есть. Опять признание подследственного вопреки закону нередко становится «царицей доказательств», опять сперва бросают в тюрьму, а потом уже доказывают виновность. И опять следственные тюрьмы не только набиты до отказа — тут перейдены все грани возможного: бывает, что люди не только лишены места, где можно спать, но даже места, где можно сидеть — они стоят! Представьте себе — тесная камера, полная несчастных, встревоженных, раздраженных, а подчас и просто психически сдвинутых людей (алкоголик без выпивки, наркоман без наркотиков) — и все это в едва ли не вагонной тесноте неделями, месяцами. Нормальное человеческое воображение не может этого себе представить.

Напрасно правозащитники вопят о беззакониях, о пресскамерах и пытках — демократическую власть это не тревожит, прогрессивная интеллигенция, столь разговорчивая, на этот раз помалкивает. Правосознание общества, с годами и особенно в первый горбачевский период сильно окрепшее, не только вновь пошатнулось, но едва ли не рухнуло, что не могло не повлиять на общий уровень нравственного сознания. Презумпция невиновности? — от нее и помину не осталось. Доброе имя человека? — самое это понятие исчезло. Все оказалось дозволенным, самые низкие, самые подлые обвинения — и опять же без тени доказательств — летают без задержки. Грязные жабы так и прыгают со злых языков на стра-

ници печати. Политический цинизм достиг наглости неслыханной. Да, стало хуже, чем прежде. Во всяком случае раньше мне не приходилось видеть дело, когда восемнадцатилетнего мальчишку приговаривают к расстрелу – не на основании доказательств, а на основании гневных писем трудящихся, которые о деле совсем ничего не знали, но энергично требовали смертной казни (мои статьи в «Литературной газете», 13.03.91, № 10; 29.01.92, № 5; 22.04.92, № 17). В моем досье лежит письмо этого мальчика (он помилован, расстрел заменен ему двадцатью годами «полосатого» режима, практически каторжного), где он объясняет, как его заставили «признаться». Так он и сидит до сих пор.

Однако общие рассуждения, повторим, мало чего стоят по сравнению с живой жизнью – я хочу вместе с читателем шаг за шагом пройти (по самому свежему следу) путем еще одной истории, более чем красноречивой ввиду стоящих перед нами проблем.

3

Саша работал гидом в «Интуристе», он хорошо знал английский и, главное, свой предмет – сам город Санкт-Петербург (это от отца были у него знания, Сергея Сергеевича, большого знатока русской истории), иностранцы, приезжавшие в Петербург, старались записаться именно к нему.

«Дорогой Саша! – пишет ему директор фирмы «Бьюконен андервуд Травел Ассошиэйтед» А. Оболенская. – Я пишу Вам, чтобы пригласить Вас посетить Соединенные Штаты Америки в любое удобное для Вас время после 15 сентября. Я хотела бы, чтобы Вы встретились и поговорили с людьми, которые в будущем заинтересованы посетить Советский Союз, так как Вы великолепно знаете историю и культуру своей страны и в то же время отлично говорите на нашем языке. Все финансовые расходы фирма берет на себя. Всего хорошего, с теплым приветом. Искренне Ваша княжна Анна Оболенская».

Наверное, именно с этой поездкой связывал Саша свои мечты о создании собственного независимого просветительского Интуриста; он полагал, что существующий Интурист, нагло обирая чужеземцев, очень плохо их обслуживает и уж во всяком случае источником просвещения быть не может.

Да, он очень ждал этой поездки, но никогда никуда не поехал.

Его нашли на квартире приятеля. Он сидел за столом, положив на мертвые руки мертвую голову.

Квартира принадлежала Таировым. Сашин приятель Михаил Таиров вызвал «Скорую», а потом милицию, но раньше всех вызвал

с дачи своего отца. Милиции Таиров-младший объяснил, что они с Сашей были одни, пили ночью, потом Саша заснул и утром не проснулся, Михаил не сразу понял, почему. Никаких следов насилия на теле погибшего ни врач, ни милиция не обнаружили. В милицейском акте вместо понятых расписались оба Таировых (старший, кстати, не так давно был большим городским начальником).

А теперь обратимся к другому отцу – сашиному отцу, Сергею Сергеевичу.

Представьте себе, будто бы Сергею Сергеевичу приснился сон, столь же кошмарный, сколь и дурацкий: что пришел к нему кто-то незнакомый и сказал, будто Саша умер и стал теперь государственной собственностью; а он, отец, опустился на колени, умоляя отдать ему эту государственную собственность – какой Кафка придумал бы подобный сон? И представьте себе еще, что Сергей Сергеевич не проснулся – нет, не умер, а продолжал жить в этом диком сне. Можно подобное себе вообразить?

В тот день Сергей Сергеевич был на даче, работал, часов в пять видел, как прошла «Волга», это вернулся на дачу сосед Таиров-старший. Кому могло прийти в голову, что прошла страшная машина, что в ней человек, который уже знает – и даже уже расписался в милицейском акте за понятого в своей квартире, где за столом сидел мертвый?..

Так и случилось, что Сергей Сергеевич продолжал заниматься мирными дачными делами. Только на следующее утро в половине десятого приехал к нему сашин приятель и другой человек, незнакомый, который оказался паталогоанатомом. Он-то и отвез Сергея Сергеевича в морг (по дороге заехали за сашиной матерью).

Вот там-то, в морге, судмедэксперт и сказал родителям, что сына видеть нельзя, он теперь стал государственной собственностью (в эту фразу невозможно поверить, но ведь жизнь наша нынче полна реальным неправдоподобием). Долго и униженно молили родители показать им Сашу, отказ был категорическим, но потом его все-таки им показали, издали (было видно только лицо), дотронуться до него не разрешили.

Когда прошло безумие первых часов – сдвинувшийся мир никак на место не вставал – они попытались осознать произошедшее и выяснить обстоятельства.

В ночь своей гибели Саша звонил матери из таировской квартиры, и она ясно слышала мужские голоса (человека три было, не меньше). Разыскали Михаила, который, судя по всему, встречи с ними не желал, он опять рассказал, что они с Сашей были одни, пили шампанское, потом водку, Саша заснул за столом и не проснулся – как видно, алкогольное отравление. Но родители уже знали, что это неправда: эксперты обнаружили у Саши всего лишь легкую степень опьянения. Тогда Таиров рассказал, что они с Сашей, каждый, вкатили себе большую дозу

наркотика, он, Таиров, выжил, а Саша – нет, но наркотика в сашиной крови вовсе не нашли. Тогда Таиров стал говорить что-то неясное относительно ядовитых грибов. Между тем, говорили, будто в ночь смерти на квартире были жена Михаила Оксана и еще какие-то двое.

Родители пытались выяснить, куда делись сашинь часы, кошельк, кроссовки (шведские, которыми, кстати, Саша очень гордился), и ничего не смогли узнать. Куда-то подевались и ключи от сашиной квартиры, только на второй день Михаил сообщил сашиному отцу, что тот может приходить за ключами.

На квартире Таирова Сергей Сергеевич застал целую компанию. «Поминаем Сашу», – объяснили ему. Была тут жена Михаила Оксана, был приятель Таирова Рыбин с женой (здоровенный парень). Сергей Сергеевич многое бы отдал, чтобы знать, о чем тут без него говорили, страстно хотелось ему расспросить их, Оксану и других, но он понимал, что его могут обвинить в том, что он подговаривает, подготавливает свидетелей, а свидетели эти в случае чего все равно от своих слов откажутся. И потому он никого расспрашивать не стал, сами же они ничего ему не сказали.

Поехали в коммунальную квартиру, где жил Саша, вошли в его комнату – разгром! Стол взломан, пропали деньги, пропали видеокассеты, пропали сашинь записные книжки с адресами и телефонами.

А в день сашиных похорон (его отпевали в Никольском соборе) кто-то опять вторгался в сашину комнату – когда родные вошли сюда после поминок, квартира была полна дыма, а в ванной среди дымящегося пепла догорали бумаги из сашиного стола...

Наконец стало известно заключение экспертизы.

Надо сказать, что акт судмедэкспертизы – это всегда документ длинный, содержит он несколько разделов – предварительные данные, результаты внешнего осмотра, результаты внутренних исследований (это самые большие разделы, содержащие целые страницы описаний), диагноз, данные дополнительных исследований и, наконец, заключение эксперта.

Акт судмедэкспертизы, подписанный экспертом С. К. Булдаковым, занимает две с половиной страницы.

Предварительные сведения? Кроме данных оперуполномоченного, тут сообщение какого-то сашиного товарища, безымянного – ни имени, ни отчества, – будто бы в последнее время Саша жаловался на сердце. Основная часть акта – описание внутренних и внешних исследований – полностью отсутствует. Никаких телесных повреждений эксперт не обнаружил и заключил, что «смерть наступила от ишемической болезни сердца, осложненной острой коронарной недостаточностью на фоне алкогольной интоксикации»...

Мы привыкли считать слово эксперта решающим в уголовном процессе – ведь это наука, она беспристрастна! Наука действитель-

но беспристрастна, и эксперты, сужу по многочисленным известным мне судебным делам, — тоже. Но увы, бывают тягостные исключения, когда эксперт начинает подстраиваться под следствие. Каких только диковин не приходится тут встречать — то труп по воде глубиной в 20 сантиметров переплыл стоячий пруд и оказался как раз в нужном следователю месте; то старушка увидела то, что нужно, несмотря на темную ночь и катараракты на обоих глазах; а была однажды пуля, которая на самом деле никак не могла вылететь из данного ствола, но эксперт сократил число необходимых совпадений, и она-таки удачно вылетела из ствола, который вписывался в версию следствия...

Добросовестность эксперта — это одна из важнейших проблем правосудия.

А тут была откровенная филькина грамота, которой никто не поверил, но которая, повидимому, устраивала власти.

Саше было двадцать восемь, он был совершенно здоров (что подтверждено бесконечными интуристскими проверками). Как объяснить катастрофу — внезапную остановку сердца (отек мозга, отек легких — классическая картина удушения?)

Сколько ни просили родители, сколько ни молили, прокуратура уголовного дела не возбуждала — возбудили его только через семь месяцев, да и то по депутатскому звонку. Все это время преступники, конечно, спокойно могли и замечать, и смыть следы. Но всякого, кто знаком с этим делом, не оставляет ощущение, что они об оставленных следах вовсе и не заботились, эти преступники, и как-нибудь обезопасить себя от преследования властей не старались. Словно бы знали, что власти не пошевелятся.

И в самом деле, следствие шло странно. Сергей Сергеевич просил выяснить, кто был с Сашей в квартире той ночью (помните, сашина мать слышала в трубке мужские голоса; говорили, что была там Оксана и т. д.). К удивлению родителей, следователь ничего этого не выяснял и свидетелей не вызывал. Играли ли тут роль положение в городе Таирова-старшего? Или были какие-то иные причины?

Между тем, становились известны обстоятельства, которые Саша от родителей тщательно скрывал. Он чего-то смертельно боялся, на ночь баррикадировал дверь своей комнаты и, объясняя это одному из друзей, случайно у него почевавшему, сказал, что узнал нечто и что это знание может стоить ему жизни. Сергей Сергеевич называл следователю имена людей, готовых все это подтвердить, следователь опять же их не вызывал. Приехала Алла, жившая в другом городе девушка, которую любил Саша, она многое знала — сама позвонила она следователю, тот принять ее отказался.

Но ведь и эта картина знакомая, когда работники «черного следствия» вместо того, чтобы, как то велит закон, всесторонне исследовать дело, энергично отпихиваются от той части материала, который почему либо им «не нужен» – не запрашивают необходимых документов, не назначают необходимых экспертиз. Просят его проверить алиби – не хочет. Однажды арестованный умолял следователя проверить, убедиться, что в день преступления был далеко, ехал в поезде (помнит и вагон, и место), а на вокзале его встречали такие-то официальные лица. «А зачем мне выяснять? – смеясь ответил следователь. – Мне вовсе этого не нужно». Перед нами одно из чрезвычайно распространенных беззаконий, совершаемых в процессе следствия, и я не видела ни разу, чтобы хоть один следователь был привлечен к ответственности за подобный способ «расследования».

Между тем, до Сергея Сергеевича стали доходить слухи о тех самых допохоронных «поминках» на квартире Таировых, куда он заходил за ключами. Разумеется, там говорили о причинах сашиной смерти, и один из его друзей, Алик, сказал, что не сомневается: его убили. Опять нетрудно представить себе, как страстно хотелось Сергею Сергеевичу встретиться с этим молодым человеком, но он опять сдержался, встречаться не стал, а поехал к следователю, все ему рассказал, просил вызвать Алика на допрос.

А через несколько дней узнал, что тот покончил с собой.

Жена погибшего рассказала, что муж был в отчаянии, метался, звонил каждый день следователю, тот отказался его принять. Молодой человек кончал с собой дважды (первый раз неудачно). Было это через месяц после сашиной смерти.

А потом пришли вести с дачи. Уже вскоре после сашиной смерти соседи вспугнули какого-то человека, который пытался взломать окно; судя по описанию, человек был похож на того Рыбина, с которым Михаил Таиров познакомил Сергея Сергеевича на «поминках». А теперь уже дачу взломали, обворовали только сашину комнату, взяли записные книжки, деловые документы, деловую переписку. Была зима, на снегу остались четкие следы, судя по всему мужчины и женщины. А в комнате тут и там видны были следы пальцев – опять преступники не опасались, не береглись.

Сергею Сергеевичу настойчиво советовали не ворошить это дело (обычное: мертвого не воскресишь и т. д.); по всему видно, говорили, оно опасно. Он и сам это понимал, но теперь он был убежден, что Сашу убили, и никакая сила не могла его остановить.

Сергей Сергеевич – человек замечательный не только своей редкой ученостью (от него, повторим, и сашина высокая культура), но и особенностями характера; агрессия, напор, принуждение – все это глубоко чуждо ему с его врожденной деликатностью. Тут, я думаю, уместно было бы говорить вообще о феномене истинно интеллигентной души – сколько же про нее было наврано за долгие

годы господства классовой идеологии, сколько твердили нам (особенно в художественной литературе – Мечики, Кавалеровы и т. д.) о ее безволии, слабости и слюнтайстве, в то время как жизнь, напротив, давала примеры поразительной стойкости и благородства. Тончайшая структура истинно интеллигентной души включает в себя устои и принципы, которые в нее впаяны, раствориться не могут и повелительно говорят в решительные минуты жизни. Тогда и является миру несгибаемая (скажем – Ахматовская) твердость духа. Так произошло и с Сергеем Сергеевичем после смерти Саши. Может быть, заговорила в нем кровь его аристократических предков? Или восстало собственное его достоинство? Или сам великий город, чью душу они с Сашей так хорошо знали, стал на их сторону? Не знаю. Знаю только, что борьбу свою он вел бесстрашно.

Впрочем, этого не может быть. Конечно, ему было страшно (тем более, что по телефону кто-то безымянный настойчиво советовал ему не переть на рожон). Да, он боялся, но чувство это было ничтожным по сравнению с другим, захватившим его целиком: сознанием долга перед сашиной памятью. Продолжим его рассказ.

А следствие не двигалось. Тому была еще одна хитрая причина: дело разрубили на три части: одно дело, о смерти, вела прокуратура, другое, о взломе комнаты, милиция в городе, третье, о взломе на даче, милиция вне города. Всякому было ясно, что это одно и то же дело, но сколько ни просили родители его объединить (хотя бы для того, например, чтобы сличить отпечатки пальцев – того же Рыбина, по описанию похожего на одного из взломщиков), отказ следовал за отказом, этими отказами, которые приходили из прокуратур разного уровня, можно тую набить целую папку. А впрочем, дело о сашиной смерти прекратили вообще.

Ценой огромных усилий (бесчисленные заявления, хождения на прием к разным должностным лицам, поездки в Москву) Сергей Сергеевич добился возобновления уголовного дела – и все отчетливей понимал: пока не будет опровергнут лживый акт судмедэкспертизы, ему не добиться правды. И что есть одно единственное средство, ужасное – ради него придется тревожить могилу.

Он добился и этого. Да, была эксгумация, и она показала, что эксперт Булдаков действительно солгал, утверждая, будто на теле погибшего не было никаких повреждений. Были глубокие ссадины на локтях (держали?), большое кровоизлияние на виске (сильный удар) и, наконец, сломан хрящ в горле (удушили?). Питерские эксперты и тут многое оспаривали, во многом разошлись, и материалы для исследования направили в высокоавторитетное Республиканское бюро судмедэкспертизы в Москву.

Действительно, направили, – но, говорят, случайно не по тому адресу; они где-то плутали, эти материалы, но после резкого звонка из Российской прокуратуры, когда один из начальников спросил,

куда подевалось дело, — они нашлись и почему-то не в районной прокуратуре, куда должны были бы вернуться, если были посланы, а в городской прокуратуре Санкт-Петербурга.

Наконец Республиканское бюро экспертиз в Москве их получило, исследовало, дало свое заключение — и дело опять исчезло на обратном пути. Вместе с заключением экспертизы — решающим, поскольку утверждало, что сердце у Саши было здоровое...

Тем временем оказалось, что Михаил Таиров, главный свидетель (а может быть, и не только свидетель — участник преступления?), навсегда отбывает из страны (и сколько ни писал Сергей Сергеевич, что этого человека нельзя отпускать, пока он не объяснит, почему в его квартире Саша оказался мертвым, Таиров все-таки уехал, увозя с собой тайну сапиной смерти). Теперь, с возможным исчезновением главного свидетеля, особое значение приобретали остальные, и Сергей Сергеевич стал настойчиво просить, чтобы следователь (очередной, — они, кстати, сменялись) вызвал на допрос бывшую жену Таирова Оксану, а также Рыбина с женой.

Как он проклинал себя потом за эту свою настойчивость!
Потому что Оксану нашли убитой.

То было зверское убийство. Произошло оно на квартире какого-то Родина, наркомана, сколько можно судить (приговора еще не знаю), убивали Оксану втроем, сам Родин, его жена и их приятельница. Молодой женщине ввели в кровь воду с воздухом, обычно это влечет за собой немедленную смерть, но Оксана не умерла, и инъекцию повторили; потом тело разрубили на части, засунули в чемодан и собирались вывезти, но обо всем этом стало известно их знакомому (преступники опять же не больно береглись), он сообщил в милицию. Милиция нагрянула и захватила чемодан.

С точки зрения криминалистики дело это трудностей не представляло, трудно было объяснить причины убийства. Многое мог бы прояснить тут Сергей Сергеевич, но его, как читатель верно уже догадывается, несмотря на все его просьбы, свидетелем не вызвали. Он сам пошел в суд.

Взглянул и не поверил глазам своим: на скамье подсудимых сидел Рыбин! Это значит, тогда, на «поминках», Михаил Таиров представил ему Родина под вымышленным именем. Это значит, тогда, на «поминках», Оксана сидела рядом со своими убийцами. Вопрос о том, что бывшая жена Таирова, конечно, многое знала о гибели Саши и могла быть убрана как опасный свидетель, ни на следствии, ни на суде не поднимался.

Вот мы и проследили шаг за шагом ход следствия по отдельно взятому делу.

Как оно вам?

Впрочем, вот еще несколько последних документов из моего досье.

Из обращения Сергея Сергеевича к Прокурору РФ В. Г. Степанкову.

«Глубокоуважаемый Валентин Георгиевич!

На мои заявления на Ваше имя от 18 декабря 1992 года и 2 февраля 1993 года ответов мною до сих пор не получено. «Исчезнувшее» уголовное дело по факту смерти моего сына, не начато до сих пор. За два с половиной года, прошедших со времени его смерти, не выяснено почему:

1. – врач скорой помощи подстанции № 1 Петроградского района скрыл при составлении свидетельства о смерти телесные повреждения на теле сына.

2. – сотрудники милиции при составлении акта о смерти сделали понятными хозяев квартиры, на которой сын был найден мертвым; в опись имущества не были вписаны многие находившиеся при сыне вещи.

3. – не выяснены обстоятельства двух ограблений комнаты сына (в городе и на даче).

4. – не привлечен к уголовной ответственности и ни разу не допрошен судмедэксперт С. К. Булдаков, скрывший наличие многочисленных телесных повреждений.

5. – следователь В. А. Радченко категорически отказался заслушать показания близкого знакомого сына А. И. Каштеляна, который после многократных попыток дать следствию показания, покончил с собой.

6. – прокурор Петроградского района В. В. Филененко на протяжении 7 месяцев отказывал мне в возбуждении уголовного дела.

8. – следователи В. В. Зайцев и А. В. Баклушкин, несмотря на мои многочисленные ходатайства, так и не вызвали на допрос Оксану Лучко.

9. – не привлечены в качестве свидетелей по делу о смерти моего сына С. Родин и его жена Светлана.

10. – уголовное дело, отправленное следователем В. В. Зайцевым 6 декабря 1991 г. (на следующий день после убийства О. Лучко), при его розыске, организованном прокурором 15 отдела Прокуратуры РФ В. С. Михайловым, 30 января 1992 года было обнаружено в прокуратуре Санкт-Петербурга.

11. – прокурор Т. А. Николаева, нач. отдела по надзору за следствием и дознанием прокуратуры Санкт-Петербурга, не только не способствовала пресечению всех перечисленных выше административных и уголовно наказуемых нарушений, но даже ни разу не проконтролировала, как идет розыск

пропавшего уголовного дела.

На суде по убийству Оксаны Лучко были оглашены показания, данные на предварительном следствии участницей в убийстве Светланы Маркиной. Она показала, что после удушения Оксаны жена Родина Светлана (также принимавшая участие в убийстве, но по неясным причинам амнистированная до суда), встав на колени около трупа и перекрестившись, сказала: «Господи, прости – второй человек на моей совести». Кто же был первым?

На мое ходатайство, направленное на Ваше имя, с просьбой передать следствие в прокуратуру Российской Федерации, я тоже до сих пор не получил ответа.

Я доведен до полного отчаяния.»

Как не прийти в отчаяние в борьбе с врагом, когда даже не знаешь, сколько у него голов?..

«Прокурору Санкт-Петербурга В. И. Еременко.

10 декабря 1992 года я обратился с ходатайством на Ваше имя, а 24 декабря был у Вас на личном приеме. Я просил способствовать скорейшему розыску уголовного дела по факту смерти моего сына. (Хочу подчеркнуть, что дело это теряется второй раз.)

Уголовное дело вместе с материалами вскрытия и эксгумации тела сына, его медкартой и заключением комиссии Бюро ГСМЗ МЗ РФ о причинах смерти было направлено 17 июня 1992 года в Санкт-Петербург заказной бандеролью № 335 из почтового отделения г. Москвы 113035 по адресу: 197061, Санкт-Петербург, ул. Скороходова дом 20. Прокуратура Петербургского района г. Санкт-Петербурга, следователю Нечаеву А. Г. 19 июня 1992 года эта бандероль была упакована в пакет с маркировкой «№ 400», который был доставлен 21 июня 1992 года на Главпочтamt Санкт-Петербурга, откуда бандероль с уголовным делом и заключением экспертов была направлена в 61 отделение связи. Следователь А. Г. Нечаев по его заявлению бандероль не получил. Как сообщила мне начальница отделения связи, только прокурору может она сообщить о том, поступила ли бандероль в отделение связи и была ли она получена, а к ней никто не обращался с запросом о поиске такого отправления.»

По-видимому, эту ситуацию можно расшифровать так: начальница отделения связи и рада была бы открыть тайну бандероли, да некому открывать: прокуратура этой тайны узнавать не хочет?

«Прокуратура города Санкт-Петербурга.
12.03.1993.

Ваша жалоба, направленная в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, поступила в прокуратуру города Санкт-Петербурга и рассмотрена.

Сообщаю, что уголовное дело № 381054 до настоящего времени не обнаружено.

Прокурору Петроградского района дано указание к немедленному восстановлению материалов вышеуказанного дела, не прекращая действий, направленных на его розыск.

О результатах Вам будет сообщено.

*Первый заместитель прокурора города
старший советник юстиции В. Д. Большаков».*

Сколько знаю, районная прокуратура и отделение связи № 61 расположены на одной улице. Может быть, районному прокурору, чем заново восстанавливать дело с неизбежными при этом пропусками и прорехами, все-таки лучше было бы перейти улицу? Или этим юристам нужны именно пропуски и прорехи?..

И наконец, последний документ.

«Прокуратура города Санкт-Петербурга. 17.03.1993.

Ваши жалобы, поданные на приеме в прокуратуре города Санкт-Петербурга 1 и 4 марта 1993 года, рассмотрены.

Сообщаю, что на жалобу аналогичного содержания, направленную в Генеральную прокуратуру Федерации, Вам дан ответ первым заместителем прокурора города Санкт-Петербурга 12 марта 1993 года.

*Начальник отдела 15/1 по надзору за следствием
и дознанием советник юстиции Т. А. Николаева».*

Так написал Сергею Сергеевичу человек, впрямую ответственный за ход, сроки и качество расследования.

Практически с тех пор, как Саша стал государственной собственностью, местная машина правоохраны работала только на то, чтобы скрыть причины его смерти. Иначе говоря – и тут уж некуда деться – по сути, объективно, в помощь убийцам работала.

А теперь представьте себе, что следствие вел бы Иесса Костоев или те работники московской прокуратуры и милиции, которые раскрыли тяжкое преступление за сорок часов. Да разве осмелился бы эксперт принести им свою филькину грамоту? Неужто они дали бы Таирову болтать все, что вздумается, неужто не взяли бы в клещи

вопросами – если они с Сашей были в квартире один на один, откуда ссадины и откуда мощное кровоизлияние на виске, кто мог это сделать, кроме него, Таирова? Куда подевались сашинь часы, кроссовки, у кого два дня были ключи от его квартиры? Почему он, Таиров, так поздно сообщил о несчастье родным?

Думаю, профессионалам потребовалось бы несколько часов, чтобы выйти на след – все нити лежали на поверхности.

В разваливающемся государстве преступность всегда сильно растет, это известно (в годы бедствий из подвалов лезут крысы), от сотрудников правоохранительных органов жизнь требует работы едва ли не сверх человеческих сил – и они работают. А «черные следователи» (еще и еще раз повторю !) работать не умеют, ловить преступников не могут – и потому идут «другим путем», точнее двумя: хватают невинного, порой первого попавшегося, – или бездействуют, злокозненно и непробиваемо.

О чём я говорю?

О «черном следствии», о том, что оно существует и что нынче оно обнаглело.

О чём я говорю?

Об оборотнях – и в который уже раз.

«Стучусь к интеллигенции, пытаюсь пробиться к ней, – это Григорий Явлинский в одном из своих интервью. – Если окажется, что она по определению неспособна ни на что такое, сядем с вами и будем думать: к кому обращаться еще? Если в душе что-нибудь останется. Я и здесь готов к поражению, я знаю, в какой стране я живу, но я не могу не использовать шанс. Знаете, этакий пессимизм мысли при оптимизме воли.»

Мне понятно тут каждое слово.

Я тоже знаю, в какой стране живу, и чего это нынче стоит – усилие достучаться до людей. Говоришь им (с материалами в руках, с документами доказываешь): любой из вас может попасть в подобный кафкианский кошмар, с любым может это случиться. Поражены бывают (тоже, кстати, не в первый раз), зажмуриваются, прижимают уши. Настаиваю: это может случиться не только с вами, с вашим сыном! Плотнее зажмуриваются, сильнее прижимают уши. На что надеются? Единственно на то, что с кем-то другим это случится, не с ними, не с их близкими...

Надежда – величайший фактор социальной психологии. Верить в ангела-хранителя, в архангела, своим мечом карающего злодеев, – это потребность человеческой души. Но увы, силы небесные безопасности не гарантируют, приходится надеяться на государство, на его правоохранительные органы, на ту надежность, которая присуща им по определению. Это огромная структура, встроенная в общество мощным стволом, разветвленная, пронизывающая страну до самых ее глубин. Это опора и надежность, иначе какой в ней

был бы смысл? От одного сознания, что она есть, общество успокаивается и здоровеет. Здесь, конечно, не ангелы, но – защитники, случись беда, знаешь, кого звать на помощь.

А если ствол загнивает, если по ветвям его бежит отрава – не распространится ли по всему общественному организму трупный яд?

Саша, баррикадирующий дверь своей комнаты, Алик, так напрасно звонивший следователю, Оксана рядом с убийцами – все они были одни на темной дороге; пропадающие материалы, скользкие, лживые ответы, люди, умеющие не видеть и не слышать – поневоле воздвигается перед нами образ огромного, облеченного в мундир коллективного оборотня. Но сейчас, когда все мы оказались на темной дороге, не опасен ли он уже и самой стране, самому ее существованию? Как поведет он себя в роковую минуту? А вдруг так же вот, как в японской сказке, проведет ладонью по лицу, которое станет гладким, как яйцо, и кто знает, каким еще ужасом обернется?..

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК ЦАРЯ

В ряду множества чудаков и эксцентриков, которыми так богата отечественная история, инженеру Николаю Александровичу Демчинскому (1851 - 1914) принадлежит далеко не последнее место. Обладая тремя дипломами - Петербургского института инженеров путей сообщений, Горного института и юридического факультета Киевского университета, свободно владея несколькими языками, он служил на железных дорогах, занимался изобретательством, первым в России начал строить электрические станции, содержал собственную цинкографию, был присяжным поверенным, издавал специальные и массовые газеты и журналы и, главное, очень много писал - в самых разных жанрах. Совершенно случайно эти заметки попались на глаза Николаю II. В результате журнал Демчинского «Климат» начал субсидироваться правительством, а сам Демчинский на какое-то время стал вход во дворец и вскоре уже давал письменные советы государю. Одно из таких писем мы и предлагаем вниманию читателей, полагая, что оно представляет немалый интерес и своими оценками, и тем, что, в сущности, выражает мнение немалой части тогдашнего русского общества.

Обращаясь к письму Н. Демчинского сегодня, можно констатировать печальную истину: что бы ни менялось в России, какая бы власть, словно погода, ни стояла на дворе, суть и некие коренные основы нашей действительности никак не хотят меняться. Проблемы, стоявшие перед обществом лет сто назад, почти в том же виде и ныне застята нам дорогу. Сам Демчинский говорит об этом, прямо указывая Николаю Александровичу, что никакие «высшие» цели не могут быть причиной отступления от законов нравственности и, во-вторых и в-главных, никакие благие преобразования не могут быть осуществлены без прямого и реального участия в них народа. Не так ли и нынче вместо настоящего диалога с народом власть страстью и сбивчиво ведет свой монолог, ничего не слыша, словно глухарь на току? И не кончится ли это тем же, чем кончилось несколько десятков лет назад?

Пользуясь милостивым разрешением Вашего Императорского Величества изложить письменно более подробно те соображения, которые я имел счастье доложить лично Вашему Величеству, я спешу оговориться, что во всем дальнейшем изложении Вы изволите найти только лишь искреннее, глубокое убеждение, чуждое всяких иных соображений, кроме искренности. Считая, что только то слово ценно, которое исходит из глубины души, я прошу не осудить меня за то, если что-либо в этой записке будет дисгармонировать с существующим течением или же будет противоречить принятому курсу. Наши предки в подобных случаях говорили так: «Позволь мне, Государь, слово молвить, либо прикажи голову срубить». То же самое повторю и я: «Позвольте мне, Государь, высказать всю правду и сказать ее прямо пред лицом моего Повелителя, а не где-то за углом, или прикажите мне замолчать». Милостивое разрешение Вашего Величества подать Вам мою записку я осмелился истолковать как утвердительный ответ на первую половину приведенного выше старинного обращения к Государю его преданных слуг.

Всякое убеждение должно быть основано на каких-либо соображениях: в настоящем случае их две категории: 1) история последнего полувека и 2) действительные потребности жизни России.

История последнего полувека

В начале пятидесятых годов истекшего XIX столетия (над Россией разразилась великая гроза — турецкая война, а (за ней последовала и Севастопольская кампания)**пания. Из-под стен этого геройического города Россия вышла победоносной и приниженной дальнейшими дипломатическими шагами***. Это событие по справедливости считалось его современниками величайшим бедствием, но не так смотрим на него мы, отошедшие от тех времен на полвека. Только такое великое потрясение могло обнажить все наши внутренние недуги, только оно одно могло показать всю несостоятельность тогдашней внутренней организации. Не боясь преувеличения, можно сказать, что Братская могила в Севастополе — вот основание нашей гражданственности. Со времени падения Севастополя начи-

* Публикуется по авторизированной машинописи: ГАРФ, ф. 601, оп. 1, ед. хр. 858.

** В оригинале угол листа оборван. Заключенное в скобках добавлено публикатором по смыслу письма.

*** По завершившему Крымскую войну Парижскому миру (1856) Россия теряла владения в устье Дуная, право иметь флот на Черном море и право покровительства христианам в Турецкой империи.

нается новая эра, начинается новая жизнь России, совершенно и абсолютно ничем не похожая на ту, которая была до этой великой эпопеи. Если бы мир был заключен Императором Николаем I и если бы он продолжал и дальше царствовать, то поучительность Севастополя с точки зрения внутренних распорядков, вероятно, пропала бы для нас. Общечеловеческое свойство таково, что всякий человек, проживший несколько десятков лет, стремится сохранить то, что сделано им за жизнь. Но история, этот неумолимый вершитель судеб, устраивает со сцены прежнего деятеля, и притом в самый тяжелый момент всей кампании и ставит на его место Императора Александра II, человека с мягким, добрым сердцем и с душой рыцаря. Этот новый властелин скрепя сердце сказал роковое слово: «мы побеждены», хотя, видимо, про себя прибавил: «но мы победим», так, по крайней мере, следует думать по всему последующему за Крымской кампанией.

Тотчас по вступлению на Престол Императора Александра II начинается целый ряд реформ, из которых каждая в отдельности могла бы в достаточной мере прославить отдельное Царствование. Все величие этих реформ заключается в том, что во всех них без исключения проводится одна и та же мысль — привлечение общества в помощь Правителю. Как ни разнятся с первого взгляда такие реформы, как освобождение крестьян от судебной реформы или судебная от земства, но все они связаны одним центром, одною великою мыслию — участием общественной инициативы в деле управления Государством. В этой одной мысли весь секрет величия реформ Александра II. В то тяжелое и беспорядочное с точки зрения внутренних распорядков время, можно было испечь десятки, сотни реформ и все они были бы для того времени хороши, но они не были бы исторически велики, потому что теперь мы бы о них и не знали ничего, разве только по учебникам. Только такие реформы, которые одухотворены мыслию и внушены сердцем, — переживают и нас, и наших потомков. Ни страшная воля Петра I, или Николая I, и никакая сила штыков уже не вернёт Россию к крепостному праву, так же точно, как никогда уже впредь общественный суд не будет заменен единоличным судьей или земство — приказом общественного призрения. Эта канва — вечна и дальнейшие узоры могут быть вышиваемы только по этой канве. Таково отличие реформ духа от реформ внешних условностей.

В царствование Императора Александра II были попытки реформировать и другие стороны общественной жизни, но так как в основание их не было положено начала общественности, то они отцвели так же скоро, как и народились, или же, что еще хуже, породили ту смуту, из которой и по сие время мы не можем выбраться. В числе последних следует подчеркнуть одну, особенно резко выделившуюся, в которой Император Александр II пошел почти единоличной Своей волей против инстинкта всего общества,

против всей России, подписавши Свои имя в журнале Государственного Совета под именем Министра Народного Просвещения графа Толстого.

Нужно ли говорить о тех печальных последствиях, которые получились от этого смелого шага? Никакие нигилизмы, социализмы и прочие измы вместе взятые не причинили России столько вреда, как Катков и Толстой*; вот уже тридцать с лишком лет мы пожинаем посеванное ими и не можем отделаться от отравления всего общества десятками недоучек, выброшенных бездушной, чисто формальной школой за борт житейского корабля. Эта школа убила всякие зачатки воли и способности работы и труда, научив юношу с малых лет относиться к делу лишь формально. Результат налицо: тысячи чиновников, способных отсиживать от такого-то до такого-то часа на стуле, еще большее число ищущих такого же занятия, хотя бы на тридцать рублей в месяц, но нигде нет личной инициативы, этого главного фактора народного богатства. Чем богата Америка? Только личной инициативой своих сограждан, крепких телом и духом и потому способных работать на свой счет, страх и риск. А у нас? Вся интеллигентная Россия прячется за двадцатое число**, а кто не успел за него укрыться, тот нищенствует, либо не выходит из приемной земельных Банков, прося об отсрочках и всяких льготах.

Наследие Толстовской школы – загубленное поколение, без всякой воли, лишенное способности труда, лишенное личной инициативы и, что всего прискорбнее, – без всяких правил в жизни. Формализм и только внешний бездушный формализм.

Это гибельные последствия учебной реформы еще раз иллюстрируют то, что там, где общество устранило от участия, ничего хорошего получиться не может, а какое же участие могло оно принять в долбежке латыни и греческого? Вместо помощи родители поносили школу, в большинстве случаев при детях. Вместо того, чтобы внушать юношам о необходимости и пользе приобретаемых в гимназии познаний, им преподается самими отцами совет только.

* Толстой Дмитрий Андреевич (1823 - 1889) – граф,ober-прокурор Святейшего Синода (1865 - 1880), одновременно Министр народного просвещения (1866 - 1880), министр внутренних дел и шеф жандармов (1882 - 1889). В бытность министром просвещения активно внедрял классическую систему обучения (то, что современники называли «толстовской классической гимназией»). Катков Михаил Никифорович (1818 - 1887) – публицист, издававший газ. «Московские ведомости» и журн. «Русский вестник». Оказывал большое влияние на деятельность Д. А. Толстого на посту министра просвещения.

** Традиционно установленная в России дата выдачи жалования.

бы сдать экзамен, да получить аттестат, сокрушаясь тут же о том, что бедного мальчика умышленно забивают и притупляют во имя какой-то фикции, во имя идеи чисто полицейской!

Результат такой воспитательной системы следовало предвидеть: получилась борьба интересов государственных и общественных, борьба не открытая, а глухая, затаенная и тем более опасная. Всякая неудача интересов правительственные стала приятна обществу, потиравшему руки от тайной радости. В конце концов дело дошло до того, что стало теряться понятие о добре и зле, о честном и подлом — то же самое, что и во всякой борьбе. Как далеко зашла эта борьба, иллюстрирует рассказ одного из Директоров Московской гимназии: служат панихиду по Министру Боголепову*; один из мальчуганов все время разговаривает и улыбается. После панихиды Директор вызывает его и спрашивает, почему он не молился, а смеялся? Мальчуган отвечает: «О чем же сокрушаться? Папа вчера говорил: слава Богу, что его убили».

Вот зрелые фрукты розни Государства и общества, розни, происходящей от глухой, скрытой борьбы! Во имя ее оправдывается убийство и на этих принципах воспитывается юношество. Где же тут искать понятия о добродетелях? Что ожидать в будущем от этого мальчугана?

Ваше Величество! Здесь настало время еще раз повторить старинное обращение к царю:

Прикажи мне, Государь, говорить только правду, одну правду, или прикажи мне голову срубить!

Клянусь вам, Государь, клянусь всем счастьем детей моих, что я скажу только правду, если буду утверждать, что из тысячи интеллигентов много-много пятьдесят перекрестили лоб, когда узнали о смерти Боголепова, а остальные повторили то же, что и отец этого гимназиста. Повторили они эту фразу не потому, чтобы имели что-либо против покойного Боголепова; нет, они его совсем и не знали, но он был носитель все той же ненавистной идеи, так сказать, предводитель противного лагеря.

Ужас охватывает при мысли о том, что мы живем среди такой обстановки, когда после убийства служат благодарственные молебны вместо панихид, когда рознь между Правительством и обществом дошла до таких размеров, что несчастье ближнего становится предметом общей радости, если этот близкий принадлежал к противному лагерю! Если вникнуть поближе в эту обстановку, да не бояться заглянуть правде прямо в глаза, то положение дел представляется таковым: Правительство само по себе — общество само по себе; второе время от времени нападает исподтишка, а первое находится постоянно в оборонительном положении, имея рас-

* Боголепов Николай Павлович (1846 - 1901) — профессор римского права, ректор Московского ун-та в 1883 - 1887 гг. и в 1891 - 1893 гг., министр народного просвещения в 1898 - 1901 гг. Автор «правил» об отдаче в солдаты «крамольных» студентов. Убит 14 февр. 1901 г. эсером П. В. Карповичем.

сыпанную впереди цепь в виде урядников, жандармов и даже, по словам самого покойного Толстого, — латинский и греческий языки. В центре сгруппированы Министерства, а в резерве вся армия. Положение вполне боевое, вместо нормального развития государственной жизни на почве общих интересов мирного прогресса всех богатств страны.

Само собой очевидно, что не следует толковать наших слов так, будто бы все эти ужасы вызваны латинским и греческим языком; пусть преподают в школе еще санскритский или арабский язык, от этого беды никакой не будет; вся суть дела в системе, в циничной откровенности, что школа должна служить полицейским орудием для регулирования мозгов, независимо от того, на сколь полезны или необходимы преподаваемые предметы; вот против этой-то идеи и восстало общество с самого начала. Если теперь говорит много о древних языках, то это просто потому, что ненависть к школе переносится на преподаваемые предметы, так же точно, как и сладость боевой победы переносят с системы на ни в чем не повинное лицо. К тому же следует добавить, что в течение сорока лет со времени великих реформ постоянно что-либо урезывается от них; каждый новый Министр, а их в течение сорока лет сменилось много, считал своим долгом что-либо да отнять из тех прав, которые были дарованы обществу. Всякий такой укол прибавлял лишнее раздражение, выросшее в конце-концов в описанное выше боевое положение.

Правда, реформы Александра II следовали одна за другой настолько спешно, что несомненно должно было отразиться на несовершенстве писанных уставов, каковые и следовало впоследствии дополнять, по мере выяснения редакционных недочетов. То ли мы видим в действительности? Вместо дополнения и развития основной мысли, мы видим полный ход назад решительно во всех реформах, то есть и в крестьянской, и в судебной, и, главным образом, в земской. Очевидно, общество, привыкшее уже к началам общественности, не могло оставаться равнодушным, а с другой стороны, воспитанное в началах преданности Престолу и Царю — не вступило и не вступит в открытую борьбу; в результате получился полный правительственный индеферентизм. Вся тяжесть хозяйственного Управления обширнейшей в мире страны ложится тяжелым бременем на Правительство, которому приходится теперь думать и распоряжаться: начальной школой и университетом, земским начальником и сельским старостой, больной коровой и арестным домом, орошением Саратовской губернии и осушением Новгородской, кормлением неимущего и переселением малоземельного, починкой проезжих дорог и открытием в подходящем месте кабака и т. д., и т. д. Ко всем этим житейским мелочам следует прибавить главные функции Государственного Управления — охранение мира внутреннего и внешнего, и в конце-концов получается бремя, непосильное никакому Правительству в мире, бремя сверх всяких человеческих сил.

Таков исторический ход внутренних реформ за последние полвека со всеми их последствиями. Была попытка со стороны императора Александра II в конце Его царствования сделать и еще один решительный шаг (говорю это со слов народной молвы) – дать конституцию России*, но та же история, не терпящая противоречия себе, накануне этого шага отстраняет от России удар и не дает совершившись этой пагубной и непоправимой ошибке. Шаг этот был смелый, но неверный; он завел бы нас в невылазные дебри и вероятнее всего погубил бы Россию как единое, могучее Государство. Если в Австрии – стране значительно более старой (гражданственно), чем Россия, в стране, в которой борются всего лишь две партии – немцы и славяне, в Парламент ходят с арапниками и револьверами, то что же было бы у нас? История, очевидно, распоряжается умнее, или, по крайней мере, целесообразнее нас; она сама разлагает то, что гнило, и поддерживает жизнь целого, если это целое еще крепко и здорово. Только тот, кто верит всеми силами своей души в величие России, кто предан ей без страха смерти за ее благополучие, кто любит ее выше своего благоденствия, словом, кто, по словам св. Писания, «душу свою продаст за ню», только тот поймет торжественную поступь истории и увидит в трагической картине гибели самого либеральнейшего из Монархов, неумолимый рок, отрезавший, так сказать, ту руку, которая готова была подписать смертный приговор России. – Россия должна быть монархией и притом монархией абсолютной. Если когда-нибудь и придется говорить о конституции, то разве только тогда, когда поляк и татарин, финн и грузин, чуваш и потомок древнего Рима – все сольется воедино, с единым духом и единым помыслом, когда все это будет носить одно имя «русский». А до того времени все духовные силы Русских Монархов должны быть направлены на дело их Великих Предков – «собрать Русь», и, конечно, не в смысле географических границ, а в смысле духовного объединения всех разрозненных элементов, входящих в ее теперешний внешний остов. Эта задача так велика и сложна, что если бы каждые четверть века мы приближались всего лишь на одну букву к полному слову «конституция», то в Царствование Императора Александра II мы вправе были бы написать разве только одно «К».

Итак, в течение первой половины рассматриваемого полувека выяснились следующие существенные моменты в жизни России:

1) Севастополь вскрыл с беспощадностью ножа хирурга все раны нашего внутреннего устройства. Нужно было начать правильное лечение.

2) Диагноз болезни показал, что устройство Государственного Управления на началах «единоличия власти» всей длинной чинов-

* Речь идет о так наз. «конституции М. Т. Лорис-Меликова», указе о привлечении представителей земств и городов к участию в высших государственных учреждениях, подготовленном как раз ко дню гибели Александра II, 1-му марта 1881 г.

ной лестницы есть причина болезни. Последующие Сенаторские ревизии подтвердили этот диагноз и показали воочию, что в России столько самодержцев, сколько помещиков, даже с правом жизни и смерти, что каждый Губернатор распоряжался губернией на «полнейшей волошке» и что губерния давалась Губернатору, как и полк — командиру, на «кормление», как прежним воеводам (например, ревизия Пензенской губернии).

3) Правильно поставленный диагноз вызвал и правильно назначенное лечение — уничтожение «единоличной власти» на нижних и средних ступенях лестницы и призвание общества в качестве сотрудника в трудном деле местного Управления.

Все это совершилось в высшей степени логично и последовательно, хотя может быть для такой крупной ломки несколько и спешно. Но как бы то ни было, вся Россия была призвана к новой жизни, жизни свободной, жизни общественной, и она пошла в рост, с изумительной быстротой освоившись с новым положением. Сразу раздался костяк и выросли мускулы. В этой внутренней работе — забытое и недавнее поражение, все и вся понесло свои силы на пользу единой, дорогой родине. Я счастлив тем, что хотя юношей, но пережил эту эпоху и был свидетелем колоссального подъема духа и сил общественных.

Не прошло и десятка лет, как прежний больной не только окреп, но и вырос втрое против прежнего. Вместе с силой физической поднялись и силы моральные и у этого великана стали появляться такие тонкие чувства, как самолюбие, чувство это стало подсказывать нам, что твориться что-то неладное в наших внешних отношениях, которые были основаны главным образом на чувстве родства, хотя бы и в десятом колене. Прежде чем предпринять что-либо, справлялись по родословной книге и уже затем писалась нота в том или ином виде. Самым резким примером подобных отношений был 1870-й год, когда мы не остановили тетушку-Германию у Седана*, несмотря на самые торжественные ее обещания,

* Франко-прусская война 1870 - 1871 гг.

После ряда поражений французская армия Наполеона III была взята в плен при Седане (2 сент. 1870 г.) после чего в результате так наз. Сентябрьской революции Французская империя пала, а немецкие войска осадили Париж, взяли Мец и т. д.

По заключенному после Франко-прусской войны Версальскому мирному договору Франция обязалась уплатить Германии пяти миллиардную контрибуцию и уступила Эльзас-Лотарингию Германской империи, образование которой было провозглашено в Версале в дек. 1870 г. В янв. 1871 г. германским императором был провозглашен прусский король Вильгельм I.

что она ведет войну не с Францией, а только с Наполеоном. Из тетушки стала вдруг (в Версале) Империя, которая причиняет и причинит нам еще много-много хлопот. Эта самая тетушка, которую мы сами же выдумали, не далее как через шесть-семь лет после своего нового наименования не замедлила отблагодарить нас достойным образом, пригласив нас из-под стен Константинополя в Берлин на Конгресс.*

Очевидно, Господь Бог не дает одному человеку всех талантов. Гигант-реформатор у себя дома оказывается слабым политиком. Проникли ли это обиды глубоко в душу современников Императора Александра II или все увеличивающееся сознание своей силы в лице главных деятелей России, но на смену Александра II является крупнейшая историческая фигура императора Александра III, человека с непреклонной волей, с вполне определенными стремлениями, человека, про которого, пародируя французскую поговорку, можно сказать: «Он был более Русак, чем русский человек». Все Его Царствование можно охарактеризовать тремя словами – Россия для России.

Не знаю, насколько верны, но существуют два типичнейших рассказа из жизни Александра III, которые я и позволю себе привести здесь, так как они рисуют эту величественную фигуру во весь рост. Если даже эти рассказы народной молвы и не верны, то все же они очень ценные для нас, так как указывают на то, каким человеком представлялся русскому обществу – его Повелитель.

1) Получается откуда-то какой-то ультиматум с выраженным в довольно грубой форме требованиями. Министр Иностранных дел спешно является вне очереди с докладом.

– Что отвечать?

– Отвечайте, – говорит покойный Государь, – что требования изложены в такой форме, что вы не решаетесь мне их доложить.

И ультиматум канул в вечность.

2) Император отдыхает в шхерах и, как говорят, не любил, чтобы кто-нибудь нарушал Его отдых. Но вот является Министр Гирс**.

– Что хорошего?

– Спешное дело, Европа волнуется... Нам пишут...

– Напишите им: когда Русский Царь ловит рыбу, Европа может подождать.

Какая страшная мощь в этих рассказах, какое непоколебимое сознание своей силы, своего положения, сознание силы той страны, на которую опирается это величие. Пусть эти рассказы будут выдуманными,

* Берлинский конгресс был созван в 1878 г. под председательством Бисмарка для пересмотра Сан-Стефанского мирного договора, завершившего Русско-турецкую войну 1877 - 1878 гг. Значительно урезал территориальные приобретения России и ограничил ее влияние на Балканах.

** Гирс Николай Карлович (1820 - 1895) – министр иностранных дел в 1882 - 1895 гг.

их цена еще более возрастает, так как в этом случае они превращают лицо реальное в мифическое, а самый рассказ — в народный эпос. Значит, таким колоссом рисовался он народному воображению.

«Когда Русский Царь ловит рыбу, Европа может подождать» — и она ждала. Вот что такое Русский Царь, вот та собирательная сила, суммированная из души каждого из нас, вот та высшая, чистейшая идея, кристаллизованная из русской моли, русского величия, самого лучшего чувства русского сердца, вот Он, вот Он — Русский Царь!

Нужно ли что-нибудь добавлять к этому величию? Очевидно, жизнь Империи потекла так, как и следовало ожидать. Все русское гордо подняло голову и недавние тетушки как-то неожиданно превратились в заискивающих племянниц, ожидающих в Петербурге, когда царь вернется из шхер. Вся внешняя политика Императора Александра III вылилась вполне в знаменитом Петергофском тосте*: «Пью за здоровье единственного моего друга — князя Черногорского Николая». В этих немногих словах сокрыт глубочайший философский смысл, — суть всех политических отношений, в которых всякий стремиться урвать себе что плохо лежит в чужом кармане, прикрывшись для этого турецкой шалью старой тетушки или затянутым корсетом юной племянницы, или, наконец, вооружившись пламенными объятиями искреннего друга. Все хорошо, лишь бы запустить руку в карман соседа.

А мы-то, простаки, все столетие верили в дружбу и в родство; все столетие таскали своими руками каштаны из огня, то спасая Европу от антихриста Наполеона, то выручая Австрийскую корону от нападка Венгров, то помогая соседу развиться в Империю и получить на первые расходы по изготовлению новой короны — пять миллиардов. Но наконец-то История дала нам твердую руку и крепкую волю, которая не побоялась сказать громко, что все это бредни, что все эти лобзания только затем расточаются, чтобы на другой же день продать лобзаемого за тридцать серебренников. Эта же историческая воля продиктовала нам серьезный урок, она указала на то, что только общность интересов, а не сантименты могут связывать нации. Видя эту общность интересов по ту сторону новой империи, на берегах Сены, Император Александр III не зовет, а милостиво разрешает эскадре Жерве прибыть в Кронштадт.** Ворота открыты и в них хлынуло широкой рекой народное чувство. И этот широкий поток есть еще одно подтверждение

* В 1889 г. во время приема в Петергофе Александр III поднял тост, в котором назвал черногорского правителя, князя Николая Негоша (1841 - 1921) «единственным искренним и верным другом России».

** В 1891 г.; визит знаменовал заключение Франко-русского союза.

твердости всего того, что основано на единении Правительства и общества. Россия давно отдавала все свои симпатии Франции и как усиленно ее ни соблазняли родством соседки, русское общество всегда недружелюбно относилось к ближайшей соседке.

Когда был произнесен Петергофский тост, я живо помню тревожное впечатление, которое он произвел во всех уголках России, казалось, что мы накануне войны, думалось, что эти слова встревожат весь европейский курятник. Но, очевидно, Тот, Кто говорил их, передумал и перестрадал каждый звук Своей речи и обсудил все это лучше нас всех. В этой мысли, в этом чувстве и лежит граница великого от ничтожного, мощного от жалкого. Курятник действительно всполошился, но только не так, как мы думали: вместо недовольства и угроз со всех сторон потянулись пальцы, указывающие: «вот где Россия», которую ранее того знали только по географической карте.

Все Царствование императора Александра III было посвящено одной идеи – укреплению силы и моцни России, в которую Он первый верил всеми силами своей души. И вот за какой-нибудь десяток лет Россия понемногу перебирается из задних рядов Берлинского Конгресса в первые ряды, а затем на пульт первой скрипки европейского концерта, завладевая, наконец, и дирижерской палочкой. Бывая по своим делам часто за границей, я с чувством полного удовлетворения читал газеты, в особенности когда на политическом горизонте набегала какая-нибудь тучка. Читашь, бывало: Англия сказала то-то, Германия высказалась так-то, но... Россия еще не сказала своего слова! И в этой фразе ясно видно, что все то, что сказано уже – почти ничто, все ждут, что-то скажет Петербург?

Вот то величие духа, которое дал России Император Александр III, и уж конечно не «Миротворца» заслужил этот Великий Русский человек. Какой-то фальшивой нотой звучит в моем уме этот титул! Будто бы Александр III постоянно искал мира – это неправда! Из того, что Он, может быть, имел отвращение к войне и всю свою силу направлял на сохранение мира, еще далеко не следует, чтобы Он искал мира. Нет, и тысячу раз нет! Я готов положить голову на плаху за то, что Этот Государь не позволил бы никому наступить себе на носок, а если бы кто-либо и осмелился это сделать, то Он, хотя бы ценою десятков тысяч жизней, сумел бы заставить уважать Свое русское «Я». В этом был уверен весь мир, который и дал дорогу Гиганту к дирижерской палочке.

Нет, не Миротворец Он, а Духотворец. Он, и только Он один, создал и сделал всем понятным русское самолюбие, русскую моцнь, русское национальное величие. Мир праху Твоему, Великий творец духовных сил России!

Итак, краткий исторический очерк почти полувековой жизни

России кончен. Очерк действительно краток, и даже очень, но размер настоящей записки не позволяет распространить его. Несмотря, однако, на эту краткость, мне хочется верить, что я хотя несколько совладал со своей задачей — высказать правдиво, искренно мой «символ веры», высказать то, что можно чувствовать, но чего никогда бы я не повторил ни в какой частной, хотя бы и дружеской беседе. Перед Тобою, Великий Государь, все мои помыслы, все мои святые чувства веры в будущность России, в ее величие, ее историческое призвание. Суди их, Государь, по всей Твоей Царской Воле!!

Какие же результаты прошедших двух Царствований? Что дали они России реального и какой нравственный урок преподал нам истекший полувек? Какое наследие досталось Вашему Императорскому Величеству?

Оба предшествующие Царствования можно и даже следует рассматривать как одно, ибо каждый из двух Великих Монархов логически дополнял другого. Вся мудрая политика Императора Александра III не могла бы найти себе применения, если бы, например, Он вступил на престол тотчас вслед за Императором Николаем I. Нельзя было бы заставить уважать свою мощь, когда весь организм был болен. Поэтому-то я и сказал, что Царствования двух последних Государей логически связаны между собой и потому составляют как бы одно целое. Это одно целое и воспитало такую мощную силу как Россия, силу, равной которой нет во всем мире. В настоящий момент только одна Россия могла бы буквально запереть свою границу и могучий рост продолжался бы по-прежнему быстро; скажу в скобках, вероятнее всего, и разбогатела бы гораздо быстрее, чем при современном международном обмене, каковой обмен при настоящем положении вещей скорее для нас разорителен, чем полезен.

Результаты двух Царствований — совершенно невероятный рост, и физический, и духовный: население более чем удвоилось, Государственный бюджет возрос с 350 миллионов почти до 2 миллиардов, — число учебных заведений возросло в такой степени, что теперь высших школ стало больше, чем при начале рассматриваемой эпохи было гимназий, а число низших школ считается десятками тысяч. Несмотря на такое приращение учебных заведений их все-таки мало и стены их не могут вместить в себе и половины желающих учиться. Насколько у нас мало низших школ, показывает сравнение с Прибалтийскими губерниями. Последние дали в 1899 году всего лишь 2% неграмотных новобранцев, а Харьковский округ дал их 87%. Из этого следует, что приращение школ отстает сравнительно с приращением населения.

Указанный рост всего организма России сделал то, что теперь этому гиганту тесно в той избе, которая выстроена 40 лет назад, и

вот он начинает понемногу выпирать локтями стены, а затылком уперся в потолок. Всякий добрый хозяин по мере увеличения своей семьи все прибавляет и прибавляет разные пристройки для подрастающего поколения. Казалось бы, то же следовало делать и Государству. К сожалению, обзор предыдущих сорока лет убеждает нас в противном. Вместо того, чтобы расширять избу, мы урезали от нее всякие уголки, делая пристройки не снаружи, а вовнутрь, сажая в эти пристройки чуть не по тысяче новых чиновников каждый год, урезая тем самым то великое начало, которое было положено в основу всех реформ, то есть начало общественное. Это урезывание легло тяжелым бременем на Правительство, принудив его принять на себя такие заботы, которые должно было бы нести общество, что, в свою очередь, вздуло совершенно ненормально наш бюджет. Увеличение бюджета повлекло Государство совсем в другую сторону; нужно подумать и очень подумать, откуда достать такую сумму денег, и вот Государство мало-помалу начинает сворачивать с прямой своей дороги и к роли Правительства начинает понемногу примешиваться купец, или, еще того хуже, — мелочной торговец. Еще «великий старец» Гладстон* высказал, как руководящее начало Государственного Управления: *the business of the government is to govern, but not to handle***. С этим положением нельзя не согласиться, ибо при столкновении в одном лице и судьи, и подсудимого, конечно, страдает Государственная нравственность. Почти каждый день мы видим такие столкновения; например, Правительство издает постановление об обложении зданий или заведений, ну, хотя бы, в пользу земства, и завтра же оно издает постановление — об изъятии от этого обложения целого ряда казенных зданий на железных дорогах. Или еще пример: прежде открытие кабака было правом сельского общества и если оно разрешало открывать у себя кабак, то получало за это известную сумму денег, смотря по бойкости места; но вот пришел «Сам» и, конечно, издал подходящий циркуляр, в силу которого за право открытия кабака, конечно, уж ничего не платит.

Вот в какие сделки с самим собою должно входить Правительство, чтобы изловить лишний рубль на удовлетворение непомерно раздутой армии чиновников. А а настоящее время действительно дохнуть нельзя без чиновника. Только один акт в жизни русского гражданина может обойтись без него — благосклонно разрешается родиться на свет без испрошения на то разрешения, но быть похороненным — уже нужно получить разрешение. В университете и в кассе ссуд, в Министерстве и в кабаке — всюду сидит чиновник.

Такая обширная опека над 150 миллионами населения не по

* Гладстон Вильям Эварт (1809 — 1898) — премьер-министр Великобритании в 1867 — 1874, 1880 — 1885, 1886, 1892 — 1894 гг.

** Дело правительства править, а не торговать (англ.).

плечу никакому Правительству и оно волей-неволей вовлекается в мелочную торговлю, конкурируя с Разуваевыми и Колупаевыми; чего, казалось бы, следовало бы избегать всеми средствами во имя высшего принципа, во имя Государственной нравственности, которая должна быть примером для всех сограждан. Вот эти-то понятия о добре и зле, нравственном и безнравственном и отходят понемногу в область преданий, оставляя нашим детям горький осадок современного мутного раствора с зловещей надписью: «все хорошо, что дает деньги».

Итак, вот в кратких чертах наследие прежних Царствований:

1) Разросшийся до огромных пределов живой организм и притом одаренный такими тонкими чувствами, как самолюбие, сознание своей мощи и силы.

2) Непомерно широко развитая Правительственная опека над жизнью этого колосса и над отправлениями каждого отдельного его члена.

3) Вследствие принятых на себя правительством непосильных забот, ненормально вздутый бюджет и последствие этого — погоня за всяkim лишним рублем, какою бы ценою не получить его.

4) Постоянно расширяющаяся опека Правительства все больше и больше лишает общество личной инициативы, личной предприимчивости, сводя все функции деятельности гражданина к мирному сожитию с урядником, в руках которого наш духовный покой, и умению вы榨ывать у Правительства все новые и новые подачки, от которых всецело зависит наше материальное благополучие.

При таком положении вещей поневоле локти и колени гиганта начинают выпирать стены, а головой он мало-помалу проламывает потолок. Каждый такой пролом истолковывается подходящими сферами как бунт, как протест против существующего порядка! Это совершеннейшая напраслина; нужно удивляться неумению истолковывать самое простое физическое явление. Если в пустое ядро налить воды и заморозить ее, то она разорвет ядро. Неужели в этом факте воду можно обвинять в крамоле? Организм общественный — та же вода, чем больше мы его замораживаем, тем больше вероятия на взрыв. К сожалению, нужно признать, что Наполеон I был не только гениальным военачальником, но и пророком; при беглом знакомстве с Россией он сказал еще сто лет назад, что революция в России никогда не пойдет снизу, а ее сделает мундир. К осуществлению этого пророчества мы двигаемся самыми верными шагами; я даже слышал недавно речь одного русского профессора, который утверждает, что революция в России уже началась 1,5 года назад; другой профессор, в ленте Белого Орла, читает лекции своим слушателям, что самый совершенный образ правления — конституционный, третий, столь же заслуженный наставник, поучает с высоты кафедры, что Россия имеет золотую монету низкой пробы, за что частных людей ссылают в каторгу, называя их фальшивыми

монетчиками. А мы где-то там, в Полтавской губернии ищем крамолу! И все больше и больше замораживает воду в ядре!

Крамола – это тот вздор, который выдуман для оправдания себя фабрикантами общественного льда. Если под словом «крамольник» разуметь недовольного, то я под звон колоколов пойду к присяге, что в России из 150 миллионов 50 миллионов крамольников, 100 миллионов безразлично-апатичных и ни одного довольного. Если же крамолой считать тайный подговор на совершение государственного преступления, то такая крамола не есть только принадлежность нашего времени, а присущая всем временам и всем народам. Заговор Шакловитова, история Императора Павла I, покушение в Париже против Освободителя Европы – Императора Александра I, Декабристы, Убийство Карно, Клевлэнда и т. д., вплоть до наших дней. Все это показывает, что действительная крамола не имеет ничего общего с действительной жизнью. Чем, например, может быть объяснено покушение на Императора Александра II чуть ли не на другой день после освобождения крестьян? Здесь мы, очевидно, имеем дело с фанатиком какой-то идеи, которых, как и всяких фанатиков, не разубедит в их упорстве никакая казнь. Говорить же о крамоле общественной в России – это значит совсем не знать своей родины.

Отличительный признак недовольства русского общества с западно-европейским заключается в том, что все помыслы, все взоры русских людей устремлены к своему Монарху, от Него они ждут своего избавления от страшной тесноты и духоты, в которой приходится жить теперь, к Нему обращены все тайные мольбы о расширении теперь уже тесной избы, выстроенной Императором Александром II; – в Нем они видят защиту от опекающего их чиновника.

Именно теперь самое благоприятное время начать перестройку русской избы. Следует твердо помнить исторический закон, прекрасно сформулированный знаменитым Боклем*: «что одно поколение просит, как милости, то другое поколение требует, как права». Опасно, очень опасно выжидать того времени, когда мольба перейдет в требование, и потому нужно пользоваться моментом и на мольбу ответить милостью.

Соображая все, что сказано в настоящем беглом очерке, не трудно вывести и заключение. Я осмелился лично доложить Вашему Императорскому Величеству, что не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что Царствование Вашего Величества должно быть и несомненно будет Царствованием величайших реформ. В них теперь настоятельная необходимость, об них молит Вас, Государь, все русское общество. Мольба эта никогда не произносится громко, и в

* Бокль Генри Томас (1821 - 1862) – английский историк и социолог, автор книги «История цивилизации в Англии».

особенности тиха она теперь, когда условие мирного сожития с урядником есть единственное мерило чувства к родине. На современной житейской арене нет нигде места проявить свои святые чувства, свою преданность долгу, свое желание не только весь свой труд, но и самую жизнь свою положить на пользу родной земли. Все сведено на почитание урядника и на оказание содействия акцизному чиновнику. Каждым новым циркуляром Правительство как бы говорит каждому из нас: будьте пашнями и слушайтесь ниже-следующих приказаний, а мнения вашего никто не спрашивает.

Клянусь Вам, Мой Обожаемый Монарх, что дальше жить так нельзя, что та рознь, которая установилась между Правительством и обществом, доходит уже до угрожающих пределов, что ядро с водой чересчур уж сильно остужено и что все принимаемые теперь меры еще больше остуживают эту воду — и вот-вот произойдет взрыв.

Прошу верить, что все то, что сказано здесь, не есть легкомысленная критика стороннего наблюдателя, а лишь вопль наболевшей души, который долго таился, ибо нельзя же ничего подобного говорить даже в дружеской беседе. Милость Вашего Величества ко мне и моим работам так велика, что я был долго в раздумье — писать ли эту записку? Боязнь потерять Вашу высокую нравственную поддержку в моем одиночестве при метеорологических изысканиях почти решила задуманное мною писание в отрицательном смысле. Но с другой стороны, счастье, выпавшее на мою долю, счастье исключительное быть выслушанным Моим Повелителем, казалось, обязывало меня сказать всю правду, ту самую правду, которую чувствует всякий любящий свою родину и живущий не там, где-то наверху, а обыденной жизнью, среди людей, составляющих не Парнас, а Россию. Я никогда в жизни не врал, и тем более не мог бы покривить душой перед Тем, Кто осчастливили меня. Предстояло, следовательно, или написать все мои помыслы без всяких прикрас, или же не писать ничего. В этих колебаниях мучительных прошли почти две недели, что и было причиной запоздания этой записки; наконец, внутренний голос совести победил; он говорил мне: «Если ты честный человек, ты должен говорить правду на пользу родины, если ты мелкий плут — молчи из-за корыстных видов и будешь презрен». Я решил говорить и говорю:

Прикажи, Государь, мне голову срубить, коли не по сердцу Тебе речь моя. Теперь не боюсь я и самой смерти.

Но если бы хоть одна моя мысль была бы одобрена Вами, Государь, о, как я был бы счастлив! Я бы нарисовал тогда грандиозную картину будущего благополучия дорогой моей матери-земли; никаких красок не пожалел бы я на то, чтобы изобразить ее величавый бюст в роскошных одеждах, с цветущим видом, окруженной всеми богатствами страны и... с преклоненной головой перед великим реформатором — Императором Николаем II!

Молю Вас, Мой Повелитель, осчастливьте Россию, утешите ее

страдания, дайте вздохнуть задыхающимся верным слугам Вашим. Дайте ей, этой красавице, новую жизнь и воздвигните себе памятник нерукотворный.

И это все так легко сделать! Стоит лишь призвать общество к жизни, оказать ему доверие, а не смотреть на него, как на собрание крамольников. Поманите только пальцем и все это общество возродится, все оно будет завтра же у подножия Престола и сложит там свои силы, свой труд, всю свою жизнь на украшение того кресла, на котором сидит его Монарх, его Повелитель, его Высший идеал всего чистого, всего возвышенного на земле. Разве есть на земле что-либо более высокое, чем эта Идея? За ней, прямо за ней, следует – Бог.

Я аппелирую в эту высшую инстанцию, к Богу, и молю Его о прощении за мой дерзновенный поступок.

Милостивое разрешение Вашего Императорского Величества подать Вам мою записку о современной жизни России еще далеко до того, чтобы я осмелился истолковать его как разрешение говорить о том, что же собственно нужно сделать при настоящем положении вещей, и потому я ставлю тут точку. Я считаю эту точку уместной еще и потому главным образом, что нахожусь в полной неизвестности, как будут приняты Вашим Величеством настоящие мои мысли. Верьте, Государь, что с того момента, как эта записка будет в Ваших руках, я потеряю то, что называется «покойное житие».

Томительная неизвестность такого решительного шага – ужасна. А вдруг я потерял все то, что приобреталось упорным трудом всей жизни, что выпадает в удел немногим счастливцам – милость Своего Государя? Это был бы ужасный удар.

Но если бы Вашему Величеству угодно было осчастливить меня дальнейшим Вашим вниманием – все мои силы, все мои помыслы в Вашем полном распоряжении. Картина будущего России давно уже обрисовалась в моей голове и, как мне кажется, картина единственного возможного ее благополучного существования. Без Вашего милостивого разрешения я не смею ее здесь излагать и буду ждать рокового решения.

«Иль со щитом, иль на щите».

2 июля 1902 г.

H. A. ДЕМЧИНСКИЙ

*Публикация и примечания
B. БОКОВОЙ*

ДОКУМЕНТЫ ИЗ АРХИВА ЦК КПСС ПО «НОБЕЛЕВСКОМУ ДЕЛУ» М. А. ШОЛОХОВА

Среди проблем, занимавших умы руководителей советской культуры на протяжении 50 - 80-х годов была и такая замысловатая проблема, как присуждение Нобелевских премий по литературе отечественным писателям. Начиная с 1933 года, когда эту премию получил эмигрант И. А. Бунин и кончая 1987 годом, когда знаки нобелевского лауреата были вручены также вынужденно живущему за границей И. А. Бродскому, каждое положительное решение Шведской академии (от имени Нобелевского фонда распоряжавшейся литературными премиями) по кандидатурам русских писателей расценивалось в ЦК КПСС не иначе, как «проковационный политический акт реакционных кругов Запада».

Тем интереснее познакомиться с единственным исключением в однозначной оценке партийным аппаратом этой высшей литературной награды, а именно: в связи с историей выдвижения и присуждения Нобелевской премии М. А. Шолохову.

По аналогии с «Нобелшаной» Александра Солженицына своеобразно документированной в материалах бывшего архива ЦК КПСС*, ряд других обнаруженных там же и представленных в этой публикации документов складываются в «нобелевское дело» Михаила Шолохова. Аналогия, разумеется, формальная: занималась этими делами та же инстанция, применялась та же нехитрая механика продвижения партийных решений и обработки общественного мнения. Существенное различие в том, что М. Шолохов, советский писатель первой величины, с мировым именем, в отличие от опальных Пастернака, Солженицына и Бродского, опекался в высших партийно-государственных структурах по соображениям противоположным. В данном случае руководствовались удобной возможностью пропаганды достижений социалистического реализма, страстным желанием предотвратить присуждение премии Борису Пастернаку, отвлечь внимание зарубежной общественности от репрессий против независимых писателей.

Из публикуемых документов видно, с каким тщанием на про-

* См. публикации: «О мерах в связи с провокационным актом присуждения А. Солженицыну Нобелевской премии» // «Известия», 24.03.92 г., «Нобелиана» Александра Солженицына //, «Исторический архив», №1, 1992 г., «Документы из архива ЦК КПСС по делу А. Солженицына» // «Континент», №75, 1993 г.

тяжении 12 лет Шолохов был ведом окологлоратурной бюрократией к Нобелевской премии, как вообще лепили героев литературного фронта, основываясь в первую очередь на императивах идеологической войны, а не на художественной ценности их творений.

И. Эренбург, достаточно беспристрастно оценивающий взгляды и творчество Шолохова, и признавший еще в 1943 году, что это «очень честный художник, не умевший лгать и не выносивший двойного счета», отмечал в то же время, что у него «все плохое – наносное, от окружения»*. Одна из трагических сторон судьбы этого настоящего писателя связана с тем, что, будучи обласкан еще Сталиным, он добровольно обменял самобытный, реалистический взгляд на современную ему действительность на более удобный в жизни партийно-классовый подход.

Документы показывают, что долгожданный триумф М. Шолохова в 1965 году был обусловлен политическими соображениями самих членов Шведской Академии. Судя по телеграмме датских писателей Е. Фурцевой, жюри решило тогда воспользоваться своим решением в пользу М. Шолохова в надежде повлиять на решение советского суда в отношении Ю. Даниэля и А. Синявского. Сколько наивным было стремление внедрить таким образом «дух сотрудничества» в менталитет советских лидеров показывает еще одно письмо из-за рубежа, написанное по поводу первого публичного выступления новоиспеченного нобелевского лауреата.

Решения о присуждении Нобелевских премий всегда диктовались смесью соображений профессионального, политического и национального порядка. Чем больше времени проходит с момента принятия решения об их присуждении, тем легче судить о правильности такого решения.

Документы публикуются с сохранением их текстуальных особенностей и орфографии, резолюции и пометы написанные на документах работниками аппарата ЦК КПСС в ходе решения вопросов, вынесены за тексты.

Сотрудник ЦХСД А. ПЕТРОВ

* Эренбург И. Г. Люди, годы, жизнь. Т. 3. С. 403. М., 1990.

Б. Н. ПОЛЕВОЙ – М. А. СУСЛОВУ

21 января 1954 г.

Секретно

Глубокоуважаемый Михаил Андреевич [1]

Старейший писатель, академик Сергеев-Ценский [2] получил от Нобелевского Комитета предложение выдвинуть кандидата на Нобелевскую премию по литературе за 1953 год. [3]

Нет нужды напоминать Вам о том, что Нобелевский Комитет является реакционнейшей организацией, которая присудила премию Черчиллю за его мемуары, генералу Маршаллу, как борцу за мир, [4] и т. д.

Думается мне, что приглашение, присланное Сергееву-Ценскому, можно было бы использовать для соответствующей политической акции, или для публично мотивированного отказа участвовать в какой-то мере в работе этой реакционнейшей организации с разоблачением этой организации, являющейся инструментом поджигателей войны, или для мотивированного выдвижения кандидатуры одного из писателей, как активного борца за мир.

Направляю Вам копию предложения, полученного академиком Сергеевым-Ценским.

Секретарь Правления Союза Советских писателей СССР
Председатель Иностранной комиссии

Б. Полевой

Помета: Тов. Румянцеву. [5] М. Суслов

Приложение

Нобелевский комитет
при Шведской Академии

Академику Сергееву-Ценскому

Согласно утвержденному положению Шведской академии члены ее Нобелевского комитета имеют честь просить Вас предложить кандидата на Нобелевскую премию по литературе за 1953 год.

Выдвижение кандидата должно сопровождаться описанием работ кандидата, а если это представляет трудность, то эти работы должны быть представлены Нобелевскому комитету не позднее февраля 1954 года.

Все сообщения должны направляться Нобелевскому комитету при Шведской академии в Стокгольме.

Примечание:

Правом выдвигать кандидатов пользуются члены Шведской академии и других академий, учреждений и обществ, сходных с ними в отношении их членов и целей, и профессора истории литературы или языков университетов или университетских колледжей, получившие ранее нобелевские премии по литературе и председатели авторских организаций, которые являются представителями литературных деятелей своих стран.

ЦХСД. Ф. 4. Оп. 9. Д. 999. Л. 82 - 83. Подлинник.

**ЗАПИСКА ОТДЕЛА НАУКИ И КУЛЬТУРЫ ЦК КПСС
И ОТДЕЛА ЦК КПСС
ПО СВЯЗЯМ С ИНОСТРАННЫМИ КОМПАРТИЯМИ
О РАССМОТРЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НОБЕЛЕВСКОГО КОМИТЕТА**

26 января 1954 г.

Секретарю ЦК КПСС тов. Суслову М. А.

Секретариат правления ССП СССР (тов. Полевой) сообщает, что писатель – академик Сергеев-Ценский получил предложение от Нобелевского комитета при Шведской Академии выдвинуть кандидата на Нобелевскую премию по литературе за 1953 год.

Учитывая, что Нобелевский комитет является реакционной организацией, Секретариат правления ССП СССР просит указаний: выступить ли Сергееву-Ценскому с публично мотивированным отказом от предложения Нобелевского комитета и разоблачением его как инструмента поджигателей войны, или же использовать предложение с тем, чтобы выдвинуть кандидатуру одного из писателей, активного борца за мир.

Считаем целесообразным рекомендовать ССП СССР через т. Сергеева-Ценского воспользоваться предложением Нобелевского комитета и выдвинуть кандидатуру одного из известных советских или прогрессивных иностранных писателей, представив эту кандидатуру на предварительное согласование в ЦК КПСС.

Зав. Отделом науки и культуры ЦК КПСС
Зам. зав. Отделом ЦК КПСС

*А. Румянцев
В. Степанов*

Резолюция: Доложить лично. М. Суслов

ЦХСД. Ф. 4. Оп. 9. Д. 999. Л. 81. Подлинник.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 54
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПСС**

Вопрос Союза советских писателей СССР

1. Принять предложение Союза советских писателей СССР о выдвижении в качестве кандидата на Нобелевскую премию по литературе за 1953 год писателя Шолохова М. А.

2. Согласиться с представленным Союзом советских писателей текстом ответа писателя Сергеева-Ценского Нобелевскому комитету при Шведской академии (см. приложение).

3. Внести на утверждение Президиума.

СЕКРЕТАРЬ ЦК

Помета: Утверждено президиумом пр. № 53 п. 13 от 25.02.1954 г.

Приложение

**НОБЕЛЕВСКОМУ КОМИТЕТУ
ПРИ ШВЕДСКОЙ АКАДЕМИИ**

Уважаемые господа!

Я весьма польщен Вашим любезным предложением назвать кандидата на Нобелевскую премию по литературе за 1953 год.

Отвечая на Ваше обращение, я считаю за честь предложить в качестве кандидата на Нобелевскую премию по литературе за 1953 год советского писателя Михаила Александровича Шолохова.

Действительный член Академии наук СССР Михаил Шолохов, по моему мнению, как и по признанию моих коллег и читательских масс, является одним из самых выдающихся писателей моей страны. Он пользуется мировой известностью, как большой художник слова, мастерски раскрывающий в своих произведениях движения и порывы человеческой души и разума, сложность человеческих чувств и отношений.

Сотни миллионов читателей всего мира знают романы Шолохова «Тихий Дон» и «Поднятая целина» – произведения высоко гуманистические, проникнутые глубокой верой в человека, в его способность преобразовать жизнь, сделать ее светлой и радостной для всех.

«Тихий Дон», «Поднятая целина» и другие произведения Шолохова, по имеющимся в моем распоряжении сведениям, вышли в

СССР до 1 января 1954 года в 412 изданиях на 55 языках. Общий тираж изданий составляет 19.947.000 экземпляров. Книги Шолохова переведены на десятки иностранных языков и изданы большими тиражами. Все это свидетельствует об их необычайной популярности и полезности для человечества.

Выходец из простого народа, из семьи донских казаков Михаил Шолохов живет среди своих земляков. Он тесно связывает свое творчество с жизнью, интересами простых советских людей. В их жизни и борьбе он черпает материал для своих произведений, среди них находит героев своих книг. В художественных произведениях он поднимает вопросы, наиболее волнующие наших современников.

Роман Шолохова «Тихий Дон», по общему признанию, — классическое произведение советской литературы. Это — эпопея о донском казачестве в бурные годы — 1912 — 1922. В ней ставятся большие моральные и гуманистические проблемы — о путях развития человечества, о судьбах целых классов и отдельных людей. В превосходных реалистических картинах писатель раскрывает светлые и темные стороны жизни. Он показывает борьбу против социального зла за торжество светлых начал жизни. Любовь и ненависть, радость и страдания героев описываются Шолоховым с большой проникновенностью, знанием жизни и сочувствием к человеку.

В романе «Поднятая целина» Шолохов правдиво и с покоряющим художественным мастерством показывает перестройку старого уклада крестьянской жизни колхозным казачеством. Он раскрывает высокие нравственные качества советского крестьянина — источник и основу его беспримерного подвига в создании нового уклада жизни на основе коллективного ведения хозяйства.

Михаил Шолохов является одним из тех крупнейших русских писателей, которые продолжают и развиваются лучшие достижения русской классической литературы, создают превосходные образцы реалистического искусства.

Творчество Михаила Шолохова бесспорно служит прогрессу человечества, укреплению дружественных связей русского народа с народами других стран.

Я глубоко убежден, что именно Михаил Шолохов имеет преимущественное перед другими писателями основание на получение Нобелевской премии.

Примите мое уверение в глубоком в Вам почтении.

Действительный член Академии
наук СССР

С. Сергеев-Ценский

ЦХСД. Ф. 4. Оп. 9. Д. 75 - 77. Подлинник.

**ЗАПИСКА СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
И ОТВЕТ НОБЕЛЕВСКОГО КОМИТЕТА
НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРИСУЖДЕНИИ
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ М. А. ШОЛОХОВУ**

20 марта 1954 г.

**ЦК КПСС
товарищу Суслову М. А.**

Сегодня родственница академика Сергеева-Ценского передала нам по телефону полученный на имя Сергеева-Ценского ответ Нобелевского комитета на предложение о присуждении Нобелевской премии М. А. Шолохову.

Посылаю запись этого текста Вам для сведения.

Секретарь Правления
Союза Советских Писателей СССР

A. Сурков

Помета: т. Румянцеву. М. Суслов

Приложение

**АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Академику Сергееву-Ценскому**

Уважаемый господин Сергеев-Ценский!

Нобелевский Комитет Шведской Академии с интересом принял Ваше предложение присудить Нобелевскую премию М. А. Шолохову.

Так как предложения должны поступать к нам не позднее 1-го февраля, Ваше предложение дошло до нас слишком поздно, чтобы быть обсуждаемым за нынешний год.

Однако, Шолохов будет выдвинут в качестве кандидата на Нобелевскую премию за 1955 год.

Выражая благодарность Комитета за Ваше предложение, прошу принять уверения в нашем совершенном почтении.

Стокгольм
6 марта 1954 г.

Секретарь Комитета

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 17. Д. 486. Л. 67 - 68. Подлинник.

**ЗАПИСКА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР
ОБ ОСВЕЩЕНИИ В СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. А. ШОЛОХОВА
В СВЯЗИ С ОБСУЖДЕНИЕМ КАНДИДАТУР
НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ЛИТЕРАТУРЕ**

31 марта 1958 г.
Секретно

ЦК КПСС

Секретариат Правления Союза писателей получил из отдела Скандинавских стран МИД СССР сообщение, что в шведском ПЕН-клубе недавно обсуждался вопрос о кандидатурах на Нобелевскую премию по литературе. В числе кандидатов назывались следующие писатели: Михаил Шолохов, Борис Пастернак, Эзра Паунд (США) и Альберто Моравия (Италия). Поскольку писатели Швеции высказываются в пользу М. А. Шолохова, но с настроениями писателей далеко не всегда считаются, один из доброжелательно настроенных к нам шведских писателей Эрик Асклунд высказал в беседе с советской делегацией (т. т. Марков Г. М. и Топер П. М.) мнение о целесообразности освещения в нашей печати деятельности М. Шолохова и его популярности в Скандинавских странах, считая, что это может оказать желательное влияние на решение вопроса о Нобелевской премии по литературе.

Просим указаний ЦК КПСС.

Секретарь Правления Союза писателей СССР

К. Симонов

ЦХСД. Ф. 11. Оп. 1. Д. 242. Л. 124. Подлинник.

**ЗАПИСКА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ ЦК КПСС
О МЕРАХ ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТВОРЧЕСТВА
И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ М. А. ШОЛОХОВА**

5 апреля 1958 г.
ЦК КПСС

Как стало известно из сообщения секретаря Союза писателей СССР т. Маркова Г. М., вернувшегося из поездки в Швецию, и из других источников, в настоящее время среди шведской интеллигенции и в печати настойчиво пропагандируется творчество Б. Пастернака в связи с опубликованием в Италии и Франции его клеветнического романа «Доктор Живаго». Имеются сведения, что

определенные элементы будут выдвигать этот роман на Нобелевскую премию, имея в виду использовать его в антисоветских целях. Нобелевская премия за лучшие произведения в области литературы и искусства ежегодно присуждается Стокгольмской Академией по представлению отдельных деятелей — депутатов парламента, членов Нобелевского комитета, лауреатов Нобелевских премий и др.

Прогрессивные круги стоят за выдвижение на Нобелевскую премию тов. М. Шолохова. Имеется настоятельная необходимость подчеркнуть положительное отношение советской общественности к творчеству Шолохова и дать в то же время понять шведским кругам наше отношение к Пастернаку и его роману.

Отдел культуры ЦК КПСС считал бы целесообразным:

1. Поручить газетам «Правда», «Известия», «Литературная газета», а также журналу «Новое время» опубликовать материалы, посвященные значению творчества и общественной деятельности М. А. Шолохова. Можно было бы, в частности, использовать окончание писателем второго тома «Поднятой целины», недавнее избрание его в состав Верховного Совета СССР и его пребывание в настоящее время в Чехословакии. [6]

2. Поручить советскому посольству в Швеции через близких к нам деятелей культуры дать понять шведской общественности, что Пастернак, как литератор, не пользуется признанием у советских писателей и прогрессивных литераторов других стран. Выдвижение Пастернака на Нобелевскую премию было бы воспринято как недоброжелательный акт по отношению к советской общественности. Вместе с тем, следует подчеркнуть положительное значение деятельности Шолохова как писателя и как общественного деятеля, используя, в частности, его прошлогоднюю поездку в Скандинавию.

Проект телеграммы посольству СССР в Швеции прилагается.

Зав. Отделом культуры ЦК КПСС
Зам. зав. Отделом

Д. Поликарпов
Б. Рюриков

ЦХСД. Ф. 11. Оп. 1. Д. 242. Л. 122. Подлинник.

**ИНФОРМАЦИЯ СЕКРЕТАРЯ ПРАВЛЕНИЯ СП СССР
Г. М. МАРКОВА ОБ ОБСУЖДЕНИИ В ШВЕЦИИ
КАНДИДАТУРЫ М. А. ШОЛОХОВА
НА СОИСКАНИЕ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ**

7 апреля 1958 г.
Секретно

ЦК КПСС

Согласно решению ЦК КПСС я, совместно с редактором переводчиком журнала «Иностранная литература» П. М. Топером на-

ходился в марте с. г. в командировке в Скандинавских странах.

В Швеции мы встретились с некоторыми писателями и деятелями культуры (Эрик Асклунд, Свен Сторк, Густав Юхансон и др.).

В беседах с этими людьми в числе других вопросов неизбежно всплыл вопрос о присуждении М. А. Шолохову Нобелевской премии. Некоторые наши собеседники (например Эрик Асклунд) в весьма доверительном тоне сообщили нам ряд важных подробностей той борьбы, которая идет в Швеции вокруг этого вопроса.

Недавно в Шведском Пен-клубе, объединяющем значительную часть писателей, состоялось обсуждение кандидатур возможных претендентов на Нобелевскую премию в области литературы. Обсуждались четыре кандидата: Шолохов, Пастернак, Паунд, Моравия. Обсуждение носило характер референдума. Абсолютное большинство участников обсуждения высказалось за Шолохова. Подал свой голос за Шолохова и принц Вильгельм, осуществляющий шефство над Пенклубом. Таким образом, благожелательно настроенные к нам шведские культурные деятели считают шансы Шолохова на премию реальными.

Вместе с тем, Эрик Асклунд и Свен Сторк, ссылаясь на свои личные связи с людьми, хорошо осведомленными о Шведской Академии, присуждающей премии, передали нам, что среди высших кругов этой Академии существует определенное мнение в пользу Пастернака, причем речь идет о возможном разделении Нобелевской премии между Шолоховым и Пастернаком. [7]

Желая, чтобы в отношении Шолохова справедливость восторжествовала, наши шведские друзья высказали пожелания об усилении борьбы за Шолохова. Существенную помощь общественному мнению в пользу Шолохова могла бы оказать советская печать. Факты и примеры о международной популярности Шолохова, о его широкой известности в Скандинавских странах сыграли бы свою положительную роль, так как усиливали бы позиции сторонников Шолохова. Не исключены, очевидно, и другие меры, в частности, выступления наиболее крупных зарубежных и советских деятелей культуры по этому вопросу в различных печатных органах Скандинавских и других стран.

Секретарь Правления Союза писателей СССР

Г. Марков

ЦХСД. Ф. 11. Оп. 1. Д. 242. Л. 125.. Подлинник.

7 апреля 1958 г.

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ЦК КПСС
ПО ВОПРОСАМ ИДЕОЛОГИИ, КУЛЬТУРЫ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПАРТИЙНЫХ СВЯЗЕЙ**

Записка Отдела культуры ЦК КПСС от 5 апреля с. г.

Утвердить текст телеграммы совпослу в Стокгольме (см. приложение).

СЕКРЕТАРЬ ЦК

Приложение

СТОКГОЛЬМ

СОВПОСОЛ

Имеются сведения о намерениях известных кругов выдвинуть на Нобелевскую премию Пастернака.

Было бы желательным через близких к нам деятелей культуры дать понять шведской общественности, что в Советском Союзе высоко оценили бы присуждение Нобелевской премии Шолохову. При этом следует подчеркнуть положительное значение деятельности Шолохова как выдающегося писателя и общественного деятеля, используя, в частности, его прошлогоднюю поездку в Скандинавию.

Важно также дать понять, что Пастернак, как литератор, не пользуется признанием у советских писателей и прогрессивных литераторов других стран. Выдвижение Пастернака на Нобелевскую премию было бы воспринято как недоброжелательный акт по отношению к советской общественности.

ЦХСД. Ф. 11. Оп. 1. Д. 242. Л. 120 - 121. Подлинник.

М. ШОЛОХОВ – Л. И. БРЕЖНЕВУ

30 июля 1965 г.

Дорогой Леонид Ильич!

Недавно в Москве был вице-президент Нобелевского комитета. В разговоре в Союзе писателей он дал понять, что в этом году Нобелевский комитет, очевидно, будет обсуждать мою кандидатуру.

После отказа Жана-Поля Сартра (в прошлом году) получить Нобелевскую премию со ссылкой на то, что Нобелевский комитет необъективен в оценках и что он, этот комитет, в частности, давно должен был присудить Нобелевскую премию Шолохову, приезд вице-президента нельзя расценить иначе, как разведку.

На всякий случай, мне хотелось бы знать, как Президиум ЦК КПСС отнесется к тому, если эта премия будет (вопреки классовым убеждениям шведского комитета) присуждена мне, и что мой ЦК мне посоветует?

Премии обычно присуждаются в октябре, но уже до этого мне хотелось бы быть в курсе вашего отношения к затронутому вопросу.

В конце августа я поеду месяца на 2 - 3 в Казахстан, и был бы рад иметь весточку до отъезда.

С самыми дружескими чувствами

М. Шолохов

Резолюция:

Согласиться с предложениями отдела. П. Демичев. А. Шелепин. Д. Устинов. Н. Подгорный. Ю. Андропов.

Пометы:

ЦК КПСС. Отдел культуры ЦК КПСС считает, что присуждение Нобелевской премии в области литературы тов. Шолохову М. А. было бы справедливым признанием со стороны Нобелевского комитета мирового значения творчества выдающегося советского писателя. В связи с этим Отдел не видит оснований отказываться от премии, если она будет присуждена.

Прошу разрешения сообщить об этом тов. Шолохову М. А.

Зам. зав. Отделом культуры ЦК КПСС

Г. Куницын

2.VIII.65 г.

Справка. Тов. Шолохову М. А. сообщено. 16.VIII.65. Г. Куницын.

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д. 148. Л. 59. Машинописная копия.

Ст-129/82 гс

28 октября 1965 г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 129 ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ЦК КПСС

**О телеграмме ЦК КПСС и Совета Министров СССР
т. Шолохову М. А.**

Одобрить прилагаемый текст поздравительной телеграммы ЦК КПСС и Совета Министров СССР т. Шолохову М. А. в связи с присуждением ему Нобелевской премии 1965 года в области литературы.

СЕКРЕТАРЬ ЦК

Приложение

Ростовская область,
станица Бешенская

товарищу Шолохову
Михаилу Александровичу

Дорогой Михаил Александрович!

Сердечно поздравляем Вас с присуждением Нобелевской премии.

Расцениваем это как еще одно свидетельство мирового признания Вашего выдающегося таланта, неоспоримых достижений литературы социалистического реализма.

От души желаем Вам крепкого здоровья, новых творческих успехов.

ЦК КПСС

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ЦХСД. Ф. 4. Оп. 18. Д. 935. Л. 47 - 48.

**ЗАПИСКА ГОСКОМИТЕТА СМ СССР
ПО КИНЕМАТОГРАФИИ
О НАПРАВЛЕНИИ В ШВЕЦИЮ КИНООПЕРАТОРА
ДЛЯ СЪЕМКИ ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕНИЯ
М. А. ШОЛОХОВУ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ**

25 ноября 1965 г.*
Секретно

ЦК КПСС

Ростовская студия хроникально-документальных фильмов создает фильм о жизни и творчестве выдающегося советского писателя М. Шолохова (кинооператор Л. Мазрух).

10 декабря с. г. в Стокгольме состоится вручение М. Шолохову Нобелевской премии. Для съемок этого события просим разрешить направить в Швецию кинооператора Мазруха Л. В., сроком до 10 дней.

Просим согласия.

Председатель
Государственного комитета Совета Министров СССР
по кинематографии

А. Романов

* Установлено по дате, отмеченной в регистрационной карточке Общего отдела ЦК КПСС.

Пометы:

ЦК КПСС. Отдел культуры и Международный отдел ЦК КПСС поддерживают это предложение Госкомитета.

Просим согласия.

Зав. Отделом культуры
ЦК КПСС
В. Шауро

Зам. зав. Международным отделом
ЦК КПСС
Е. Кусков

3.XII. 1965 г.

Резолюции:

Тов. Брежnev «За». В. Голиков; [8]

Согласиться. П. Демичев. Б. Пономарев. А. Шелепин. «За» Н. Подгорный. «За» М. Суслов.

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36.Д. 153. Л. 185. Подлинник.

**СПРАВКА ОТДЕЛА ПРОПАГАНДЫ И АГИТАЦИИ
ЦК КПСС О ПРИЕЗДЕ В МОСКВУ И СТАНИЦУ
ВЕШЕНСКУЮ ШВЕДСКИХ ОПЕРАТОРОВ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ О ШОЛОХОВЕ**

27 ноября 1965 г.

ЦК КПСС

Госкомитет Совета Министров СССР по радиовещанию и телевидению (т. Мамедов) передал директору шведского радио и телевидения согласие на приезд в Москву и станицу Вешенскую группы операторов для подготовки телевизионной передачи о Шолохове в связи с предстоящим вручением ему Нобелевской премии.

Госкомитету указано на недопустимую медлительность в решении этого вопроса.

Комитетом приняты меры по наведению должного порядка в работе аппарата.

Зам. зав. Отделом пропаганды и агитации
ЦК КПСС
Зав. сектором Отдела

*А. Егоров
П. Московский*

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 33. Д. 227. Л. 180.

**ЗАПИСКА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР
О ПОЕЗДКЕ В ШВЕЦИЮ М. А. ШОЛОХОВА,
СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЕГО ЛИЦ И ВЫДЕЛЕНИИ
НА ПОЕЗДКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ**

29 ноября 1965 г.

ЦК КПСС

Лауреат Нобелевской премии в области литературы за 1965 год Михаил Александрович Шолохов должен выехать в Швецию для получения премии.

По сообщению Посольства СССР в Стокгольме, Шведская Академия наук предполагает вручить т. Шолохову М. А. Нобелевскую премию 10 декабря с. г.

М. А. Шолохов готов выехать в Стокгольм 4 декабря с. г. и просит направить с ним вместе членов его семьи.

Кроме того, он высказал пожелание, чтобы в Швецию были одновременно командированы один из критиков, который мог бы давать ему необходимые консультации при подготовке выступлений о советской литературе, и переводчик.

По предложению ряда шведских организаций, М. А. Шолохов дал согласие — помимо произнесения речи на церемонии вручения — выступить в университетах перед студентами на литературном вечере, организуемом издательством, а также дать пресс-конференцию.

Посольство СССР устраивает 7 декабря прием в честь лауреата Нобелевской премии и просит выделить для этой цели 500 рублей в иностранной валюте.

После окончания визита в Швецию т. Шолохов М. А. хотел бы поехать в Финляндию с творческими целями.

Секретариат Правления Союза писателей СССР вносит предложения:

разрешить выезд в Швецию и Финляндию сроком на месяц тт. Шолохову Михаилу Александровичу с женой Шолоховой Марией Петровной, дочерьми Светланой Михайловной и Марией Михайловной, сыновьями Александром Александровичем и Михаилом Александровичем, писателем Лукиным Юрием Борисовичем и переводчиком.

Поручить Министерству финансов СССР выделить Союзу писателей дополнительно к смете необходимые средства в советской и иностранной валюте на расходы, связанные с поездкой т. Шолохова и сопровождающих его лиц, и 500 рублей на организацию приема в Посольстве СССР в Стокгольме.

Имевшиеся в Союзе писателей СССР инвалютные ассигнования на 1965 год исчерпаны.

На просьбу Секретариата правления о выделении дополнительных средств Министр финансов т. Гарбузов В. Ф. ответил, что этот

вопрос может быть решен Министерством финансов по указанию ЦК КПСС.

Секретарь Правления Союза писателей СССР

К. Воронков

Помета:

Справка. Выделения дополнительных средств Союзу писателей СССР не требуется, т. к. проезд оплачивается т. Шолоховым и сопровождающими его лицами из своих средств. Деньги на прием в сов. посольстве (500 р.) МИД СССР перевел в Стокгольм.

Ю. Мелентьев [9]

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д. 148. Л. 183 - 187. Подлинник.

**ЗАПИСКА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ ЦК КПСС
О ВЫДАЧЕ М. А. ШОЛОХОВУ ВАЛЮТНЫХ СРЕДСТВ**

29 ноября 1965 г.
В. срочно

ЦК КПСС

В связи с предстоящим вручением Нобелевской премии тов. Шолохову М. А., которое состоится 8 декабря с. г. в г. Стокгольме (Швеция), тов. Шолохов просит разрешить выехать вместе с ним в Швецию и Финляндию членам его семьи (жена и 4 детей), а также критику Лукину Ю. Б. и переводчику сроком до 1 месяца.

В связи с тем, что по существующему ритуалу тов. Шолохов при вручении премии должен быть одет в специальный фрак, а в наших условиях пошить установленный фрак в оставшиеся сроки не предоставляется возможным, тов. Шолохов просит выдать ему на приобретение в г. Хельсинки фрака и экипировки сопровождающих его лиц 3 тыс. американских долларов с последующим возвратом этих денег из Нобелевской премии. С Министерством финансов СССР (т. Манойло) этот вопрос согласован. Выезд т. Шолохова намечен на 2 декабря с. г.

Отдел культуры ЦК КПСС просьбы тов. Шолохова поддерживает.
Присягаем согласия.

Зам. зав. Отделом культуры ЦК КПСС

Г. Куницын

Резолюция:

Согласиться. П. Демичев. Б. Пономарев. Д. Устинов. М. Суслов.
Н. Подгорный.

Помета:

Командировка и выдача средств оформлены.

Гл. бухгалтер УД ЦК КПСС

И. Гундарев

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д. 148. Л. 185. Подлинник.

**ЗАПИСКА М. А. ШОЛОХОВА
О СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЕГО ЛИЦАХ В ПОЕЗДКЕ
В СТОКГОЛЬМ**

29 ноября 1965 г.

ЦК КПСС

В связи с предстоящей мне поездкой в Стокгольм для получения Нобелевской премии прошу разрешить сопутствовать мне в этой поездке — кроме членов моей семьи — тов. Мелентьеву Ю. С. и кому-либо из переводчиков.

М. Шолохов

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д. 148. Л. 186. Автограф.

**ЗАПИСКА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ ЦК КПСС
О ПОДДЕРЖКЕ ПРОСЬБЫ М. А. ШОЛОХОВА**

29 ноября 1965 г.

В. срочно

ЦК КПСС

Тов. Шолохов М. А. просит ЦК КПСС в связи с предстоящим 8 декабря с. г. вручением ему Нобелевской премии разрешить заместителю заведующего Отделом культуры ЦК КПСС тов. Мелентьеву Ю. С. сопровождать его в этой поездке.

Отдел культуры ЦК КПСС полагает возможным поддержать просьбу тов. Шолохова М. А. о направлении в Швецию сроком на 10 дней тов. Мелентьева Ю. С. Выезд т. Шолохова М. А. назначен на 2 декабря с. г.

Просьба рассмотреть.

Зам. зав. Отделом культуры ЦК КПСС

Г. Куницын

Резолюция:

Согласиться. П. Демичев. М. Суслов. Н. Подгорный. Б. Пономарев.

Помета:

Командировка оформлена.

Гл. бухгалтер ЦК КПСС

И. Гундарев

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д. 148. Л. 187. Подлинник.

**ТЕЛЕГРАММА ДАТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
МИНИСТРУ КУЛЬТУРЫ СССР**

13 декабря 1965 г*.
Секретно

ЦК КПСС

Направляем для информации телеграмму, полученную Министерством культуры СССР из Копенгагена 10 декабря с. г.

Приложение – упомянутое.

Министр культуры СССР

Е. Фурцева

Помета:

Справка. В Отделе культуры ЦК КПСС ознакомились.

Зав. Отделом культуры

В. Шауро

Зав. сектором Отдела культуры

Ю. Барабаш

Приложение

Екатерине Алексеевне Фурцевой, Министру культуры СССР,
Москва
из Копенгагена

* Установлено по дате поступления в ЦК КПСС.

С большим удовлетворением встретили месяц тому назад известие о присуждении Михаилу Шолохову Нобелевской премии.

Датские круги с удовольствием отмечают, что Шолохов, и тем самым советская литература, заняли свое естественное и вполне заслуженное место в европейской литературе. Мы, однако, со страхом наблюдаем за тем, как некоторые события в Советском Союзе начинают довлесть над духом сотрудничества и, в частности, над церемонией вручения Нобелевской премии. С арестом Андрея Синявского (Абрама Терца) и Юлия Даниеля (Николая Аржак) применяются методы, недостойные Советского Союза и несовместимые с проведением позитивных культурных контактов, вроде тех, которые нашли свое отражение в церемонии присуждения Нобелевской премии. Мы должны самым серьезным образом протестовать против ареста этих двух писателей, который мы рассматриваем поспешным и наносящим урон престижу Советского Союза в остальном мире.

Мы просим Вас употребить Ваше влияние в определенных кругах в пользу наших коллег писателей.

Бенни Андерсен
Нильс Барфоед
Андерс Бодельсен
Ерген Густава Брандт
Торбен Бростроем
Мария Джаккобе
Торкилл Хансен
Вилли Соеренсен
Иффе Хардер
Ханс Хартель
Кнуд Хольст

Пер Хохольт
Джесиф Енсен
Эрик Кнудсен
Иван Малиновский
Десс Оернбо
Лейф Пандуро
Клаус Рифбьерг
Петер Ронильд
Ерген Шлейманн
Ерген Сонте
Лизе Соеренсен и др.

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д. 148. Л. 235 - 236. Подлинник и машинописная копия.

ЗАПИСКА СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМА В ЧЕСТЬ М. А. ШОЛОХОВА

17 декабря 1965 г.

ЦК КПСС

В ближайшие дни на родину из Швеции возвращается М. А. Шолохов, где ему была вручена Нобелевская премия за 1965 год в области литературы.

Секретариат правления Союза писателей СССР предполагает устроить в Москве прием в честь лауреата по его возвращении из-за рубежа. На этот прием мы считали бы целесообразным пригласить писателей, деятелей науки и культуры, представителей обществен-

ных организаций, учреждений культуры, а также советской и зарубежной прессы, всего – 400 человек. Расходы по проведению встречи будут отнесены за счет средств Союза писателей СССР (Литературного фонда).

Просим ЦК КПСС разрешить проведение встречи с М. А. Шолоховым в Доме приемов на Ленинских горах.

Просим Ваших указаний.

Секретарь Правления Союза писателей СССР

К. Воронков

ЦХСД. Ф. 5. Op. 36. Д. 148. Л. 241. Подлинник.

**ЗАПИСКА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ ЦК КПСС
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА ПО СЛУЧАЮ
ПРИСУЖДЕНИЯ М. А. ШОЛОХОВУ
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ**

17 декабря 1965 г.
Срочно

ЦК КПСС

Секретариат Правления Союза писателей СССР просит разрешения организовать прием по случаю присуждения М. А. Шолохову Нобелевской премии.

Предполагается для участия в приеме пригласить писателей, деятелей науки и культуры, представителей общественных организаций, а также советской и зарубежной прессы, всего – 400 человек. Союз писателей СССР просит разрешить провести это мероприятие в Доме приемов на Ленинских горах по возвращении М. А. Шолохова из-за рубежа, 20 – 21 декабря 1965 года.

Отдел культуры ЦК КПСС поддерживает это предложение Секретариата правления Союза писателей СССР.

Просим согласия.

Зав. Отделом культуры ЦК КПСС
Зав. сектором Отдела

*В. Шауро
Ю. Барабаш*

Резолюция:

Согласиться. П. Демичев.

Пометы:

Тов. Демичев П. Н. сообщил, что этот вопрос согласован со всеми секретарями ЦК КПСС. 17.XII.65 г. В. Гаврилов. [10]

Справка. Союзу писателей СССР (т. Воронков) сообщено.

Зав. сектором Отдела культуры ЦК КПСС

Ю. Барабаш.

ЦХСД. Ф. 5. Оп. 36. Д. 148. Л. 242. Подлинник.

**СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА «НОВОЕ ВРЕМЯ»
И ПИСЬМО Р. ЧУБЛАРЯНА (США) М. А. ШОЛОХОВУ**

**23 мая 1966 г.
Секретно**

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС

Посылаю для сведения полученное из Америки письмо некоего Чубларяна по поводу выступления М. А. Шолохова на XXIII съезде партии. Высказывания Чубларяна носят столь злобно антисоветский характер, что я не сочла возможным ему вообще что-либо ответить.

Главный редактор

Н. Сергеева

Помета:

Справка. В Отделе культуры ЦК КПСС ознакомились.

Зав. сектором Отдела

**A. Беляев.
28.V.66 г.**

Наталии Сергеевой,
главному редактору
журнала «Новое время»

Уважаемая г-жа Сергеева!

Я прошу Вас рассмотреть возможность опубликования в Вашем журнале прилагаемого письма г-ну Шолохову.

Искренне Ваш,

Р. Чубларян

Г-ну Михаилу Шолохову,
Лауреату Нобелевской премии,
Новочеркасск, СССР

Копия:

Комитету по Нобелевским премиям,

Шведская Академия литературы,
Стокгольм, Швеция

Сэр!

Ваша речь на XXIII съезде Коммунистической партии Советского Союза, опубликованная в «Правде» 2 апреля 1966 года, – это позорное явление в истории прогрессивного искусства.

Просто немыслимо, чтобы лауреат Нобелевской премии и, стало быть, выдающийся писатель, стал на весь мир объявлять, что он поддерживает проявленную советским правительством жестокость по отношению к двум несчастным писателям, Синявскому и Даниэлю, которых приговорили к долгим годам каторжных работ. [11]

Вы представляете, сэр, что даже в истерзанном войной Сайгоне существует свобода печати, что даже некоторые нецивилизованные африканские племена пользуются такой же свободой?

Одобрение Вами этого варварского приговора показывает народам, что можно ожидать от системы, которую Вы прославляете. Этот приговор ужаснул даже тех писателей, которые считают, что коммунизм – это будущее человечества.

Ваше заявление показывает, что Ваше мышление не подверглось влиянию благородного наследия русских писателей, которые посвящали свою жизнь неустанной борьбе за свободу слова и печати.

Как могли Вы предать дело этих славных просветителей русского народа, таких умов, как Белинский, который, не думая о личном счастье, боролся за то, чтобы увидеть свой народ свободным от цепей царского правительства? Его смерть опечалила всю просвещенную Россию. Поэт Некрасов отразил печаль России в словах: «Молясь твоему замученному духу, Учитель, я склоняю голову перед твоим именем».

А разве Белинский не был также и Вашим учителем?

Могла бы Вы назвать хотя бы одного прошлого или нынешнего русского писателя, достойного упоминания (исключая Вас), кто бы руководствовался идеологией Александра I? Герцен писал: «Поймет ли будущее поколение трагедию нашего существования? Наши страдания – это почки, из которых расцветет их счастье... Пусть стоят они в печальной задумчивости над нашими могилами... Мы это заслужили...!»

Если бы Вы попробовали «печально задуматься», Вы бы поняли, что «трагедия... существования» советских писателей та же, что и трагедия Некрасова, Белинского и других.

Не обладая интеллектуальным чутьем Пастернака, Вы без чувства сожаления подменили стремление человека к свободе слова и печати устаревшей рабской догмой марксизма-ленинизма.

Поступая так, Вы покрыли грязью не только самого себя, но также и уважаемый институт премии Альфреда Б. Нобеля.

Рубен Чубларян

14 апреля 1966 года

Филадельфия, штат Пенсильвания

ЦХСД. Ф. 5. оп. 58. Д. 45. Л. 159, 163 - 165. Подлинник и машинописная копия.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Суслов М. А. – в 1954 г. секретарь ЦК КПСС.

2. Сергеев-Ценский С. Н. – советский писатель, академик АН СССР.

3. Правильно – за 1954 год. Возможно, в этом и следующих связанных с ним документах опечатка обусловлена неверным переводом на русский язык письма Нобелевского комитета и поспешностью, с которой в аппарате ЦК КПСС готовили выдвижение М. А. Шолохова.

4. У. Черчилль, премьер-министр Великобритании, был лауреатом Нобелевской премии по литературе за 1953 г.. Дж. Маршалл, американский генерал, инициатор известного «плана Маршалла», стал в том же году лауреатом Нобелевской премии мира.

5. Румянцев А. М. – в 1954 г. заведующий отделом науки и культуры ЦК КПСС.

6. Любопытно, что среди заказных публикаций, появившихся в 1958 г. в советской периодике о М. Шолохове, выпел материал, «искажающий образ» М. Шолохова, как «выдающегося мастера художественной литературы и видного общественного деятеля». Именно так в записке отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС от 15.07.58 г. и постановлении Секретариата ЦК КПСС от 24.07.58 г. «Об ошибках в художественном оформлении журнала «Советский Союз» характеризуется фоторепортаж «У автора «Тихого Дона», опубликованный в седьмом номере этого журнала. В записке отдела говорится:

«Фотографии этого репортажа выполнены в натуралистическом духе. Они не показывают М. Шолохова, как выдающегося мастера художественной литературы и народного писателя, а раскрывают случайные, не характерные для его деятельности эпизоды из жизни, искажающие образ советского писателя.

На большом, в две третых полосы журнала цветном портрете изображен М. Шолохов неопрятно одетый, небритый, с непричесанными волосами, с заплывшими глазами и набухшими венами на

висках. Этот портрет является примером натурализма и свидетельствует о том, что его автор В. Руйкович, вместо раскрытия образа М. Шолохова, подражая некоторым западным журналам, грубо показал принципы социалистического реализма...

Вызванный в Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС фотокорреспондент журнала «Советский Союз» В. Руйкович заявил, что, по его мнению, он поступил правильно и показал жизнь писателя в его натуральном виде, без прикрас...»// ЦХСД. Ф. 4. Оп. 16. Д. 521. Л. 15.

7. Опасение по поводу возможного разделения Нобелевской премии между двумя советскими писателями, усиливавшееся по мере приближения дня объявления в Стокгольме соответствующего решения, вызвало разработку в ЦК КПСС ответных шагов со стороны М. Шолохова. В записке секретаря ЦК КПСС Л. Ильинцева и зав. отделом культуры ЦК КПСС Д. Поликарпова от 21 октября 1958 г. предлагалось: «...Если т. Шолохову будет присуждена Нобелевская премия за этот год наряду с Пастернаком, было бы целесообразно, чтобы в знак протesta т. Шолохов демонстративно отказался от нее и заявил в печати о своем нежелании быть лауреатом премии, присуждение которой используется в антисоветских целях...»// ЦХСД Ф. 5. Оп. 36. Д. 61. Л. 52.

8. Голиков В. А. – в 1965 г. помощник Первого секретаря ЦК КПСС.

9. Мелентьев Ю.С. – в 1965 г. заместитель заведующего отделом культуры ЦК КПСС.

10. Гаврилов В. П. – в 1965 г. помощник секретаря ЦК КПСС.

11. Возможно, американского слависта потрясли следующие особенно сильные выражения в речи М. Шолохова:

«Попадись эти молодчики с черной совестью в памятные 20- е годы, когда судили, не опираясь на строго разграниченные статьи Уголовного кодекса, а «руководствуясь революционным правосознанием», ох, не ту меру наказания получили бы эти оборотни! А тут, видите ли, еще рассуждают о «сурвости» приговора. Мне хотелось бы сказать и буржуазным защитникам пасквилянтов: не беспокойтесь за сохранность у нас критики. Критику мы поддерживаем и развиваем. Она остро звучит и на нынешнем съезде. Но клевета – не критика, а грязь из лужи – не краски с палитры художника.»// Цит. по: «Речь товарища М.А. Шолохова на ХХIII съезде КПСС. Газ. «Правда», 2 апреля 1966 г.».

Публикация и примечания Анатолия ПЕТРОВА

«ЗАМОРОЖЕННОЕ» ПРАВОСЛАВИЕ

Выдающийся историк-византолог, богослов, декан Нью-Йоркской Свято-Владимирской семинарии протоиерей Иоанн Феофилович Мейендорф был одним из последних представителей блестящей плеяды «русских парижан». Отцу Иоанну удалось побывать на Родине в брежневские времена в 1979 году. Тогда он встречался с опальными священниками Дмитрием Дудко, Глебом Якуниным, Александром Менем. Мейендорф всегда стремился помочь российским верующим — книгами, советами, просто человеческим участием. Открытый для общения, умный, человек высочайшей культуры, он всегда являл собой «незамороженное», «немумифицированное» православие. Всего этого советские власти, конечно, не могли ему простить. На долгие годы о. Иоанн был официально объявлен «персоной нон грата» в СССР. Достаточно сказать, что уже в 1986 году газета «Труд» «заклеймила» его как «агента ЦРУ».

Табу на въезд было снято лишь в 1988, накануне празднеств 1000-летия Крещения Руси.

В мае 1992 года Мейендорф снова приехал в Москву. В последний раз. Через две недели его не стало. Отец Иоанн Мейендорф умер в Нью-Йорке 22 июня 1992 года в возрасте 67 лет.

Годовщине этого печального события «Континент» посвящает публикацию одного из последних интервью о. Иоанна Мейендорфа.

Отец Иоанн, расскажите, пожалуйста, об атмосфере русского Парижа времен Вашей юности? Кого Вы помните? Кто был Вашими учителями?

— Париж 20-х и 30-х годов стал убежищем большой части элиты дореволюционной России. Правда, среди эмигрантов была не только «элита», но и много простых людей, выехавших через Крым, через Кавказ или Финляндию в 1919 — 1920 гг. В Париже издавались две ежедневные русские газеты. Существовали школы, а также консерватория, Богословский институт, гимназия, кадетский корпус. Церковная жизнь возглавлялась замечательным русским иерархом, митрополитом Евлогием (Георгиевским), которого патриарх Тихон и его Синод назначили митрополитом Западно-Европейских церквей в 1922 году, после закрытия патриархом так называемого

«Карловацкого» Управления, провозгласившего нерушимость монархии в России. Митрополит Евлогий, хотя в Думе (где он представлял Холмщину) принадлежал к «правым», считал, что Церковь не должна, как таковая, предуказывать политическое будущее России (но ее отдельные члены могут вступать в политическую борьбу). В Париже было открыто более 25 церквей. Многие приходы содержали школы для детей. Когда я прислуживал митрополиту в кафедральном Александро-Невском соборе, я помню, как в церкви стояли великие князья, белые генералы, бывший председатель совета министров граф Коковцев, а также бывшие «левые» – Н. А. Бердяев, бывшие эсеры. Митрополит всех умел объединить вокруг Церкви. В хоре пел Шаляпин.

Я вырос в этом «русском Париже». Со стороны отца и матери мои предки были петербуржцами. Деды – один (Мейendorf, женатый на Е. П. Шуваловой, дочери посла в Берлине) – генерал-адъютант; другой – Н. И. Шидловский – «земский» деятель, член Думы, «октябрист». Прадед – А. Н. Куломзин – председатель Государственного Совета и строитель Сибирской железной дороги. Родители мои со старшими детьми оказались в Финляндии, когда она стала самостоятельной, и приехали во Францию через Данию. Отец стал художником-портретистом и так кормил семью – он скончался 1 января 1970 г.

В моей семье атмосфера была естественно-русская, но без всяких националистических натяжек. Говорили только по-русски (другого языка я не знал до 7 лет), но дети ходили во французские школы, где образование было лучшим. Моя семья не любила «эмигрантщины» и считала, что приобретение европейской культуры отнюдь не противоречит верности России. В приходскую русскую школу я ходил по четвергам (четверг был свободным днем во французских школах). Там преподавался русский язык и Закон Божий. По воскресеньям и праздникам я всегда прислуживал в соборе. Стал чтецом и иподиаконом при митрополите Евлогии, и, позже, при его преемнике митрополите Владимире (Тихоницком) продолжал прислуживать в храме. До 1931 года Западно-Европейская епархия зависела от Московской патриархии. В 1931 году митрополит Евлогий не смог подчиниться абсурдному, и явно вынужденному требованию дать письменное заявление о «лояльности Советской власти» и временно перешел в юрисдикцию Константинопольского патриарха.

В послевоенное время я учился в Парижском Университете (Сорbonna) и, одновременно, в Богословском Свято-Сергиевском Институте. К богословию и священству я подходил постепенно. В средней школе изучал классические языки, интересовался историей. А потом, как-то естественно, пришло соединение интересов научных и церковных: стал «византологом». Этому содействовало участие в Русском студенческом христианском движении (восста-

новленном после немецкой оккупации), дружба с молодым Сашей Шмеманом, который тоже прислуживал в соборе, встречи с профессорами Богословского института, особенно с архимандритом Киприаном (Керн)...

— Что из себя представлял Богословский институт после Второй мировой войны?

— Учился я в Богословском институте с 1945 по 1959 г.г. и, по окончании, был А. В. Карташевым оставлен при кафедре истории Церкви. Преподавал в Институте (1951 - 1959 гг.). Одновременно закончил Сорбонну и защитил в 1958 г. докторскую диссертацию о святом Григории Паламе. Начал печатать статьи и книги.

До войны Богословский институт стал крупным богословским центром. Под эгидой митрополита Евлогия собрались профессора, представлявшие старые Академии (епископ Вениамин Федченков, Н. Глубоковский, А. Карташев), а также «интеллигенцию» (отец С. Булгаков, Б. П. Вышеславцев, Г. П. Федотов, В. В. Зеньковский и др.). Н. А. Бердяев считал себя «свободным» философом, в Институте не преподавал, но профессора Института регулярно печатались в издаваемом Н. А. Бердяевым журнале «Путь». Протоиерей Георгий Флоровский занимал как бы особое положение: сын священника и «интеллигента», эрудит и крупный патролог (бывший в Праге «евразийцем»), он относился отрицательно к «софиологии» отца Сергея Булгакова, хотя пребывал с ним в очень корректных отношениях и никогда не полемизировал с «софиологами». По существу, однако, все три его большие книги («Отцы IV века», «Византийские отцы VI - VIII вв.» и «Пути русского богословия») были, по-существу, опровержениями софиологии...

Отца Сергея Булгакова я знал (как студент) уже больным, после освобождения Парижа американцами, в течение года. Он умер в 1945 г. Как духовник и духовный руководитель он влиял на многих. Но мой «исторический» склад ума не воспринял «софиологии». Критика Флоровского (а также В. Н. Лосского) была для меня решающей. Философия «всеединства», восходящая к В. С. Соловьеву, представлялась мне слишком зависящей от немецкого идеализма 19-го века, не входящей в рамки святоотеческого предания и мало отвечающей трагичности мирозданья и истории (революция, война).

Хотя Институт после войны несколько «оскудел» (мало студентов, отъезды Г. П. Федотова и отца Георгия Флоровского в Америку), в нем можно было получить великолепное православное богословское образование. Для меня особенно важной оказалась «евхаристическая экклезиология» отца Николая Афанасьева.

Живя во Франции, где преобладало католичество, относящееся очень осторожно к православию, русские богословы «Сергиевского Подворья» почти не имели возможности печататься по-французски.

Русское издательство ИМКА-ПРЕСС печатала их труды тиражом 500 - 1000 экземпляров, т. к. не было доступа к русским читателям. Зато профессора (и студенты) много участвовали в экуменическом движении англо-саксонского мира. Это участие в экуменическом движении было основано – особенно в лице отца Георгия Флоровского – на строгой защите православных догматов. Через «парижан» православие стало известно очень многим. Были и знаменательные встречи с более открытыми к Православию католическими богословами (отцами Конгар, Даниелу, Буйе, Делюбак и др.), но – пока царствовал папа Пий XII – собрания с католиками носили частный, даже полусекретный характер. Отношение католиков к православию круто изменилось после созыва Второго Ватиканского Собора...

– *Какие причины побудили Вас покинуть Париж и переехать в Америку?*

В конце пятидесятых годов жизнь в Париже, несмотря на интеллектуальные возможности, казалась в православно-церковном смысле, несколько безнадежной. Старшее поколение профессоров Института старело, а русскоязычных студентов не было. Молодое поколение богословов – к которому принадлежал и я – видело будущее преимущественно в утверждении православия на западе. К православию льнули многие, а «эмигрантские» церковные условия позволяли лишь богослужение на церковно-славянском языке в полупустых церквях... Ставился вопрос: если православие действительно есть истинная вера – а если истинная, то и вселенская, «кафолическая» – то, можно ли допустить, чтобы его судьба была связана с неизбежно умирающей русской эмиграцией? Этот вопрос ставили мы, но также и лучшие представители совсем маленькой «патриаршей» общины в Париже (В. Н. Лосский, Н. Успенский).

Россия, конечно, была для всех нас герметически закрыта. Первым перебрался в Америку отец Георгий Флоровский, а затем отец А. Шмеман, С. С. Верховской и я в 1959 году.

Почему Америка? Да потому, что там имелся многочисленный церковный народ, жаждущий просвещения и руководства. Имелась и богословская школа – Свято-Владимирская духовная академия, где, во время войны и в первые послевоенные годы, преподавали такие «великаны», как Н. О. Лосский, Г. П. Федотов и др. Но «народ» в Америке был несколько другой. Это были потомки не политической, а экономической эмиграции конца прошлого века, прибывшие не из самой России, а из Австро-Венгрии, Украины и Белоруссии. В огромном большинстве это были крестьяне. Почти все – униаты. Прибыв в Америку, они почувствовали себя православными и перешли в православную Церковь, основанную на Аляске еще в 1794 г. Кстати, с 1898 по 1907 гг. Американской епархией управлял святитель Тихон (Белавин), а затем другой выдающийся иерарх, сыгравший большую роль на Соборе 1917 –

18 годов (он вел переговоры с Лениным), и вернувшись в Америку после революции – митрополит Платон (Рождественский). Пастыра Американской Митрополии в 1959 г. включала около миллиона верующих, сотни церквей, еще очень живую Алясчинскую миссию среди американских туземцев.

В основном «простые» эмигранты конца прошлого века не смогли передать детям, внукам и правнукам русского языка. Да и сами они говорили на тогда не установившихся разновидностях славянского наречия, но передали им любовь к Церкви, к церковной музыке, к духовному преданию отцов. Жили также в Америке сотни тысяч других православных: греков, сирийцев, сербов, болгар, румын, украинцев. До 1912 г. все они принадлежали к единой Православной Церкви, но, с распадом русского священноначалия, определились особо, в национальных «юрисдикциях»...

Сразу по приезде отец Георгий Флоровский установил в Свято-Владимирской Академии преподавание и богослужение на английском языке – единственно понятном для студентов. С тех пор именно на этих основаниях Академия выросла. Не только студенческий, но и преподавательский состав состоит, в большинстве, из американцев. Студенты принадлежат во всем православным «юрисдикциям» и почти половина из них приняли Православие в зрелом возрасте. Растет американское православие.

Вопрос об Американской автокефалии – не новый вопрос. Он был поставлен святителем Тихоном, в 1905 г. в связи с подготовкой Всероссийского Собора. Отзыв архиепископа Тихона напечатан тогда же («Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе»). «Америка – не Россия, – писал он, – паства – многонациональная; условия – демократические». Такой церковью нельзя было уже тогда управлять как рядовой епархией. Надо учредить особую независимую Церковь. После революции, когда связь с Москвой нарушилась, идею автокефалии фактически применил к жизни митрополит Платон. В 1931 г., как и митрополит Евлогий в Париже, он отказался принять Указ Патриархии о «лояльности» Советам, и объявил митрополию «временно самоуправляющейся». Последовали прецены из Москвы, установление отдельного «Патриаршего» Экзархата. Но паства осталась в огромном большинстве верной митрополиту Платону и его преемникам. Оба они (митрополиты Феофил и Леонтий), надеялись, что Русская Церковь своевременно признает Американскую Автокефалию. Именно это и осуществилось вследствие переговоров, тянувшихся с 1961 по 1970 гг.

– Вы были одним из активных участников и организаторов в деле дарования автокефалии молодой Американской православной Церкви. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом событии?

– Я лично участвовал во всех встречах, которые начались благодаря участию Патриархии, с 1961 г. во Всемирном Совете

Церквей. Исключительную роль сыграл митрополит Никодим (Ротов). Он поразил нас, с самого начала, своим умом и «чувством Церкви». После нескольких встреч он принял нашу точку зрения всецело. Мы также хорошо понимали условия жизни Церкви в советских условиях, но верили, что при наличии Никодимовского быстроумия истинно церковный дух сможет – хотя бы в одном этом случае нашей автокефалии – пресладать над тлетворным раболепством перед «полномоченными».

Первоначально епископат митрополии относился весьма недоверчиво к переговорам с Москвой. Но влияние таких людей, как архиепископ Сан-Францисский Иоанн (Шаховской), а также активное участие в переговорах отца Александра Шмемана и, вообще, жажды церковного мира с Матерью-Церковью, преобладающая среди духовенства и народа, превозмогли препятствия. Всем стало ясно, что «мир» возможен только на основе «автокефалии».

Я убежден, что Американская автокефалия будет признана историками: 1) как единственный за много лет творческий шаг в сторону рождения новой, молодой Американской Церкви; 2) как первая «ласточка» в еще продолжающемся процессе раскрепощения Русской Церкви от советской зависимости.

К несчастью, это не все понимают: другие юрисдикции в Америке – греческая, сербская, сирийская – предпочитают стоять за «этническую» зависимость Церкви, тем самым ограничивая ее миссию в Америке и поддерживая канонический хаос... Не признает ее также и маленькая группа так называемых «карловчан» (Русская Зарубежная Церковь). Я сам считаю милостью Божьей тот факт, что мне было суждено участвовать в осуществлении этого истинно церковного дела.

– *Какие собственно русские православные черты сохранились в Свято-Владимирской семинарии?*

– Свято-Владимирская семинария основана русской церковью в 1938 году. Американская Автокефальная Православная Церковь стала по преимуществу миссионерской. Существуют приходы, которые созданы эмигрантами. Цель таких приходов – сохранение традиций. Полагаю, что и Русская Церковь в СССР старалась в годы гонений сохранить то, что мы называем православной традицией. Но могут быть иные цели. К примеру, миссионерские. Появились такие приходы и в Москве. Они стремятся привлечь людей. На обоих путях есть опасности. На путях чисто консервативной, охранительной жизни можно мумифицироваться. Защищая традиции и святоотеческое наследие, можно «заморозить» жизнь в Церкви. И в значительной мере этот процесс «замораживания» происходил в России в последние семьдесят лет. Он был весьма выгоден большевикам. Они считали, что чем более Церковь «заморожена», тем быстрее она вымрет.

На путях миссионерства стережет другая опасность: снижаются

критерии, на первое место ставится социальный аспект, возникает необходимость заниматься рекламой. Стремление сделать богослужение понятным прихожанам похвально, но нельзя, чтобы это стремление приводило к утрате содержания. На этом пути стерегут опасности модернизма, на другом — суперконсерватизма. Наша Церковь, с помощью Божьей, старается не впадать ни в ту, ни в другую крайность. Православная Церковь в США многонациональна: среди наших прихожан — японцы, негры, греки, украинцы, арабы, сербы, карпатороссы. Необходимо объяснять людям смысл богослужения, смысл таинств. Я уверен, что и Русская Церковь должна сегодня стать по преимуществу миссионерской. Если она не выйдет из состояния «замороженности», то придется отвечать перед Богом. Печально то, что в памяти Русской Церкви хранится ужасный опыт «обновленчества» двадцатых годов. Обновленчество скомпрометировало многие литургические реформы, а также переход на новый календарный стиль. Когда необходимые перемены монополизируются раскольниками и сектантами, они тем самым надолго компрометируются.

Обновленчество ужасно тем, что оно было сектой, которая работала на разрушение Русской Церкви. Когда Американскую Церковь обвиняют в реформаторстве, то это преувеличение. В США нашу Церковь рассматривают как консервативный элемент, поскольку здесь сильны протестантские влияния. Им можно противостоять только на путях православного богословия и уразумения церковного предания. Но верность преданию не должна быть слепой...

— В России разрушается семья. Это понятно — еще Энгельс объявил семью пережитком прошлого и ее у нас разрушали сознательно. Каково положение этого социального института в Америке?

— Не только в России, но и в Западных обществах, быстро разрушается семья и ее значение. Дело, видимо, не только в экономических условиях. Часто говорят, что в России семья разрушается благодаря квартирному кризису, необходимости работы обоих родителей, нехватке питаний, разложению общества, вследствие сталинского террора и войны. Но на Западе — изобилие. Несмотря на это (или благодаря именно этому?) человек ищет еще большего материального благополучия. Легко приобретать средства ограничения рождаемости. Эта легкость, может быть, лучше, чем систематическая практика абортов (как в Советском Союзе), но она поощряет дешевое сластолюбие и безответственность. Общее всем обществам — отсутствие духовных критериев, секуляризованный эгоизм, эгоистическая борьба за существование, отвержение всякой дисциплины и аскетики. Семья не может существовать без самоограничения, без признания важности других личностей, членов семьи. Без практической, ежеминутной заботы о «ближнем». Писание говорит: «Не

хорошо быть человеку одному», а наше общество не хочет признать, что «счастье» дается не даром, а через усилие любви.

В христианстве, брак толкуется как образ духовного совершенства: Бог любит свой народ, как муж любит жену. Христос – «единая плоть» с Церковью... Это, значит, что и обратное верно: муж и жена призваны явить образ Божественной любви к людям... В таинстве брака они не только призываются к такому совершенству, но получают благодатную силу осуществлять его. Но благодать – не магия: человек от нее может отказаться и не осуществлять то, что ей дает Бог...

Лично я могу благодарить Бога и за семью, в которой вырос, и за свою собственную семью. Ровно сорок лет я женат на М. А. Можайской (внучатой племяннице известного русского авиатора), родившейся, как и я, во Франции. У нас – четверо детей, из которых трое женаты или замужем: все на американцах. Но все четверо говорят и по-русски и по-французски (все четверо родились во Франции). Мой старший сын окончил Свято-Владимирскую академию и защитил докторскую диссертацию в католическом университете. Последние два года он занимает место доцента литургики в нашей Академии. Диссертация его на тему о реформе богослужения при патриархе Никоне будет скоро напечатана на английском языке. Несомненная принадлежность всех наших детей к американской культуре не препятствует им оставаться людьми церковными, и сохранять ощущение русской духовной культуры. У старшего сына, Павла – профессора литургики – четверо детей, моих внуков.

– Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в Русской Православной Церкви? Еще недавно РПЦ обладала высоким рейтингом в обществе? Как Русская Церковь видится Вам?

– Православие должно «разморозиться». Православная интеллигенция и особенно молодежь должны быть более активными. «Кризисное» состояние Церкви имеет всем известные причины. Правда, что русское духовенство было веками – и не только Сталиным – приучено к послушанию гражданским властям... Но при этом русский православный народ никогда не отождествлял Церковь, как таковую, с публичными высказываниями или поведением иерархии. Церковь, Царство Божие, народ находил в богослужении, в живом опыте мира грядущего, находимого в жизни святых, в смиренной праведности многих простых людей...

«Кризис» Русской Церкви, поэтому выражается не столько в некоторой растерянности и пассивности руководства, сколько в отсутствии культурных, научных и духовных кадров. В духовных школах поголовное истребление научных сил при Сталине оставляет огромный провал преемственности. Приходит к Церкви светская интелигенция, но ей не с кем общаться... Правда, этот «возврат» интелигенции есть часто возврат людей мало разбира-

ющихся в исторической реальности не только Русской Церкви, но и христианства и религии вообще. Они приходят иногда со странными предпосылками и идеями. Все это часто угрожает церковности как таковой, а также церковному единству. Как в двадцатых годах, появляются церковные партии – консерваторы (или псевдо-консерваторы, часто просто неучи...), обновленцы (или псевдо-обновленцы, импровизаторы и нахалы...), украинские самостийники (украинское наследие следует признать, но в рамках Православия и здравого смысла...). Весь этот начинающийся плюрализм есть, конечно, плод свободы и законного творчества, но только в той мере, в которой он возникает в Церкви, в духе церковности. «Подобает ересям (т. е. разделеньям) быти, чтобы явились искусные», писал апостол Павел. Опасны не споры – даже самые яростные – а создание сект и расколов, излечить которые весьма трудно...

Опыт русской эмиграции, кстати, показал, что разделение на юрисдикции – величайший грех и духовная болезнь. Я, конечно, имею в виду не справедливые и законные административные деления, установленные во взаимном, соборном согласии, а разделения, разрушающие евхаристическое единство Церкви... Уласи Боже, Русскою Церковь от этого!

Постепенно, здраво, любовно следует исцелить церковное тело – элиминировать недостойных, воссоздать кадры, привлечь лучших к руководству. Тот факт, что к преподаванию в духовных школах привлекаются теперь лица, имеющие академический стаж в светских ВУЗах, есть факт положительный и обнадеживающий. В этом новом сочетании обеим сторонам (т. е. слаборатным кадрам существующих школ и нецерковной интеллигенции) надо будет творчески подтянуться.

Хорошо, что Собор 1917 - 18 гг. признается образцом того, что нужно Церкви, а именно: соборности (которая невозможна без демократии, но которая неотождествима с ней, Церковь, как таковая, не ДЕМОкратия, а ТЕОкратия...), оживление прихода, участия мирян в жизни Церкви... О будущем Русской Церкви я могу говорить только почти мистически. Русская Церковь пережила самую систематическую и самую долгую форму религиозного гонения в истории человечества. Ее возрождение покоятся на крови тысячи мучеников... Этот искус выявил неисчислимые духовные богатства – основу будущего!

Вопросы задавал Сергей БЫЧКОВ

ЦЕРКОВЬ И МИР В ПРАВОСЛАВНОМ СОЗНАНИИ

Александр Дмитриевич Шмеман (1921 - 1983) – православный священник, богослов, педагог, проповедник, церковный деятель – пока еще мало известен в России. Он представитель второго поколения русской эмиграции: родился в Ревеле, образование получил в Париже – в Православном институте святого Сергия, где и стал преподавать церковную историю в трудные послевоенные годы, принял священный сан. Однако вторую половину своей жизни он провел в Америке, где был с 1951 года профессором, а затем, с 1962 года до дня своей кончины, ректором Свято-Владимирской духовной академии в Нью-Йорке. Он приобрел известность в США как выразитель православного сознания благодаря книгам, а также многочисленным выступлениям с лекциями в университетах и церковных общинах. Множество его учеников, выпускников академии, сегодня являются православными священниками в разных странах мира: в Западной Европе, в Финляндии, в Японии, на Ближнем Востоке и в других местах.

Несмотря на то, что о.Александр никогда не был в России, в его облике, о котором мы узнаем от знающих его, а также из его книг (главные из которых были написаны по-русски), есть узнаваемые, глубоко русские черты, свидетельствующие об укорененности творчества Шмемана в русской культурной и церковной традиции. Судьба связала о.Александра с Западом, где делом его жизни стало столкновение церковного опыта современному «западному» человеку. Но вместе с тем Шмеман говорил о себе: «Что бы я в моей жизни не писал, я так или иначе обращал написанное к России и к судьбам Церкви и православной веры в России... ни на одну минуту не усомнился я в силе и глубине русского Православия, и это несмотря на всю печальную, поистине трагическую видимость».

Предлагаемая вашему вниманию статья о.Александра – это текст его выступления на Втором конгрессе православных богословских школ в Афинах в 1976 году. Появившаяся в другом контексте и в другое время, она, тем не менее, весьма актуальна сегодня, помогает ответить на те вопросы, которые поставила перед Церковью принципиально новая общественная ситуация в

России. Перевод сделан по изданию: «*The World in Orthodox Thought and Experience*». — In: Alexander Schmemann. «*Church, World, Mission*», N - Y, St.Vladimir's Seminary Press, 1979. Pp. 67 - 84.

1

Сам факт, что спустя две тысячи лет с того момента, как Церковь стала присутствовать в мире, мы испытываем потребность задавать самим себе вопрос о смысле этого присутствия, с очевидностью свидетельствует: нечто «случилось» (с Церковью? с миром?) и это нечто требует от богословия нового усилия мысли, обновленного «прочтения» церковного Предания. Что же произошло? Я попытаюсь ответить на этот вопрос, конкретизируя проблему, и намечу, хотя бы в общих чертах, свое понимание путей ее разрешения.

Прежде всего надо сказать — как бы странно это ни звучало, — что сами реальности, взаимоотношение которых мы должны прояснить, то есть «Церковь» и «мир», лишь сравнительно недавно стали в православном богословии объектами специального богословского исследования. Мы только еще выходим из продолжительной эпохи в истории богословской мысли, главной характеристикой которой было именно отсутствие экклезиологии, то есть особого учения о Церкви, причем такого, которое предполагает в качестве исходного пункта радикальное различие Церкви и мира и поэтому по необходимости ставит вопрос об их взаимоотношении.

Поэтому мы не можем приступить к обсуждению занимающей нас проблемы присутствия Церкви в мире, не осмыслив этого «экклезиологического молчания». Не является ли оно, как многим кажется сегодня, просто недостатком нашего богословия? И не должен ли в таком случае этот недостаток быть восполнен путем очередной инъекции в Православие западных богословских категорий, а именно через принятие *противопоставления* Церкви и мира, которым озабочен, если не сказать одержим, Запад? Или же само это «молчание» должно быть понято нами как неотъемлемая часть нашей традиции? И тогда это не просто молчание, но свидетельство, и, быть может, весьма красноречивое, об опыте и видении, существенно отличных от того, что мы видим сегодня на Западе. Во всяком случае, ясно, что само понимание обсуждаемой нами проблемы, ее постановка зависит от выбранного нами подхода.

Каким бы заманчивым ни казался первый подход, нет сомнения — для меня по крайней мере, — что он должен быть отвергнут. Ибо, несмотря на множество весьма серьезных недостатков, на поистине трагическую односторонность нашего постпатристического — в значительной степени именно «западнического» — богословия, упомянутое «экклезиологическое молчание» очевидным образом предшествует каким-либо влияниям и укоренено в гораздо

более глубоких слоях православного сознания. Возникает вопрос: где же именно?

Мой ответ: в том самом «христианском мире», который сформировал историческое самопонимание Православия и который до сих пор определяет контекст для православного восприятия Церкви, мира и их взаимного отношения. И если в течение нескольких столетий наше богословие не испытывало потребности осмыслять это соотношение — а это значит разделять Церковь и мир, — то причину этого надо искать в феномене той христианской *оикумены* (вселенной), которая возникла в результате примирения Церкви с греко-римской Империей и на протяжении всего «константиновского» периода церковной истории была единственным и самоочевидным выражением и опытом «присутствия» Церкви в мире. Именно поэтому этот опыт, а вернее, его место и смысл внутри нашей традиции, является также неизбежной точкой отсчета для любой попытки определить православное понимание Церкви в ее отношении к миру.

2

Однако сказать это — еще не значит решить проблему. Ибо если историческое знание о «христианском мире» в его различных аспектах — политическом, культурном, социальном и т. д. — достигло сегодня значительных успехов, то этого нельзя сказать о его богословском осмыслении. Практически не был поставлен вопрос об экклезиологическом значении этой эпохи — вопрос, от ответа на который зависит наше сегодняшнее понимание соотношения Церкви и мира. Мы знаем, что примирение Церкви и Империи не привело к юридическому соглашению между ними, то есть к некоему конкордату, который, определяя права и обязанности обеих сторон, Церкви и Империи, сохранял бы их структурные различия. Мы знаем, что результатом этого примирения стало такое взаимопроникновение Церкви и Империи, их структур и функций, которое было вполне логично выражено в терминах органического единства, сравнимого с соотношением души и тела. И мы знаем, что этот любимый византизм образ не был риторическим преувеличением, что христианская оикумена воистину была, как в теории, так и в действительности, организмом, внутри которого ни Церковь, ни мир — государство, общество, культура — не имели отдельного существования и «конституционально» были неразличимы. Мы все это знаем, и наше знание подтверждается множеством исторических трудов и ученых диссертаций. Единственно, чего мы, кажется, еще не знаем, — что же значат эти исторические факты для нашей богословской рефлексии, касающейся сегодняшнего присутствия Церкви в мире.

Причина этого незнания проста, хотя назвать ее — значит

оказаться перед следующей, воистину главной трудностью на пути решения проблемы. Речь идет о той власти, которую до сих пор имеет над нами «христианский мир» *прошлого*, определяющий и формирующий *современное* православное сознание и остающийся фактически единственным, хотя и подсознательным, источником нынешнего православного мировоззрения. По правде говоря, как православные мы до сих пор живем в том прошлом «христианском мире», игнорируя факт его крушения и исчезновения. И мы игнорируем этот факт потому, что для нас – и это главное – «христианский мир» не только продолжает жить в Церкви и через Церковь, но основным, если не исключительным назначением Церкви теперь стало, по существу, именно обеспечение выживания этого «мира», его продолжающегося «присутствия» сегодня.

Надо ли это доказывать? Не очевидно ли, что для подавляющего большинства православных, как индивидуумов, так и церквей, само слово «православный» является, по существу, бессмысленным, абстрактным, если к нему не добавлены определения, которые хотя формально и относятся к категориям «этого мира», тем не менее неотделимы в сознании от «Церкви» и более того – наименее полно ее выражают. Православие греческое, русское, сербское... В церковном языке эти прилагательные значат нечто большее, чем просто национализм, ибо связаны с естественным стремлением понять судьбы нации, страны, культуры. Если что-то и доказал опыт православной diáspory наиболее красноречиво, то следующее: православные христиане, даже когда они добровольно покинули свои «православные» страны, забыли свой родной язык и полностью отождествили себя с жизнью и культурой другой нации; считают одновременно естественным и желательным, чтобы их «православие» оставалось греческим, русским, сербским и т. д. И происходит это не потому, что они не могут представить иные выражения или формы Православия, но по той причине, что именно «эллинство» (а не греческое православие) или «русскость» (а не русское Православие), являемые для них Церковью, составляют предмет их любви в самом Православии, их сокровенного сердечного влечения. И это справедливо не только в отношении к diáspore, которая лишь наиболее откровенно выражает и обычно усиливает это состояние православного сознания, подчас доводя его до абсурда, но и в отношении Православия в целом. Везде Православие переживается прежде всего как то, что *репрезентирует*, то есть «делает настоящим, присутствующим», *другой мир* – мир прошлого, который, даже если он проецируется в будущее в виде мечты или надежды, остается принципиально отчужденным от реального сегодняшнего мира. Повсюду даже основные канонические структуры Православной Церкви отражают географическую и административную структуру того прошлого «мира», чей язык и формы мышления, культура и весь этот доныне формируют и

окрашивают изнутри современное православное сознание. И именно эта идентификация, то есть тот факт, что сама «Церковь» понимается и испытывается как идеал и символическое существование несуществующего более «мира», создает для нас основную трудность, когда мы хотим понять истинный смысл и ценность того ушедшего мира, то есть значение нашего *прошлого* для нашего *настоящего*.

Прежде сего, эта идентификация делает почти невозможной для православного сознания оценку «христианского мира» в экклезиологических, то есть богословских категориях. Она не позволяет различить в нем то, что является его «удачей» и остается для нас нормативным как подлинная часть церковного Предания, и то, что было в нем отклонением от предания и его искажением и поэтому может быть названо «неудачей». Именно здесь, в этой неспособности к оценке открывается нам чрезвычайно важное, решающее значение события, которое игнорируется православным сознанием и по этой причине до сих пор продолжает определять его. Событие это – исторический конец и распад христианской *оikумены*.

В самом деле, распад – одного за другим – органических «православных миров», который начался крахом их общего источника и архетипа – Византийской империи, был причиной глубокой трансформации в их *переживании* православным сознанием. Неотъемлемой чертой этого переживания является вера в то, что «христианский мир», рожденный под знаком Константиновой победы («сии победиши»), *не может* потерпеть крушения, что он неразрушим и призван длиться, продолжаться до скончания века. Это объясняет, почему травматический шок, вызванный его крахом, парадоксальным образом привел к *отрицанию* самого краха, разумеется, не его исторической реальности, но значимости самого события, которое по необходимости ставит под вопрос сложившееся к тому времени мировоззрение. А раз «христианский мир» *не может* исчезнуть, значит он и *не исчез*. Его внешний распад – это лишь временное «исчезновение», попущенное Богом «искушение». Таковым был и остается поныне смысл этого отрицания, которое позволяет Православию жить так, будто ничего не произошло и ничего не изменилось.

В действительности же изменилось само православное сознание. Именно *после* краха «христианского мира» и *по причине* отрицания этого краха сам «христианский мир» был переосмыслен и преобразован в сознании в почти мифический и архетипический «золотой век», который должен быть «восстановлен», к которому необходимо «вернуться». Он стал идеальным прошлым, спроектированным в идеальное будущее, единственным горизонтом церковного видения истории. В этом изменении сознания первоначальный опыт оказался обращенным: если до своего крушения ценность этого «мира» для Церкви заключалась в том факте, что мир

воспринял ее как свою «душу», как конечную цель и критерий своего собственного существования, то теперь сама Церковь стала переживаться как «тело», выражющее этот ушедший «христианский мир» и живущее им как своей «душой».

Отсюда проистекает экклезиологическое молчание, о котором мы говорили вначале, неспособность нашего богословия различить Церковь и мир, осмыслить центральный для православного опыта феномен «христианского мира», его «удачи» и «неудачи». (...)

Это молчание не было нарушено шумными спорами в православной среде о «мире», которые разделили православных на «оптимистов» и «пессимистов». Однако сама эта поляризация взглядов является следствием того психологического рабства у прошлого, у золотого века «христианского мира», которое, парадоксальным образом, есть одновременно источник как православного «оптимизма», так и православного «пессимизма». Разница в общих чертах такова: если «оптимисты» верят в грядущее возрождение православного мира прошлого, «пессимисты» расстались с этой надеждой и для них очевидно необратимый триумф дурного «современного мира» приобретает апокалиптическое значение, становится знаком приближающегося Конца.

«Оптимисты» могут клеймить «пессимистов» как фанатиков. «Пессимисты» могут отлучать «оптимистов» как отступников. И те, и другие в определенной мере правы, ибо если православный «оптимизм» чаще всего приводит к некритичному, пассивному и подсознательному подчинению современному миру, то православный «пессимизм» ведет к манихейскому, дуалистическому осуждению и отрицанию этого мира. Все это, однако, бьет мимо цели, потому что в этом споре именно «мир» и отсутствует – как объект богословской рефлексии, как необходимая и существенная составляющая экклезиологии, то есть самопонимания Церкви и, соответственно, осмыслиения ее присутствия в мире и отношения к нему.

3

Только теперь мы можем сформулировать основной вопрос: если такова наша настоящая богословская ситуация, где и как мы можем обрести почву, контекст, перспективу – одновременно объективные и православные – для решения нашей проблемы о присутствии Церкви в мире? «Православные» – значит здесь укорененные в православной вере и опыте, а не в искусственно воспринятых западных категориях. «Объективные» – значит вполне свободные от зависимости, рабства у того «христианского мира», который, как мы старались показать, препятствует подлинно экклезиологической оценке нашего собственного прошлого и его значения для настоящего.

Трудность, которая в этом случае возникает, связана с очевидной несовместимостью двух понятий: «объективное» и «православ-

ное». Ибо если, с одной стороны, не поняв ситуацию, в которой оказалось православное сознание, невозможно правильно сформулировать вопрос, то, с другой стороны, понять ее – значит оказаться в ситуации, в которой ответ кажется просто невозможным. Вместе с тем моя задача как раз и заключается в том, чтобы показать, что именно осознание этого заколдованного круга мысли позволяет открыть единственную перспективу, которая будет удовлетворять обоим требованиям (то есть «объективности» и «православности») и может привести нас к адекватной, то есть богословской формулировке и решению проблемы. Полезность осознания этого заколдованного круга заключается в том, что оно буквально заставляет нас обнаружить, а лучше сказать – обрести вновь третью «реальность», которая, хотя и бесконечно превосходит «реальности» Церкви и мира, тем не менее является для христианской веры подлинным критерием обеих последних и поэтому открывает возможность их различения и выяснения их взаимоотношений. Эта реальность есть Царство Божие, возвещение которого именно как реальности, а не просто идеи или доктрины, является центром Евангелия или, лучше сказать, есть само Евангелие, Благая Весть, а также его сверхвременной, вечный горизонт: источник и содержание христианского опыта.

До тех пор, пока мы не отнесем все другие реальности к этой последней реальности, пока мы будем пытаться понять и определить смысл присутствия Церкви в мире в безнадежно «мирской» перспективе, то есть не рассматривая ни Церковь, ни мир в свете Царства Божия, до этих самых пор мы обречены на пребывание в тупике, в заколдованным кругу – сознательно или бессознательно. Ибо нет и не может быть подлинной экклезиологии, то есть истинного понимания Церкви, мира и их взаимоотношения, без эсхатологии – православной веры и опыта Царства Божия.

Здесь, однако, необходимо подчеркнуть, что под эсхатологией мы понимаем не просто «главу», которую обычно можно найти в конце наших богословских учебников и в которой речь идет почти исключительно о судьбе человеческой души после ее отделения от тела. По существу, эта футуристическая и индивидуалистическая редукция (упрощение) эсхатологии есть один из величайших недостатков нашего послепатристического богословия, наихудший плод его долгого «западного пленения». Подлинная эсхатология – это не столько «богословская глава» или «доктрина» (которая должна рассматриваться «сама в себе»), сколько существенное измерение христианской веры и опыта и поэтому христианского богословия в целом.

Христианская вера эсхатологична, потому что события, из которых она вырастает и которые являются ее «объектами» и «содержанием» – жизнь, смерть, воскресение и прославление Иисуса Христа, сочество Святого Духа и «основание» Церкви, – видятся и испытываются не только как конец и исполнение истории

спасения, но также как начало и дар новой жизни, содержанием которой является Царство Божие: знание Бога, общение с Ним, возможность, продолжая жить в «этом мире», предошущать, реально участвовать в «радости, мире и праведности» будущего века. Таким образом, эсхатология, будучи существенной для самой христианской веры, пронизывает все христианское богословие и делает его в принципе возможным, то есть преображает наши человеческие и безнадежно ограниченные слова в «*theoprepeis logoi*», «богоприличные слова», способные выразить вечную, трансцендентную божественную истину.

Именно эсхатология пролагает путь к подлинному пониманию Церкви и мира, раскрывает природу их взаимоотношений. Прежде всего она указывает на Церковь как выявление, присутствие и дар Царства Божия, как его «тайство» в этом мире. И снова, Церковь в целом – и как «институция», и как «жизнь» – эсхатологична, ибо у нее нет другого содержания и цели, кроме откровения и сообщения трансцендентной, потусторонней реальности Царства Божия. В ней нет разделения на «институцию» и «жизнь»: как институция она есть знак Царства, как жизнь – тайство Царства, исполнение, осуществление этого знака в реальности, в опыте и общении. Пребывая в «этом мире» (*in statu viae*), она живет опытом «будущего века», к которому уже принадлежит и где она уже «дома» (*in statu patriae*).

Эсхатологическое «существо» Церкви объясняет православное «эклезиологическое молчание» на протяжении классической святоотеческой эпохи в истории богословской мысли. Если, как это не раз было отмечено, Отцы не определяли Церковь, если для них она не являлась объектом богословской рефлексии, то это потому, что ни одно из определений не может адекватно выразить существо тайства Церкви как *опыта* Царства Божия, как его явлений в «этом мире». Даже библейские образы Церкви – Тело Христово, Невеста Христова, Храм Духа Святого – не могут быть истолкованы как «дефиниции». Совершенно бессмысленно говорить, что Церковь есть «Тело Христово», тому, кто не имеет опыта Церкви, не причастен ее жизни. Поэтому для Отцов Церковь – не «объект» богословия: она в них самих является «субъектом» богословования, существенной реальностью, которая через откровение Царства Божия – то есть последней, спасающей истины – делает возможным приобщиться к новой жизни и свидетельствовать о ней. Отцы не определяют, что такое Церковь, потому что через абстрагирование, отвлеченная от опыта, она становится чистой формой, о которой, по существу, нечего сказать. И мы знаем из последующей истории христианского богословия, в особенности западного, что происходит, когда экклезиология, утратившая свое эсхатологическое измерение, выделяет в качестве своего собственного «объекта» именно форму Церкви, наделяя ее собственным существованием

и, таким образом, превращая экклезиологию в экклезиолатрию и тем самым искажая весь «опыт» Церкви. Все это имеет прямое отношение к пониманию «христианского мира» и места Церкви в нем.

4

Являя Церковь, раскрывая ее природу и призвание, эсхатология необходимо является и мир, вернее, видение и понимание мира в свете христианской веры. Существенный опыт Церкви как опыт «новой твари», новой жизни в обновленном мире предполагает определенный фундаментальный опыт самого мира. Во-первых, это опыт мира как творения Божия, то есть благого по происхождению и по существу, отражающего в своем строении и бытии премудрость, славу и красоту Того, Кто его сотворил: «Полны суть небеса и земля славы Твоей!». В христианской вере нет никакого онтологического дуализма, нет места для космического пессимизма. В ней достигает полноты библейское прославление Бога в Его творении. Мир — *хорош*.

С другой стороны, эсхатологический опыт Церкви является мир как мир *падший*, находящийся под властью греха, тления и смерти, порабощенный «Князю мира сего». Это падение хотя и не могло упразднить существенную благость Божиего творения, все же уело мир от Бога, превратило его в «мир сей», который, будучи «плотью и кровью», гордыней и самостью, не только отличен от Царства Божия, но и резко противостоит ему. Отсюда трагическое христианское видение истории, отрицание христианской верой любого исторического оптимизма, отождествляющего мир с «прогрессом».

И, наконец, завершительный, предельный опыт: *искупление*, совершенное Богом посреди мира, в самых недрах Его творения, внутри времени и истории, которое делает человека способным к восприятию новой жизни в Боге и тем самым является спасением мира. Ибо если мир — в человеке и через человека — отвергает свою самодостаточность, если он перестает быть «целью в себе» и таким образом воистину *умирает* как «этот мир», значит он становится таким, каким был призван стать по замыслу Творца и каким воистину стал во Христе: предметом и средством освящения, путем общения человека с Богом и переходом к вечному Царству Бога.

5

Теперь мы может вернуться к «христианскому миру», который, как я старался показать, блокирует «православное сознание», доныне властвующее над ним. Эсхатологическая перспектива как общий ~~контекст~~ для христианского опыта и понимания Церкви и мира

делает возможным для нас оценить наше прошлое и на основе этого понять настоящее, то есть определить основные нормы для православного подхода к миру, такому, каков он есть сегодня.

Если оценить означает, прежде всего, различить «достижения» и «поражения», то в отношении сложной реальности «православного мира» прошлого это значит отделить его подлинно христианские и поэтому непреходящие достижения от его отступлений, измен своему христианскому идеалу. Вместе с тем, именно этот идеал, как я убежден, составляет первый и существенный «успех» христианского мира, его непреходящую ценность для нас в нынешней ситуации. Если Церковь с такой готовностью, энтузиазмом и без каких-либо оговорок, юридических или «конституционных» условий *приняла «мир*», который в течение более двух столетий отрицал само право Церкви на существование, если она восприняла его как форму своего собственного существования и из практических соображений соединилась, слилась с ним, это произошло прежде всего потому, что сам этот мир, то есть греко-римская Империя, *принял веру Церкви*, а это значит подчинил себя самого, свои собственные ценности и все свое самопонимание конечной цели и содержанию этой веры – Царству Божию. Иными словами, мир воспринял в качестве своего собственного основания христианскую эсхатологическую перспективу. И произошло это не только в теории, не только номинально. Мы настолько привыкли к «западному» пониманию «христианского мира», то есть его осмыслению почти исключительно в плане церковно-государственных отношений, а в более специальном смысле – в терминах соотношения *царства и священства*, что, в сущности, стали неспособны видеть действительный locus, предмет этого уникального альянса между Церковью и миром: их существенное согласие относительно того, что составляет конечную ценность, предельный горизонт человеческого существования во всех его измерениях.

Конечно, чтобы доказать, что это неписаное и вместе с тем вполне реальное «соглашение» существовало и что, несмотря на все человеческие слабости, падения и изменения, оно *работало*, потребовался бы детальный анализ культуры и этика «христианского мира» в целом, который невозможен в рамках статьи. Однако я убежден, что такой анализ показал бы принципиальную *открытость* той культуры и общества, создавшего ее, к христианскому эсхатологическому видению как единственному вдохновению, воистину «душе» ее собственного существования. Какой бы из аспектов этого мира мы ни взяли – его искусство, которое в каждом обществе является наиболее характерным выражением жизнепонимания, образ жизни или, как теперь любят говорить, весь «дискурс» его культуры, – мы видим, что внутренний строй этого мира, его стиль в глубоком смысле слова определяется в конечном счете эсхатологическим опытом Церкви, переживанием и знанием Царства Бого-

жия. Если монашество, например, для этого общества есть идеальный полюс, «наилучший» путь к совершенству, так что оно формирует его богослужение, благочестие и, по существу, весь менталитет, это происходит потому, что монах персонифицирует эсхатологическую природу христианской жизни, свидетельствует о невозможности свести христианство к чему-либо от «этого мира», чей «образ проходит». В этом смысле покаяние, в радикальном значении евангельского понятия «метанойи», является основополагающей тональностью «христианского мира», пронизывает его молитву, его мысль и наиболее важные символы жизни. Современные христиане слишком легко забывают об этом, хотя в условиях столь характерного для современной цивилизации редукционизма об этом следовало бы помнить прежде всего другого.

6

Если таковы наиболее существенные «достижения» «христианского мира» в свете эсхатологии, эта же перспектива являет нам также фундаментальные «неудачи», «провалы» этого мира. Я назвал их фундаментальными, чтобы отличить от всех других дефектов и недостатков – убийств, жестокости, вражды, которые присутствуют в «христианском мире» так же, как и в любом человеческом обществе. Однако помимо этих «человеческих, слишком человеческих» недостатков и трагедий, можно говорить о внутренней измене «христианского мира» своему собственному самопониманию. Измена эта выразилась в прогрессирующем подчинении его другим представлениям – подчинении еще более трагичном, потому что оно было, по существу, подсознательным.

Используя современные категории, я назвал бы эту измену *отрицанием истории*. Речь идет об отрицании того опыта времени, его смысла и его функции, который предполагается христианской эсхатологией. Смысл этой эсхатологии заключается именно в том, что она, через *откровение эсхата*, то есть последней *цели* и смысла мира, полагает мир как *историю*, как исполненный смысла процесс внутри линейного времени. Христианское мировоззрение динамично, оно освобождает мир от порабощения статичной «сакральности». Указывая на Царство Божие как Вышнее, которое тем не менее присутствует внутри времени как его «закваска», как то, что сообщает ему ценность, смысл и ориентир, Церковь возбуждает в человеке алчание и жажду Абсолютного, ненасытное желание и стремление к совершенству.

Первоначальное «соглашение» между Церковью и миром не только предполагало это динамичное мировоззрение, но было основано на нем. Воспринимая эсхатологическую веру Церкви, «мир» себя самого понимал как «путь» к Царству, как мир, *открытый*

для пророческого видения и голоса Церкви. Даже если согласно библейской схеме греко-римская *оikумена* понималась как последняя в цепи великих империй, которыми измеряется история спасения, даже если, воспринимая Христа как верховного *Василевса*, или *Пантократора* (Вседержителя), она понимала себя как христианскую *политевму* – христианское общество, то есть как последний ответ мира Богу, все это не упраздняло – для Церкви – существенной «историчности» этой империи, ее принадлежности к миру, «образ» которого проходит.

Со временем, однако, это представление менялось: из динамичного оно становилось мало-помалу – и почти бессознательно – вполне статичным. И хотя здесь нельзя привести всех причин, которые привели к этой метаморфозе, все они так или иначе коренятся в инерции, характерной для социальных организмов, в их «естественной» тенденции отрывать форму от содержания, которое только и может оправдать форму, и таким образом абсолютизировать саму форму как самоцель, как форму сакральную и вечную. Ничто лучше не подтверждает действительность этой метаморфозы, чем смещение эсхатологического акцента, опять-таки бессознательное. Именно в это время начинает развиваться эсхатология индивидуалистическая и почти исключительно футуристическая, которая отрывает в сознании даже таинства Церкви и саму Евхаристию от их эсхатологического смысла и таким образом перемещает Царство Божие, по крайней мере в богословии, в будущее, превращая его в учение о наградах и наказаниях после смерти.

Однако действительный контекст этой метаморфозы и упрощения не только богословский. Здесь отражаются нарастающие изменения в самом сознании «христианского мира», прогрессирующее отчуждение его от собственного эсхатологического видения. С одной стороны, его самопонимание как последнего земного царства, как провиденциального «локуса» победы Христовой стало переживаться – скорее, чем истолковываться – как конец истории: конец не времени, но именно «истории», то есть времени, открытого к новым событиям, готового к имеющему смысл развитию. Все, что свидетельствовало о таком развитии, все действительно происходящее в истории отныне втискивалось в статичный и неизменный образец. Тем самым отрицалась историческая уникальность происходящего во времени.

С другой стороны, одновременно с ростом этой антиисторичности внутри христианского мира росло и развивалось ощущение его совершенства: не в отношении его «членов», которые оставались грешниками, но в отношении того, что касалось его форм и структур, которые все больше воспринимались как окончательные, Богом данные и потому – неизменные.

Все это, я повторяю, происходило постепенно и скорее на

подсознательном, чем на сознательном уровне. Теория не менялась — менялось только ее переживание. Но результаты этих перемен составляют, без преувеличения, величайшую трагедию христианской истории. Причина этой трагедии в прогрессирующей эманципации человеческого разума — но также его «жажды» и «алкания», возбужденных в нем христианством, — от «христианского мира» и, как следствие, растущая секуляризация последнего, которая привела в конце концов к его восстанию против христианства. Не имея возможности развиваться внутри «христианского мира», его религиозного, культурного и психологического «уклада», человеческий разум, блокированный статической самоабсолютизацией этого мира, но сформированный и вдохновленный христианским эсхатологическим максимализмом, стал теперь видеть в «христианском мире» главное препятствие для осуществления этого максимализма, репрессивную структуру, не имеющую ничего общего со свободой. Печальную историю о разрыве между человеком и его экзистенциальным поиском, с одной стороны, и «христианским миром», с другой, рассказывали много раз. Для нас здесь важно увидеть неизгладимую «христианскую» печать на «современном мире» — том мире, который родился и вырос из этого разрыва. Эта печать сохранилась, несмотря на восстание мира и даже его отступничество. Новый мир есть воистину *постхристианский* мир, потому что в конечном счете даже наиболее секулярные, наиболее антирелигиозные и антихристианские идеи и идеологии, которые им движут, являются так или иначе *«des verites chretiennes devenues folles»*, то есть «обезумевшими христианскими истинами», плодами секуляризованной эсхатологии. Именно христианская вера, внедрившая в ум и сердце человека мечту — «видение» — о Царстве Божием, сделала возможным фундаментальный утопизм «современного разума», породила его преклонение перед историей и его почти параноидальную веру в грядущее царство свободы и справедливости.

7

Теперь последний вопрос: что все это значит для нас? для нашей темы о присутствии Церкви уже в нашем «современном мире»? Нашей задачей было нахождение эклезиологической перспективы, если формально не вполне выраженной, то во всяком случае предполагаемой центральным христианским опытом — опытом «христианского мира», его «достижений» и «неудач».

Я думаю, что существенный смысл того, что я назвал «достижением», или «удачей», заключается в самом факте «христианского мира», который прежде всего другого воплощает православную веру в возможность освящения самого мира, другими словами — веру в мир не как безнадежно «внешнюю» реальность, чуждую Церкви,

выполняющей исключительно «религиозную» задачу в мире, но в мир как объект ее, Церкви, любви, заботы и действия. Это особенно важно ввиду опасной и потенциально еретической тенденции, распространенной сегодня среди православных христиан, исповедовать почти манихейский, дуалистический взгляд на мир и тем самым превращать Церковь в самодостаточное, поглощенное собой религиозное гетто. Наше собственное прошлое, наше Предание свидетельствует не только о возможности «богословия мира», но делает такое богословие органическим измерением самого учения о Церкви.

Однако если эта «удача» христианского мира освобождает нас от манихейского дуализма, она также должна избавлять от противоположного, но равным образом опасного искушения: от прямого подчинения миру, от восприятия его в качестве единственного содержания жизни и действия Церкви. «Удача» – в той степени, в какой она остается именно «удачей», – говорит о том, что задача Церкви в мире – обеспечивать присутствие в мире эсхатона, явить Царство Божие как последний смысл жизни и таким образом соотносить с ним всю жизнь человека и его мира. Церковь – не агентство для решения бесчисленных «проблем», перед которыми оказался мир. Она может помочь решить эти проблемы только тогда, когда сама остается верной собственной природе и призванию: открывать и являть в «этом мире» то, что, будучи «не от мира сего», составляет поэтому единственный абсолютный контекст, перспективу для понимания и разрешения всех человеческих «проблем».

Что же касается «фундаментальной неудачи» христианского мира, то она должна заставить нас вполне осознать, что существует только один подлинный грех, одна реальная опасность – идолatriя, вечного искушения абсолютизировать и таким образом «идолизировать» сам «этот мир», его преходящие ценности, идеи и идеологии, забывая о том, что как народ Божий мы «не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13, 14). «Неудача» христианского мира дает нам возможность видеть насквозь «современный мир» и формирующую его духовную реальность, различая в нем то, что является позитивным: вопль, идущий из его христианского подсознания, а также то, что является безусловно негативным: его воистину демоническое восстание против Бога.

Существует, однако, одно предварительное условие, одновременно необходимое и достаточное для того, чтобы воспринять все эти уроки прошлого: сама Церковь должна вернуться к «единому на потребу», к эсхатологической природе своей веры и жизни. Невозможна никакая богословская рефлексия о мире, если мы не откроем для себя вновь ту реальность, которая только и созидает Церковь, являясь источником ее веры, жизни и поэтому ее богословия: реальность Царства Божия. Церковь находится *in statu viae* – в пути, в паломничестве через «мир сей», в который она послана для

его спасения. Но смысл этого паломничества, являющийся смыслом бытия самого мира, открывается нам только тогда, когда Церковь свершается как пребывание *in statu patriae* – воистину «дома», за трапезой Христовой, в Его Царстве.

Это предварительное условие требует, конечно, радикального переосмыслиния нашего богословия, его структуры и методологии. Недостаточно просто цитировать святых Отцов, имея их в качестве «авторитетов» для подтверждения всякой богословской пропозиции, ибо основу для богословия составляют не цитаты, библейские или святоотеческие, но *опыт Церкви*. И если в конечном счете этот опыт есть опыт Царства, если вся жизнь Церкви коренится в этом уникальном опыте, значит не может быть и иного источника и критерия для богословия – в том случае, если оно действительно призвано быть выражением веры Церкви и ее осмыслинением.

Все это подтверждает, в свою очередь, одну простую, но вечную истину: Церковь более всего присутствует в мире и оказывается «полезна» ему, когда она всецело свободна от мира, свободна не только «внешне», то есть независима от его властей и структур, но прежде всего внутренне, иначе говоря, свободна от своей собственной подчиненности его ценностям и «сокровищам». Однако достичь такого освобождения нелегко, ибо оно предполагает, что наши сердца имеют лишь одно истинное сокровище – опыт Царства Божия, который только и может восстановить для нас полноту Церкви и полноту мира и делает нас способными в действительности исполнить наше призвание.

*Перевод с английского А. КЫРЛЕЖЕВА
(с незначительными сокращениями)*

СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ

Статья вторая

РАННЕХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ХРИСТИАНСКОГО СОЗНАНИЯ

В предыдущей статье мы сделали попытку показать динамику религиозного сознания в рамках современного Российского Православия. В результате проведенного анализа выявилось несколько групп верующих, представители которых в качестве своего основного ориентира избирают различные аспекты церковной реальности. На этом основании мы предложили различать несколько типов церковного сознания, соответствующих различным группам приверженцев Православия, условно обозначенных нами как: «ритуалисты», «политики», «аскеты», «требоисправители», «эстеты» и «либералы». Чтобы обнаружить истоки описанного выше «многообразия» в православном сознании, необходимо обратиться к истории восточно-христианской традиции, составной частью которой и яв-

**Александр
КЫРЛЕЖЕВ**

— родился в 1957 году в Москве. Закончил библиотечный факультет Московского государственного института культуры, затем Московскую духовную семинарию. Четыре года работал в «Журнале московской патриархии». В настоящее время сотрудник Центра по изучению религий.

**Константин
ТРОИЦКИЙ**

— родился в 1960 году в Душанбе. Закончил факультет психологии Московского государственного университета. Служил рядовым в стройбате, после армии закончил Московскую духовную семинарию. В 1992 году закончил Московскую духовную академию. В настоящее время сотрудник Центра по изучению религий.

ляется Российское Православие, тем более, что представители всех выделенных нами групп верующих, как правило, декларируют свою преемственность по отношению к целостному, кафолическому церковному Преданию, восходящему к апостольской эпохе, но пришедшему на Русь спустя девять веков сложной и подчас весьма драматичной истории Церкви.

1

Евангелие возвещает спасение мира и человека «через Иисуса Христа», отдавшего Себя в жертву «за жизнь мира» и открывшего в мире – во вселенной и в истории – эпоху Царства Бога, актуализацией которого призвана стать Церковь. Церковь изначально является собой как событие созиания и объединения «заблудших чад» вокруг Христа, так что приобщение человека к Церкви и сама жизнь Церкви обозначается словом «общение» (киония). Церковь – начало объединяющее, общность, которая, однако, не предшествует личной человеческой свободе и действию, но является результатом отклика отдельных лиц и следования каждого из них призыву Христа, обращенному не к толпе, группе, классу, народности и т. п., но именно к отдельному человеку, которого Бог лично призывает в Свое Царство еще в этом веке. Церковь есть собрание позванных (эк-клисия). Она возникает в определенном месте и в определенное время, когда свободно и непринужденно сходятся вместе многие отдельные личности, уверовавшие во Христа как Сына Божия и Бога, чтобы стать через церковное общение – единым Телом Христовым.

Таким образом в изначальном церковном самосознании соприсутствуют два существенных, принципиальных экзистенциальных состояния человека: одиночество и общение. Человек – существо «отдельное», отделенное от мира и от других людей, и, одновременно, существо «связанное», включенное в мир как целое и в некоторую общность – как часть или как соучастник.

Однако равновесие «отъединенности» и «соединенности» есть не данность, но заданность. Проблема личности и общества, одиночества и общения оставалась одним из «проклятых вопросов» на протяжении всей человеческой истории и никогда не получала в ней окончательного разрешения (ибо смена поколений означает появление абсолютно «новых» субъектов свободы, которые сталкиваются с этой проблемой впервые). Эта ситуация порождает и в Церкви две тенденции: попытки «снять» проблему через корпоративность или же индивидуализм, через тезис или антитезис, отстраняясь от главной, хотя и очень трудной задачи достижения высшего синтеза.

Индивидуализм в собственном смысле – явление позднее. Дохристианский мир не знал «суверенной личности», какой ее знает Новое время. Корпоративность была естественной нормой общественной жизни. Три основных «измерения» корпоративности, хорошо различимые в Новое время: государство, нация и религиозная общность, – были неразделимы в древнюю эпоху. Их разделение стало возможным именно в христианскую эпоху, когда внутри одного государства возникли различные конфессии, когда в военном противостоянии друг другу оказались разные христианские народы и, наконец, когда религия стала частным делом, а Церковь – обществом частных людей. В древности государство было и могло быть только теократическим, то есть религиозно санкционированным. Единство нации определялось национальной религией («национальные боги»). Религия была неотделима ни от жизни социума, ни от местного бытового уклада, ни от родовой жизни. Общность была безусловно первична по отношению к индивидуальной жизни, но общность была одновременно и родовой, и религиозной (культовой), и социальной. Несмотря на то, что поздняя Римская империя был многонациональной, поликультурной и политеистической, это было теократическое государство. Политеизм и религиозный синкретизм не исключали государственной религии, поскольку главной задачей последней являлось освящение самого государства («национальные боги» покоренных Римом народов естественным образом включались в римский пантеон для «укрепления» государства).

Христианская Церковь появляется в этой ситуации как общность совсем иного порядка – как свободное сообщество, которое не предшествует личности, но последствует ей. В Церкви два «субъективных» фокуса: самосознание отдельной личности («Я») и самосознание церковного собрания («Мы»). Осознавая себя в конечном счете через органические образы «тела» и его «членов», Церковь тем не менее не является натуральной общностью. Она – «народ, собранный Богом от всех народов» (1 Послание Петра). Она не является также и социально организованной сектой-колонией. Церковь – литургическая община, существующая вокруг своеобразного культа, сходного для стороннего наблюдателя с языческими мистериями. Но несмотря на свой культовый характер, христианская Церковь переживается ее членами именно как общность, как совместная жизнь, которая, тем не менее, не означает разрыва с жизнью общества в целом.

Иначе говоря, первые христиане в Римской империи имели особый социальный опыт: помимо «естественного», заданного общественного пространства для них существовал и иной социум – Церковь; помимо обычного царства («царства кесаря») – Царство Бога, народом которого они себя осознавали. Это была библейская традиция: истинный Царь Израиля есть Сам Господь Сил, Яхве,

Бог единий, сотворивший небо и землю (как известно, первый царь в Израиле был поставлен не по воле Бога, но по настоянию народа, который захотел «царство как у других народов»). Христиане жили в двух социальных планах: в государстве и церковной общине, несводимой к категориям государственности и народности, связанным в то время с освящающей религией. Поэтому древняя Литургия Апостольских Постановлений (IV век) и называют христиан «космополитами», то есть «гражданами мира». Христианские мученики, которые отказывались выражать свою лояльность государству и императору посредством участия в общегосударственных религиозных церемониях, отстаивали тем самым свое право, будучи подданными государства, жить не только в государстве – то есть свободу частной жизни гражданина, которая исключает право кого бы то ни было на полное владение личностью.

Но, с другой стороны, это означает, что, заявляя себя лояльными гражданами во всем (кроме признания религиозных обязанностей перед государством) и выражая готовность служить общественной пользе, христиане отстаивали ценность гражданской жизни самой по себе безотносительно к ее «метафизическому» оправданию. Иными словами, они утверждали самоценность всякой политической, социальной и профессиональной деятельности, которая строится по внутренне присущим ей законам и должна быть непосредственным предметом заботы со стороны государства, организующего социальное благоденствие. При этом не стоит забывать, что уже в раннехристианскую эпоху к Церкви принадлежали представители практически всех слоев населения: от сенаторов до рабов.

Эта позиция христиан, засвидетельствованная мученичеством, означала по существу десакрализацию государства, то есть его «секуляризацию» по отношению к дохристианской теократии. Христиане настаивали на ценности и государства – но не насилиующего человека, – и гражданской активности последнего, направленной на общее благо. Церковный же социум был заявлен со стороны христиан как религиозная общность, привлекающая к себе частных лиц, обладающих неотчуждаемой свободой частного (личного) самоопределения на всех уровнях: от метафизической ориентации до бытового уклада. Состав этой общности был определен еще апостолом Павлом: в Церкви нет ни эллина, ни иудея, ни варвара, ни скифа, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, но во всем – Христос, истинный Помазанник и Царь. Все «естественные» различия – религиозные, национальные, местные, социальные, природные – на уровне церковного общения «во Христе» оказываются превзойденными, так что они уже не разделяют «разных» членов Церкви, не имея силы в Царстве Бога. Это, конечно, не означает отрицания таких различий вообще – просто они перестают полностью определять человеческую жизнь. Внутри

Церкви реальные различия – это разные церковные служения и дары, местные особенности (языковые, литургические, бытовые и т. п.), а также социальное неравенство, преодолеваемое Церковью путем перераспределения богатства состоятельных членов общины. В конечном счете вопрос сводится к нахождению искомого равновесия между личным своеобразием, определяемым не столько естественными задатками, сколько личной свободой, и межличностным духовным единством – общением «во Христе».

Необходимо подчеркнуть еще одну особенность первохристианства. Наряду с такими ключевыми для этой эпохи понятиями как «киония» и «эклесия», тезоименитыми Церкви, столь же существенным является понятие о «харизме». Харизма – благодатный дар Бога, который получает каждый член Церкви лично, но в Церкви для служения всем – подобно апостолам в день Пятидесятницы. Харизма-благодать – не столько стяжение, сколько залог, «аванс», которыйдается каждому, для кого вхождение в Церковь означает действительно «метанию» – всецелое изменение жизни, переосмысление своего места в мире и готовность к преображению «во Христе». Харизматическая жизнь («благодатная жизнь» у апостола Петра) означает напряженное существование, личную активность – как «внутреннюю», так и «внешнюю». Это выход за пределы только естественных возможностей человека и переживание близости Бога, которая делает реальной такую глубину взаимоотношений и такой источник творчества, которые немыслимы в рамках «социальной обыденности». Харизмы Духа суть лично и вместе с тем сообща переживаемый опыт «приобщения силам будущего века», который вытесняет на второй план «умственное постижение веры». Опыт здесь предшествует «установке сознания» и всякому «теоретизированию» на темы веры. Вхождение в Церковь переживается как радость и полнота, из которой можно без конца черпать силы для жизни и любви, действующей вопреки всем «стихиям мира сего».

В ранней Церкви благодатные творческие дары, которые обретали христиане, действовали «параллельно» установившимся внецерковным институтам государственной и общественной жизни, менталитету, обычаям, что не означало отсутствия внутреннего строя в самой церковной жизни, своего рода «духовной логики». Христиане тайно собирались в катакомбах и заседали в сенате, были рабами и отпускали рабов на волю, служили в армии и во время эпидемий подбирали брошенных всеми больных и умерших от чумы. Их жизнь определялась не «моральным кодексом» и «артикулами веры», но творческим духом и «внутренней логикой» их христианского опыта, который, таким образом, преображал любое частное дело и общественное служение человека. Каждый христианин обретал в свете церковного опыта новое понимание государства и гражданской ответственности, блага общества и своей

профессиональной деятельности, социальных различий и путей их преодоления. Так личный опыт становился опытом всей Церкви, а опыт Церкви в целом – достоянием каждого ее члена. Путь Церкви стал путем преодоления «естественной» альтернативы: корпоративность или индивидуализм, – через «общение во Христе».

2

С принятием христианства империей в качестве официальной, государственной религии ситуация существенно меняется. Происходит встреча языческого государства (другого, не-языческого, государства просто не существовало) и Церкви Христа. Расколотая, клонящаяся к закату империя расстается со своим религиозным преданием (но – только с ним), чтобы соединиться с многочисленными к тому времени христианами и их Богом. «Божественный Август» и, одновременно, верховный первосвященник Римской империи Константин Великий встает на сторону Церкви и включается в церковную жизнь как «епископ ее внешних дел», не будучи при этом христианином, то есть не принял крещения и не приобщившись к церковной харизме. Он приближает к себе епископов, сам собирает (спустя 13 лет после официального «разрешения» христианам существовать в государстве) первый Вселенский Собор. Церковный Собор принял догматическое определение, осудил еретика Ария, а император – со своей стороны – отправил еретика и его приверженцев в изгнание. Так началась новая эпоха.

Христианство заняло в государстве место до-христианской религии. Государство, прежде требовавшее от подданных религиозного подчинения, теперь всей силой своих «внешних» по отношению к Церкви «дел» встает на защиту «правильной веры» (последняя не всегда, как мы знаем, соответствовала тому, как ее понимала сама Церковь). Возникает, по выражению прот. А. Штремана, «догматический союз» Церкви и государства. Все подданные империи постепенно становятся христианами: два социума начинают совмещаться и, в конце концов, совершенно совпадают. Государственное устройство и церковный строй накладываются друг на друга, так что вскоре государство делегирует Церкви часть своих функций (акты гражданского состояния, разводы, суды и т. п.). Епископ столицы империи со временем становится первенствующим среди епископов – «вселенским патриархом». Государственные законы и церковные каноны объединяются в единый правовой кодекс. Возникает особое священное действие – помазание христианского царя на царство. Взаимные отношения Церкви и государства (которые в принципе не могут быть отождествляемы), осмысливаются в терминах «симфонии властей» – согласия, подо-

бного согласию души и тела. На вершине церковно-государственной пирамиды в Восточной Римской империи оказываются царь-помазанник (греч. «христос» означает «помазанник») и патриарх-первосвященник.

Обратим внимание на некоторые процессы, сопутствовавшие соединению империи и Церкви.

В первые три века своей истории христиане для империи были невеждами, приверженцами суеверий, государственными преступниками, святотатцами и бунтарями. Но число их умножалось несмотря на жестокие гонения (массы христиан, так называемые «падшие», то есть не выдержавшие гонений, после прекращения гонений толпами возвращались в Церковь). Быть христианином означало ходить по лезвию ножа, но роль христиан возрастила. В них была духовная сила, и поэтому будущее было за ними.

Союз с Церковью означал для империи не что иное, как включение церковной «энергии» в государственное строительство. Государство выразило готовность принять веру Церкви как свою и служить ее целям – преображению мира и человека силой благодати Божией. Сделать это можно было только одним способом: дать возможность Церкви овладевать душами людей так, чтобы они свободно приобщались ее силам – приобщались Христу, пребывающему в Церкви. Однако это значило бы допустить автономный духовный авторитет вне и помимо авторитета государства; дать возможность каждому как свободной личности, связанной с государством лишь через гражданскую лояльность и профессиональную деятельность на пользу общества, определять свою жизнь в согласии с харизмой Бога и «внутренней логикой» Церкви. Ясно, что никакое государство, тем более теократическое и автократическое, не могло встать на этот путь.

Но был и другой путь: соединить «силу Божию» с силой кесаря. Для Церкви это означало, что церковная жизнь неизбежно начала принимать формы государственного устройства. Все, что в Церкви возникало из опыта благодати и ответного творческого усилия личностей, свободно, без принуждения вошедших в жизнь Церкви, теперь было направлено в русло государственного строительства. Происходил постепенный процесс институализации, формализации и унификации церковной жизни, регламентации христианского поведения, сложения бытового уклада «среднего христианина», которому теперь не только не угрожают смертью, но которого все вокруг обязывает быть «чадом Церкви»*.

В этот период складывается также новый тип духовенства – по

* Для того, чтобы представить, каков был уровень «общеобязательной» церковной жизни в эту эпоху, достаточно познакомиться с обличительными гомилиями (речами) Иоанна Златоуста и церковными канонами, определявшими церковную дисциплину.)

существу особый род чиновников, которые должны обеспечивать действенность церковного института в «христианском государстве». Раннехристианские наименования особых церковных служений «пресвитеров» и «епископов» постепенно вытесняются греческими наименованиями «иереев» (священников) и «архиереев» (первосвященников). Духовенство становится особым сословием в государстве, задача которого – удовлетворять «религиозные потребности» христианского населения, освящать жизнь «среднего христианина», способствовать «идеологической монолитности» государства и общества.

Так Церковь оказывается вписана в тот трудно расчленяемый треугольник, который характерен для натуральной корпоративности: государство – народ – религия. Естественный социум и социум «сверхъестественный» – церковный – фактически совпадают. В результате возникает не языческое искажение христианства, как думают некоторые, но то «христианское общество», которое несет в себе характерные черты «естественной религиозности», соприродной «ветхому Адаму» – везде и всегда. Происходит это потому, что Церковь Христа и Духа, несмотря на всю свою «неотмирность», всегда живет в реальном человеческом мире, в истории. Мир в целом всегда остается непреображенными, потому что каждый человек свободен, а преображение человека и всего мира возможно только через свободное, глубоко личное усилие, симфоничное благодатному дару Бога, который дарует преображающие силы всей Церкви. Путь государственной, а потому неизбежно внешней, насилиственной «христианизации» жизни приводит к вытеснению личностного харизматического опыта из общецерковной практики и освобождает место для «естественной религиозности» массового сознания, которая типологически чужда раннехристианскому опыту.

С другой стороны, первые века византийской истории были эпохой творческого расцвета – временем создания христианской культуры. В эту эпоху были созданы образцы богословского, литургического, литературного, гомилетического и художественного творчества, ставшие «классикой» восточно-христианской традиции. В полном смысле христианская культура стала возможна лишь с концом гонений, когда открылось свободное общественное пространство для «исторического воплощения» христианства – его созидательной внутренней энергии, в которой так нуждался клонящийся к закату античный мир. В частности, догматическое творчество, оформленное в определениях вселенских соборов, было живым, диалектическим процессом, в котором прояснялось и выкристаллизовывалось самосознание Церкви, складывался теоретический богословский язык, на котором стало возможно говорить о вере, духовной жизни, человеке и мире, увиденными из Церкви, из ее соборного опыта. В Церкви не было никаких законов, никаких «процедур» для принятия решений: определения соборов принима-

лись общим согласием и распространялись на всю Церковь.

Эпоха творческого созидания христианской культуры свидетельствует о силе и действенности личного начала в жизни Церкви, которое только и может быть проводником и соучастником преобразующей и творящей силы Бога. Однако активность личного начала в эту эпоху связана не только и не столько с прямым преемством раннехристианскому опыту, сколько с новым мощным движением внутри «огосударствленной» Церкви — с возникновением и ростом монашества.

3

Первоначально, в эпоху гонений, пребывание в Церкви означало духовную напряженность. Среди христиан большинство составляли неофиты — люди, принявшие крещение во взрослом состоянии. Даже дети христиан не всегда были крещены в младенчестве (например, св. Григорий Богослов, будучи сыном епископа, принял крещение только в тридцатилетнем возрасте). Принадлежность к Церкви определялась личным решением, которое требовало затем постоянства в следовании выбранному жизненному пути. В Церкви не было места индивидуализму: христианская жизнь каждого была невозможна без события Церкви как «общения во Христе». Однако в процессе институализации и «огосударствления» Церкви отдельная личность оказывается в состоянии «принадлежности» к величественной реальности, поскольку корпоративность в Церкви усиливается, Церковь обретает жесткую внешнюю структуру и становится частью, составляющей социума, а точнее — государственной структуры. Небольшие церковные общинны, в которых было возможно личное общение членов, все больше уступают место многочисленным собраниям, так что отдельный христианин «растворяется» в толпе христиан. На первый план выступает ритуал — священнодействия, совершаемые духовными лицами, клириками. Массы вчерашних язычников входят в Церковь и становятся христианами лишь по имени. Духовная напряженность общей христианской жизни резко снижается, и, естественно, как реакция, возникает индивидуалистический протест. В этот период, на переломе церковной истории, и возникает монашество.

Монашество — сложное, неоднозначное явление, однако очевидно, что его появление знаменует возникновение нового типа христианского сознания — религиозного индивидуализма, принимающего в обществе своеобразные социальные формы.

В истории Церкви монашеству суждено было занять чрезвычайно важное место. Первоначально оно находится на другом полюсе по отношению к почти теряющей личностные черты «мас-

совой религиозности». Как духовный подвиг монашеская жизнь противопоставляется религиозной теплохладности «среднего» христианина, погруженного в быт, бесполезную погоню за пользой и «суetu» обыденной жизни. Со временем монашеская святость стала для Церкви, вышедшей из эпохи гонений — эпохи мучеников, практически каноном святости, а монах — «максимальным христианином». Сегодня подавляющее большинство православных святых — монахи-подвижники или епископы-аскеты.

Монашеская установка изначально двойственна: с одной стороны, она является путем реализации евангельского идеала — следования за Христом, исполнения заповеди о «совершенстве»; с другой стороны, это анахореза — уход из общества и фактически из церковной общине, членами которой являются представители различных социальных групп. С помощью Евангелия невозможно обосновать подобный уход, поскольку Христос посылает своих учеников именно в общество, к людям, а не заповедует им оставить мир и скрыться в пустыне. Последнее, однако, понятно, если принять во внимание другую заповедь — о покаянии как пути преодоления личной греховности и несовершенства, то есть действительных препятствий для евангельского свидетельства в мире. Вместе с тем, само покаяние в монашестве начинает пониматься иначе, чем в ранней Церкви. Покаяние как обращение, за которым следует вступление в жизнь церковной общине (через крещение) и исполнение в ней своего личного призыва (что предполагает постоянную борьбу христианина с греховными страстями), в «аскетическом» сознании превращается в покаяние-подвиг, в «духовную брань», в самодостаточное «аскетическое делание». Вступление на этот путь воспринимается как «второе обращение» (монашеский постриг со временем назовут «вторым крещением»).

Вместе с тем ранняя монашеская анахореза свидетельствует право каждого на «личную духовную жизнь», на выбор наиболее удобного пути для достижения святости. Монашеская аскеза есть ограничение и дисциплина (для ума, души и тела), отказ от любых служений — как социальных, так и церковных, — кроме молитвы. Но свое право на «частную жизнь» монах не «зашщает» и не «требует», он осуществляет его, несмотря ни на что. В этом он уподобляется мученику, которого никто не может отвратить от добровольной смерти («отнять смерть»). Монашеские общежития, возникающие позднее, являются формой все того же уединения (монах — значит «одинокий»), внутреннего духовного одиночества. Быть монахом — значит осуществить право на одиночество в обществе и в Церкви (ставшей так похожей на «светское» общество), подчеркнуть ценность внутренней жизни личности. Именно поэтому это двойной уход: одно из правил раннего монашества: «Бегай женщин и епископов». Монах уходит от дел мира и дел церкви, от профессии и семьи (в обществе) и от священнического

сана или лаического служения (то есть служения мирян – в Церкви). По известному определению, монах – это «Бог да душа». В пустынной аскетической жизни раскрывается особый опыт напряженной внутренней борьбы, самоиспытания и молитвы.

Благодаря этому опыту, ставшему возможным только в неразвlekаемом самособирании и духовном трезвении, монашество в конце концов возвращается из пустыни в «христианское общество», утерявшее духовный опыт раннехристианских общин. Этот возврат обозначает новый этап в истории самого монашества и его новую роль в теократическом государстве.

Безусловно, монашество было реакцией на бюрократизацию Церкви, которая стала присваивать себе авторитет «внешней» силы благодаря своей неразрывной связи с государством. Монахи восстали против первых плодов симбиоза Церкви и государства, церковного социума с социумом секулярным. Это было восстание на уровне человека, его внутренней жизни, которая в Церкви должна быть преображенна и стать жизнью благодатной, харизматической. Преображающая человека сила Духа – единственный подлинный «авторитет» в Церкви, и за сохранение этого «авторитета» боролись монахи. Однако они не присваивали себе право судить Церковь, не выступали против иерархии; они по возможности продолжали участвовать в Евхаристии, но это уже была «выездная служба» (на раннем этапе монашеского движения в пустынные монастыри приезжали пресвитеры специально для того, чтобы совершать Евхаристию и причащать монахов; никто из великих аскетов – основателей монашества не имел священного сана). Впоследствии однако, – с возвращением монахов в город и мир – ситуация меняется. Монахи становятся епископами, учителями и духовными наставниками христиан. Монахов-подвижников канонизируют, литургически прославляют их святость. Монашеское богослужение, сложившееся в пустынных скитах и монастырях, вытесняет существовавшее до этого приходское богослужение (сведения о котором столь скучны, что не позволяют его реконструировать). Множество монастырей возникает в городах империи (в середине VI века только в Константинополе было 76 монастырей).

«Церковь» и «общество» фактически совпадают. Государство (в лице императора) созывает церковные соборы, заботится о торжестве «православного» вероучения и воспринимает это учение как свое идеологическое обоснование. То, что относится к «общей» и «внешней» жизни, является прерогативой церковно-государственной симфонии; то, что касается жизни «частной» и «внутренней» – оказывается в поле влияния монашеско-аскетической традиции, указывающей человеку на образцы «максимальной» христианской жизни. Это не значит, что все становятся монахами, но все воспринимают монашеский путь как парадигму индивидуального духовного пути.

Местная Церковь – литургическое собрание христиан определенной территории – видится теперь иначе: это не столько люди, собирающиеся там, где удобно, и пребывающие в личном общении, сколько храм, собирающий на богослужение христиан, живущих в округе (приходе). Кроме этого, помимо прихода, существует теперь и другая богослужебная община – община монахов, постоянно живущих вместе и совершающих богослужение ежедневно. Первоначальная сугубо келейная («частная») монашеская молитва приобрела теперь и общинное измерение. Монастыри, как очаги духовного напряжения, привлекают к себе христиан, которые ищут в Церкви нечто большее, чем религиозный ритуал и средства освящения событий натуральной жизни. Фактически появляются два типа христианина: монах и не-монах. Причем для благочестивых людей становится характерным благоговейное отношение к монашеству, которому отдается предпочтение перед клириками-«требоисправителями».

Исторический образ восточного монашества двоится: здесь святые, богословы, отшельники, которые оказываются гонимы за вероучительный и духовный максимализм, за «духовное реформаторство» – со стороны государства и церковной институции; и здесь же бродяги, невежды и мироотрицатели, выступающие как агрессивная толпа, или же карьеристы, угодники власти, стремящиеся к высокому положению в обществе и в Церкви.

Монашеская установка двусмысленна: отречение от мира и – учительство в мире, нередко даже иерархический карьеризм; уход ради покаяния и молитвенного подвига и – участие, впоследствии, в устройении церковно-государственной симфонии; христианский максимализм и – соглашательство с часто репрессивной, внешне принудительной властью; духовный реформизм и – политический консерватизм.

Подлинные монахи не ставили перед собой задачу учить христиан, чаще всего они бежали от почитателей, вынуждающих их быть наставниками в праведности. Они становились духовными отцами христиан только по внутреннему указанию свыше. Но общество и Церковь, утратившая первохристианский дух, требовали учительства от тех, кто представлял собой «вышнюю степень» христианской жизни. Так монашеское видение Церкви как школы аскезы прежде всего, как индивидуального духовного подвига (согласно монашеской методике) начинает господствовать в церковном сознании.

В Церкви возникает монашеская идеология. Святость, достигаемая на путях монашеской аскезы только через свободное усилие и глубокое самоиспытание, в этой идеологии предстает как результат методического исполнения аскетических правил и предписаний. А все, от чего монах отрекается как от препятствующего духовной жизни, двусмысленным образом оказывается «лишним» и для ми-

рян, не находит своего церковного осмысления и оправдания – не воцерковляется, оставаясь «неизбежным злом» жизни, несовершенством непроздоленного естества (находящегося в состоянии греха)

Духовная свобода, отказ от компромиссов со «стихиями мира», превосхождение «естественного существования» через приобщение благодати – все это оказывается отнесенными к сфере индивидуального подвига, к опыту монашеского делания. Цари и вельможи принимают на смертном одре монашеский постриг, желая как бы восполнить свою христианскую неполноценность и «снять» с себя все мирские грехи (монашеский постриг – «второе крещение» – снимает все прошлые грехи). Подлинное – ощущимое и преобразующее – приобщение к Богу происходит именно в масштабе отдельной души, во «внутреннем мире». Церковь же в целом есть или «мистическое тело» (то есть неявная духовная связь всех христиан), или институция, культ, религиозный департамент государства. Церковь через своих священников удовлетворяет религиозные «требы» верующих, формирует социальные нравы и религиозно освященный быт. Церковь благословляет «христолюбивое воинство» на брань с врагом, производит суд в пределах своей компетенции, охраняет «православие» и противостоит ереси. Церковь действует вместе с государством в общем социальном пространстве, которое упорядочивается согласно имманентным законам «этого мира». Церковь санкционирует власть государства – «помазует великим миром и поставляет царем и самодержцем ромеев, то есть всех христиан», византийского императора. Потому что «невозможно христианам иметь Церковь, но не иметь царя. Ибо Царство и Церковь находятся в тесном союзе и невозможно отделить их друг от друга». Так писал Константинопольский патриарх Антоний великому князю Московскому Василию Дмитриевичу всего за несколько десятилетий до окончательного падения Византийской империи в 1453 году.

4

Особой темой является феномен «христианской культуры», или творчества, в эпоху, когда христианство становится определяющим для жизни общества. Легализация Церкви, совершенная в 313 году императорской властью, открыла перед Церковью новые возможности не только для проповеди, но и для активного участия во всех областях социальной жизни. С другой стороны, и Церковь оказалась «открытой» для мира: ее членами становились представители всех слоев и состояний, которые приносили с собой свои проблемы и вопрошания. Суть последних заключалась фактически в одном: в вопросе о том, как осуществить каждому свое христианство,

оставаясь, по слову апостола Павла, в том звании, в котором призван (то есть вступил в Церковь). Исповедание Церкви теперь не могло ограничиться мученичеством и исповедничеством; в новых условиях исповедание Церковью своей веры требовало нового «языка», который охватил бы все аспекты целостного человеческого бытия.

Первые шаги на пути создания такого «языка» были сделаны христианскими писателями ранней эпохи (2 - 3 века); позднее (4 - 7 века) происходит всестороннее раскрытие богословских и философских аспектов христианского мировосприятия, которое стало основой для реализации церковного опыта в сферах политики, социальной практики, образования, искусства. Это время стало эпохой рождения новой – христианской – культуры, создававшейся творческим усилием членов Церкви. Церковь не только в себе несла опыт «новой жизни», но и стремилась распространить его на весь мир, преображая его действием «благодати». В условиях открытой мирной встречи с позднеантичной цивилизацией Церковь вступила в диалог со старой культурой, признавая ее несомненные ценности, но утверждая их новую иерархию в свете христианской Истины. Самым плодотворным в этом отношении был 4 век – когда христианство еще не стало официальной религией империи (что было сделано в 380 году императором Феодосием). Но период свободного диалога между церковной и внецерковной творческой мыслью продолжался вплоть до 6 века. Крупнейшие христианские богословы – отцы Церкви – получили классическое античное образование и были современниками последних оригинальных античных мыслителей. Главными образовательными центрами являлись Афинская платоновская Академия и Константинопольский университет – светский по характеру, основанный в 425 году христианским императором Феодосием. Кроме того, существовали и богословско-философские школы в Александрии, Антиохии, Кесарии Палестинской, Эфесе, Эдессе.

Однако уже очень скоро появляется тенденция к ограничению творческой свободы в философии и образовании, формальным поводом для которого становятся ереси, источник которых – «эллинизм». В 489 году императорским указом закрыта Эдесская богословская школа (как рассадник несторианства), а в 529 году император Юстиниан запретил преподавать еретикам, евреям и язычникам и закрыл Афинскую школу (ее профессора эмигрировали в Иран). За этим следуют две волны репрессий против «ученых» и «эллинов» в Константинополе (в 546 и 562 годах). Налицо принцип идеологического насилия, которое осуществляется властью, взявшая на себя функцию «защиты Истины».

На что же опирается власть, преследуя граждан за их религиозные убеждения?

Вернемся к первому Вселенскому Собору. Церковь осудила и

извергла из своей средыalexандрийского пресвитера Ария, император Константин отправил его в ссылку. Кажется, логика ясна, однако проблема заключается в том, что

- а) Арий не является государственным преступником,
- б) император не является членом Церкви (не крещен),
- в) христианство не является государственной религией (император – верховный языческий жрец),
- г) Церковь по определению не может иметь никаких средств воздействия на несогласных с церковным учением кроме отлучения.

Однако, Церковь не отвергла насильтвенной меры императора по отношению к ее бывшему члену и тем дала повод к подобным действиям по отношению ко всем несогласным с императорским пониманием «христианской Истины» в будущем, когда и император и империя стали христианскими. Византийская история изобилует примерами «законодательной инициативы» императоров в области догматов и канонов. Сама Церковь далеко не всегда соглашалась с этим вторжением светской власти на ее собственную территорию (прежде всего тогда, когда императоры выступали инициаторами ересей или поддерживали еретиков). Но она и не отвергла самого принципа «использования власти» для защиты тех или иных богословских и канонических решений. Церковь таким образом не отстаивала принцип свободы – мировоззренческой и вероисповедной, – благодаря которому она сама получила в свое время возможность открытого свидетельства миру о Христе. Обретя свободу для себя, она не возражала, когда свободы лишали других – язычников и нехристиан. В результате «христианское общество» (предмет церковного попечения) очищалось от чуждых, нехристианских влияний, и Церковь могла беспрепятственно бросать семена Истины «в массы». Государство при этом воспринималось со стороны Церкви как ее помощник и защитник. Так общество, которое по замыслу должно было стать земным Царством Истины, основанным на «свободе во Христе» («свободе в Истине»), оказалось построенным на отказе от признания свободы выбора, как необходимого условия для обретения Истины. Творческое самоопределение человека в этом обществе было заключено в рамки церковного вероучения, попытки выхода за которые грозили административным или уголовным преследованием.

Вместе с тем период 4 - 7 веков – это время действительного созидания христианской культуры, живого творчества. Богословские проблемы, инспирированные попытками представителей различных Церквей и богословских направлений осмысливать новозаветное Откровение и удовлетворить потребность в целостном христианском мировоззрении, получили творческое разрешение в результате богословских споров и, затем, в деяниях церковных соборов. В основу догматических определений после соборного обсуждения

почти всегда полагались результаты творческой деятельности отдельных церковных мыслителей, что фактически подтверждало значимость личной творческой активности в области богословия. На это же время приходится расцвет литургического творчества: создаются новые богослужебные формы, образцы церковной поэзии, складываются местные богослужебные традиции. Новые импульсы для развития получает художественное творчество: архитектура, изобразительное искусство, литература. Молодая христианская цивилизация представляла из себя совокупность многообразных и открытых к взаимному обогащению местных культур – римской, североафриканской, галльской, армянской, сирийской, египетской и др., – преображаемых единым вдохновением, источником которого была Церковь.

К 8 веку церковная культура Византии достигает определенной зрелости, во многом приобретает законченные формы. Казалось, что даны ответы на все существенные мировоззренческие вопросы. Церковно-государственные отношения и общественный уклад приобрели устойчивые формы. Выработаны основные принципы (каноны), определяющие строй церковной жизни.

Но в 8 - 9 веках Византия пережила сильный кризис, вызванный иконоборчеством, которое потрясло сами основания Церкви. Здесь не место вдаваться в подробности богословского спора, но вопрос о почитании икон фактически заставил переосмыслить накопленный в течение нескольких столетий «теоретический» и «практический» опыт Церкви – ее Предание. Понятие Предания получило свое развернутое выражение в богословии одного из главных защитников иконопочитания – преподобного Иоанна Дамаскина. Его книга «Источник знания» подвела итог всему предшествующему богословскому творчеству и явилась первым опытом систематизации человеческого знания с точки зрения христианской веры. По существу это произведение стало нормативным для последующей эпохи, поскольку в нем устанавливалась «окончательная» иерархия ценностей: в качестве методологии, инструмента познания, предлагалась логика Аристотеля, опровергались все ошибочные, то есть еретические, пути христианской мысли, а все это сколастическое построение завершалось «точным изложением православной веры» – сводом мнений авторитетных церковных мыслителей прошлого по вероучительным, философским и «естественнонаучным» вопросам.

В 843 году борьба с иконоборчеством победоносно завершается, и это событие получает наименование «Торжества Православия» (которое до сего дня литургически празднуется в Православной Церкви в первое воскресенье Великого поста). Для современников это событие ознаменовало окончательное «решение» всех проблем: ереси опровергнуты и остались в прошлом, еретики анафематованы, истина защищена и торжествует в мире. Одна существенная

проблема, однако, не могла быть разрешена раз и навсегда – как научить истине. Ее практическое разрешение в это время осложнялось общим упадком культуры и, в частности, образования, что было вызвано и иконоборческим кризисом, и длившимися второе столетие войнами Византии с арабами.

Во второй половине IX века начинается культурный подъем, который продолжается почти два столетия. У истоков этого процесса стоит Константинопольский патриарх Фотий (ок.820 - 891), личность которого, несомненно, представляет интерес. Его назначение на патриаршую кафедру – прежде всего факт церковно-государственной политики (до этого он был государственным секретарем, профессором университета, главой философско-литературного кружка). На патриаршем престоле он сменил Игнатия – представителя "монашеской партии", что вызвало определенное напряжение в Церкви. Фотий Великий – один из самых ярких людей своего времени: эрудит, составитель знаменитой «Библиотеки» – антологии античных и христианских авторов, создатель философско-литературного кружка, комментатор Платона и Аристотеля, литературный критик, богослов, политический деятель. Одной из главных своих задач он считал подъем образования и в связи с этим подчеркивал важность использования ценностей античной культуры. Его утилитарный подход к последним продолжал традицию прежних христианских мыслителей, хотя это и вызывало негативную реакцию со стороны «монашеской партии». С его именем связано возрождение интереса к античному культурному наследию, которое со временем приводит к появлению византийского гуманизма и ставит Церковь перед новыми проблемами.

К середине XI века в Византии появляются люди, для которых античная философия перестает ассоциироваться с интеллектуальным инструментарием, предложенным Аристотелем и другими античными логиками, а на первый план снова выходит Платон и его последователи. Своеобразие же культурной ситуации заключалось в том, что, с одной стороны, платонизм как учение (мировоззрение) был раз и навсегда осужден Церковью, а с другой, всякое инакомыслие, «нецерковность» не могло быть реализовано в обществе из-за возможных обвинений в ереси и преследований. Одно из решений возникающего конфликта между личным увлечением платонизмом и «обязанностью» быть христианином продемонстрировал в это время знаменитый Михаил Пселл (1018 - 1078) – монах, глава философской школы в Константинополе, блестящий стилист, советник императоров и первый придворный ритор. В его деятельности парадоксально сосуществуют христианство и платонизм, рационализм и увлечение оккультизмом («халдейской мудростью»). Соединить несоединимое Псевлу дала возможность новая позиция: не мировоззренческая или этическая, но – «эстетическая». Хвалы, которые он равнозначимо возносил святым отцам, древним филосо-

фам и восточным мудрецам, вызвали недоумение и подозрение. Рационализм и эстетизм Михаила Пселла с их релятивизацией смысла – и христианства, и античности – привел к тому, что его ученик и преемник на посту главы философской школы Иоанн Итал уже открыто встал на позиции «неопаганизма» (то есть неоязычества), за что был осужден Церковью (Михаил Пsell в связи с осуждением своего ученика вынужден был подписать исповедание веры, чтобы отвести от себя обвинения в ереси).

В следующим – XII – столетии подобных процессов было уже 25. Это свидетельствует о том, что возрожденческие тенденции в византийской культуре продолжали усиливаться. Секулярный «гуманизм», попытки культурного творчества уже вне Церкви были неизбежным следствием идеологизации церковной и общественной жизни в поздней Византии. Мысль, благочестие, богослужение, даже аскеза застывают в «законченных формах». Любое творчество, таким образом, становится подозрительным и опасным, ведет к неизбежным конфликтам между «хранителями» Традиции и теми, чья жизнь является опытом творчества.

Не стоит думать, однако, что понятие творчества должно быть отнесено только к сфере искусства, литературы, мысли, к тому, что производит «продукты культуры». Христианское Благовестие изначально утверждает, что творческое преображение человека – главная цель жизни, ее смысл. Именно это ставит во главу угла и монашеская традиция. Высшим творчеством – «художеством» – считался в ней сам аскетический подвиг, направленный на достижение богообщения, преображающего душу и тело подвижника. Сам лик святого становился иконой – образом Христа, являя реальность обожения человека. Однако в рассматриваемый период все это считалось делом прошлого, а попытка осуществить в своей жизни этот вечный христианский завет вызывала преследования, подобно тому, как это было в случае с «гуманистами-философами».

Такова история преподобного Симеона Нового Богослова (949 – 1022). Он утверждал, что богообщение и святость есть норма христианской жизни – для всех и во все времена. Вся его жизнь была свидетельством реальности духовного (мистического) опыта и проявлением творческой свободы во Христе, что и вызвало конфликт не только с церковными иерархами – идеологами «законченных форм» религиозности, – но и с монахами-законниками. Преследования, ссылки, дисциплинарные наказания сопровождали его на протяжении долгого времени, хотя впоследствии его богословские и мистические сочинения, духовные поэмы и весь его облик становятся неотъемлемой частью Традиции, свидетельствуя о последней правде творческого дерзания (которое, в конечном счете, и создает саму эту Традицию).

XIV век – время глубокого кризиса византийской цивилизации: латинское нашествие и завоевание крестоносцами Константи-

нополя (XIII век), ослабление и распад империи, постоянная угроза со стороны мусульманского мира и — как следствие — униатская политика императоров (с конца XIII века), усиление националистических и «гуманистических» тенденций в интеллектуальной среде — все это ставило вопрос о духовных основаниях «византизма». Обнаружением этого кризиса стали богословские споры середины века между паламитами, защитниками исихастской монашеской традиции, с одной стороны, и философами-гуманистами, с другой.

Византийская цивилизация стояла на двух столпах: античном интеллектуальном и общекультурном наследии («внешней мудрости») и христианской вере (мудрости Богооткровенной, «внутренней», которую достигают святые). Напряжение между ними существовало всегда и разрешалось по-разному в разные исторические периоды, но теперь оно достигло апогея. Спор между философом Варлаамом Калабрийским и исихастом Григорием Паламой был по существу столкновением двух разных подходов к проблеме отношений Бога и человека. Варлаам утверждал невозможность непосредственного Богопознания и, как следствие, настаивал на необходимости познания Бога через Писание, изучение природы и интеллектуальную интуицию, опираясь на античную философскую культуру. Палама же, не отрицая образовательного значения философии, как «внешней мудрости», утверждал возможность — для всех христиан — непосредственного Богообщения — на путях духовной жизни в Церкви, в которой существует весь человек, а не только интеллект. С этой точки зрения позиция Варлаама воспринималась как возврат к античному дохристианскому сознанию, хотя на самом деле Варлаам лишь выражал иное понимание богословия, к тому времени уже сложившееся на Западе. Не случайно противниками паламизма были и византийские томисты того времени. С другой стороны, Палама и его последователи не были обскурантами (сам Палама изучал Аристотеля под руководством гуманиста Феодора Метохита), а паламитское учение было творческим развитием богословской традиции.

Но к сожалению, жесткий характер этого спора, который опять имел репрессивные последствия для «побежденных», не позволил увидеть в столкновении двух богословских позиций еще одну проблему. Противники исихастов действительно ошибались, неправомерно распространяя возможности чисто интеллектуального подхода на сферу богословия как опытного богопознания (как его понимали исихасты в соответствии с церковной богословской традицией). Но сами исихасты, со своей стороны, защищая истину опытного богопознания, невольно способствовали утверждению отрицательного отношения к рациональному мышлению и философской культуре в целом, — даже в их «пропедевтическом» значении (хотя богословие самого Паламы является образец утонченного фи-

лософско-богословского рассуждения). Вместе с тем существовал и третий подход к вопросу о соотношении «внешней мудрости» (философии) и опытного богоознания (основы богословия). Например, Нил Кавасила, предшественник Григория Паламы на Солунской епископской кафедре, считал, что возможно соединение паламизма и томизма (при условии отказа от главной латинской «ереси» – Филиокве), то есть утверждал правомерность синтеза богословского выражения духовной практики и логически последовательной разработки системы философско-богословского знания. К сожалению ни практика соборного разрешения богословских проблем, ни историческая ситуация не способствовали взвешенному обсуждению и даже обнаружению важнейшего для христианского сознания вопроса о месте, статусе творческой работы мысли, индивидуального духовного поиска в жизни Церкви и христианского общества. С этой точки зрения проблема Востока и Запада, богословия и философии, традиции и новаторства, универсального и локального – лишь аспекты более широкой проблемы соотношения веры и культуры. Как создать в обществе условия для свободного самоопределения человека по отношению к Истине и обеспечить – внутри Церкви – возможность плодотворной и полноценной реализации его выбора в пользу Истины – вот что должно было бы стать предметом размышлений в последнее столетие византийской истории, в век кризиса, но и расцвета богословия и философии, «гуманизма» и исихазма, искусства и подвижничества..

Что же происходит в последние десятилетия византийской истории после победы исихастов? «Исихастская партия» начинает преследовать своих «идеологических» противников: их ссылают в монастыри, сжигают их сочинения, физически расправляются с ними. Интересно, что только в этом – XIV – веке в кодекс церковных канонов (в т. н. Алфавитную Синтагму Матфея Власта) был включен императорский закон, гласящий: «Удостоенные святого крещения, но снова ставшие язычниками, подлежат смертной казни». А «богословское» обоснование фактически инквизиционной практики преследования еретиков в Православной Церкви, основывая ее на цитированном выше законе, дал Геннадий Схоларий – паламит, первый Константинопольский патриарх после завоевания турками византийской столицы (1454 - 1456). В этой ситуации византийские гуманисты спасаются от преследований, уезжая в провинцию или на Запад, а также переходя на «нелегальное положение». Такая реакция станет понятной, если вспомнить судьбу Никифора Григоры, которого после соборного осуждения заключили в монастырь, довели непрекращавшейся травлей до скорой смерти, а после надругались над его останками, провлачив его тело по улицам столицы.

В начале XV века центр интеллектуальной жизни переместил-

ся в Миству (Пелопоннес), где начинал свою деятельность и самый яркий представитель поздневизантийского гуманизма Георгий Гемист Плифон — гуманист и язычник, человек, двойственность поведения которого доходит до абсурда. Создатель антихристианской богословской системы (на основе платонизма), глава целого эзотерического «ордена», он в то же время — выдающийся знаток православного учения, консультант патриарха в вопросах полемики с латинянами. На Ферраро-Флорентийском соборе (последняя попытка греков спастись от турецкого завоевания, заключив унию с Римской Церковью) он активно участвует в защите православной позиции, но одновременно тайно встречается с итальянскими гуманистами и предсказывает скорое падение христианства и мусульманства, а после своей смерти — торжество «подлинной истины», то есть своего учения. Парадоксальная ситуация: Плифон изображает из себя православного христианина — для того, чтобы обеспечить себе возможность свободного существования и распространения своих истинных взглядов, — а Церковь избирает его в число шести ораторов на соборе с латинянами. Таково следствие полного торжества «единственно верного учения» в христианском обществе: отсутствие свободного пространства для интеллектуального творчества, для инакомыслия в принципе, приводит к тому, что «гуманисты» вынуждены или лицемерить, или эмигрировать, а Церковь вместо того, чтобы отстаивать право человека на свободное самоопределение (свободу совести) и в открытом диалоге давать ответ на новые искания из глубины своего харизматического опыта, признает нормой уголовное преследование и даже смертную казнь еретиков.

В середине XV века история Византии завершилась. Все нерешиенные проблемы остались в наследство будущему. Однако, с концом Византии в Восточном христианстве прервалась естественная преемственность по отношению как к античной культуре, так и к раннехристианскому церковному опыту. Православие в славянских странах и на территории Османской империи — это уже другая страница истории христианского Востока.

Православие слишком часто отождествляют с «византийским синтезом», то есть с «православным космосом», в котором жили благочестивые «ромеи». Православная «вселенскость» слишком часто понимается через символ «Рима», хотя этот символ означает прежде всего власть силы (которая и является источником «rah Romana»). Православие слишком часто видят прежде всего через призму «души», оставшейся один на один с Богом в «пустыне сердца». И почти всегда символом Православия является икона (в которой пытаются найти скрытую логику — цвета, рисунка, техники, художественных средств и т. п.), — икона, образ, а не слово (логос), не богословская логика, рождающаяся из опыта благодатного преображения «словесного» существа человека, логика, которая на самом деле связывает воедино и возводит к одному источнику —

Богу – все аспекты и проявления христианской жизни.

В результате, процеженное через современное секулярное сознание, это Православие оставляет в «осадке»: автократию, «памятники средневековой культуры» и эзотерическую практику. И еще: красивый, психологически оправданный религиозный ритуал, за которым стоит магическая религиозная санкция натуральной жизни. И еще одно – опасное или, наоборот, привлекательное: национальное единство, кровно-родовую корпоративность. Что здесь остается от раннехристианской Церкви, от ее преображающей духонесной жизни, от осмысленного человеческого существования в близком и, одновременно, враждебном мире – природном и социальном? Где живой синтез личного и общего, «внутреннего» и «внешнего», отдельности и единства, который мы видим в опыте первохристианства? Где, наконец, свобода, не упраздняемая насилием «истинного учения», но вырастающая в полную меру через свободное соединение (общение) с самой Истиной, которая есть личный живой опыт Бога Иисуса Христа и Его Церкви?

В Церкви нет места ни для корпоративности (вне и над человеком), ни для индивидуализма, возникающего как протест против насилия величного «общего» над отдельным лицом. Нет места ни для «авторитета силы», ни для авторитета «плоти и крови» (которые, как известно, не пользуются ничем). Нет места ни для культово-магической, ни для эзотерической религиозности. Нет места ни для отрицания мира, ни для его принятия таким, каков он есть в эмпирической данности. Церковь существует в реальном социальном и историческом пространстве, но и сама является «социумом» – таким, в котором присутствует Христос, вчера, сегодня и во веки Тот же. Однако, история Церкви свидетельствует о том, что все, чему нет места в Церкви, присутствует в церковной реальности – в церковном сознании, как совокупном, так и индивидуальном.

Эволюция церковного сознания в позднейшую эпоху – в славянских странах и прежде всего в России, которая, в отличие от балканских народов, избежала длительного османского владычества, – а также в эпоху, предшествовавшую нашему времени, требует специального рассмотрения. В этой статье мы попытались проследить, как при переходе от раннехристианской эпохи к эпохе, получившей наименование «константиновской», то есть к длительному историческому периоду «христианского общества» и «христианского государства», уже возникают зародыши тех «типов религиозного сознания», которые обнаруживаются сегодня при анализе религиозной ситуации. «Плюрализм» церковного сознания, взаимное отталкивание или, наоборот, притяжение различных групп верующих, которые мы наблюдаем, а также различные решения проблем, встающих перед людьми Церкви сегодня – касаются ли они внутрицерковной жизни или необходимого само-

определения христиан в обществе, — все это не является плодом волонтаристических решений отдельных людей, но имеет свои корни в истории Церкви и христианского сознания. Церковное Предание, восходящее к самому началу христианства, — это сложное сочетание «постоянных» и «переменных», так что любое утверждение существенного тождества церковного опыта вне зависимости от места и времени не исключает, но наоборот предполагает внимание к реальной истории Церкви, то есть к переменам, трансформациям (иногда радикальным), эволюции как на уровне церковной институции, так и на уровне церковного сознания христиан. Эмпирическую данность ни в коем случае нельзя отождествлять с нормой. Верность Преданию означает прежде всего верность его «постоянным величинам», реализованную в конкретном контексте, образованном его различными «переменными» (которые, в свою очередь, связаны с «переменными» самой человеческой истории). Эта верность требует целостности, а целостность — творческого духовного усилия, соединяющего разрозненное воедино вокруг основного смысла как истинной цели. Как и где такая целостность церковного сознания возможна, какие пути ведут к ней — это мы стараемся показать в другом месте.

КРАСОТА ЗЛА

(из «Этюдов о Достоевском»)

В творчестве позднего, «послекаторжного», Достоевского нет, наверное, ни одной сколько-нибудь значимой ситуации или темы, которая так или иначе не была бы связана с утверждением им человеческой свободы, с постоянным у него художническим обсуждением и выявлением ее природы как экзистенциальной человеческой потребности и ценности. Но совершенно особое место в контексте этих ситуаций и тем занимает у Достоевского тема, к которой он не случайно так настойчиво, так болезненно и постоянно возвращается в своем творчестве, — тема «содомского идеала», тема красоты зла, способности человека к наслаждению во зле и в страдании. Это, несомненно, одна из самых загадочных, философски трудных, но и крайне характерных для Достоевского «проклятых» тем, имеющих поистине общезначимый интерес.

Впервые в его творчестве эту тему поднимает «подпольный парадоксалист» из «Записок из подполья», развивая ее, в частности, на известном примере с зубной болью. «Это хороший пример, господа, и я его разовью», — подхватывает парадоксалист брошенную им самому себе реплику вымыщенного своего оппонента («Ха, ха, ха! да вы после этого и в зубной боли отыщете наслаждение!»). И выдвигает тезис: да, «и в зубной боли есть наслаждение»... У меня целый месяц болели зубы; я знаю, что есть. Тут, конечно, не молча злятся, а стонут; но это стоны не

**Игорь
ВИНОГРАДОВ**

— родился в 1930 г. в Ленинграде. Окончил филологический факультет МГУ. Автор книг «Проблемы содержания и формы литературного произведения» (1958), «Как хлеб и вода. Искусство в нашей жизни» (1962), «В ответе у времени» (1964), «Искусство, истина, реализм» (1974), «По живому следу. Духовные искания русской классики» (1986) и многих статей по проблемам эстетики, классической и современной культуры. С 1992 г. — главный редактор «Континента».

откровенные, это стоны с ехидством, а в ехидстве-то и вся штука. В этих-то стонах и выражается наслаждение страдающего; не ощущал бы он в них наслаждения, — он бы и стонать не стал».

Доказательства?

«Я вас прошу, господа, прислушайтесь когда-нибудь к стонам образованного человека девятнадцатого столетия, страдающего зубами, этак на второй или на третий день болезни, когда он начинает уже не только стонать, как в первый день стонал, то есть не просто от того, что зубы болят... Стоны его становятся какие-то скверные, пакостно-злые... И ведь знает сам, что никакой себе пользы не принесет стонами; лучше всех знает, что он только напрасно себя и других надрывает и раздражает; знает, что даже публика, перед которой он старается, и все семейство его уже прислушались к нему с омерзением, не верят ему ни на грош и понимают про себя, что он мог бы иначе, проще стонать, без рулад и без вывертов, а что он так только с злости, с ехидства балуется. Ну так вот в этих-то всех сознаниях и позорах и заключается сладострастие. «Дескать, я вас беспокою, сердце вам надрываю, всем в доме спать не даю. Так вот не спите же... Я для вас уже теперь не герой, каким прежде хотел казаться, а просто гаденький человек, шенапан. Ну так пусть же! Я очень рад, что вы меня раскусили. Вам скверно слушать 'мои подленькие стоны?' ну так пусть скверно; вот я вам сейчас еще сквернее руладу сделаю...» Не понимаете и теперь, господа? Нет, видно, надо глубоко доразвиться и досознаться, чтобы понять все изгибы этого сладострастия!...»

Этот же тезис развивает герой «Записок» и на примере с «подпольной» гаденькой «мышью», которая лелеет в своем «мерзком, воючем подполье» какую-нибудь невымешенную свою обиду, сама растравляет себя припомнанием «самых постыдных подробностей», да и от себя прибавляет «подробности еще постыднейшие» — и в этом саморастревливании и самоподдразнивании, в сознании своей низости и мерзости вдруг находит «сок» некоего «странныго наслаждения» — наслаждения, которое она отыскивает «даже в самом чувстве собственного унижения», в самом своем отчаянии, ибо «в отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения», доходящие иногда «до высшего сладострастия»... Эта формула наслаждения позором, формула сладострастия страдания не раз повторяется на страницах романов Достоевского. «Есть, есть наслаждение в последней степени приниженности и ничтожества!», — говорит в «Игроке» Алексей Иванович своей возлюбленной Полине. «Знайте, что есть такой предел позора в сознании собственного ничтожества и слабости, дальше которого человек уже не может идти и с которого начинает ощущать в самом позоре своем громадное наслаждение», — подтверждает этот же тезис в «Идиоте» и Ипполит. Об этом же не раз говорят и другие герои Достоевского — Подросток, Ставрогин, Свидригайлова, Митя Карамазов и Иван,

даже князь Мышкин. И не только говорят. Почти в каждом из своих великих романов Достоевский обращается к образам, ситуациям и положениям, в которых он реально развертывает эту тему — не всегда и не обязательно в тех злобно-подпольных выражениях, какие она находит в примерах «подпольного парадоксалиста», но всегда и обязательно строя ее на том или ином обнаружении такого же парадоксального соединения какого-нибудь зла, позора, беспечестия с соком «странныго» от них «наслаждения».

Так, Аркадий из «Подростка» обнаруживает в себе эту способность почти в той же самой форме, какая описана героем «Записок из подполья». «Странно, — вспоминает он, — во мне всегда была, и, может быть с самого первого детства, такая черта: коли уж мне сделали зло, восполнили его окончательно, оскорбили до последних пределов, то всегда тут же являлось у меня неутолимое желание пассивно подчиниться оскорблению и даже пойти вперед желаниям обидчика: «Нате, вы унизили меня, так я еще пуще сам унижусь, вот смотрите, любуйтесь!» Тушар был меня и хотел показать, что я — лакей, а не сенаторский сын, и вот я тогчас же сам вошел тогда в роль лакея. Я не только подавал ему одеваться, но я сам скватывал щетку и начинял счищать с него последние пылинки, вовсе уже без его просьбы или приказания... Он придет, бывало, снимет верхнее платье, — а я его вычищу, бережно сложу и накрою клетчатым шелковым платочком. Я знаю, что товарищи смеются и презирают меня за это, отлично знаю, но мне это-то и любо: «Коли захотели, чтоб я был лакей, ну, так вот я и лакей, хам — так хам и есть». Подпольную ненависть и подпольную злобу в этом роде я мог продолжать годами».

Ипполит в своей «Исповеди» описывает иную разновидность этого «странныго наслаждения», — ту, которую человек способен найти порой в унижении бедностью. Рассказывая о своем посещении бедного чиновника, кошелек которого, оброненный им, он случайно подобрал и пришел вернуть, Ипполит живописует тот ужасающий нищенский беспорядок, что царил в жалком жилище чиновника. И замечает: «Мне показалось с первого взгляда, что оба они, и господин и дама — люди порядочные, но доведенные бедностью до того унизительного состояния, в котором беспорядок одолевает, наконец, всякую попытку бороться с ним и даже доводит людей до горькой потребности находить в самом беспорядке этом, каждый день увеличивающемся, какое-то горькое и как будто мстительное ощущение удовольствия». И добавляет, рассказывая сцену неожиданной злобной истерики чиновника, оскорбившегося тем, что он, Ипполит, вошел без стука: «Есть люди, которые в своей раздражительной обидчивости находят чрезвычайное наслаждение, и особенно когда она в них доходит (что случается всегда очень быстро) до последнего предела; в это мгновение им даже, кажется, приятнее быть обиженными, чем не обиженными».

С «Преступления и наказания», с образа Свидригайлова, в котором Раскольников верно разгадывает развращенное сладострастное сердце, эта тема входит в творчество Достоевского обращением к ситуациям и характерам, в которых он показывает способность человека наслаждаться и даже специально искать наслаждения уже в прямом злодеянии – в безобразных, злых, низких, даже чудовищных поступках, в самом преступлении. Эта страшная стихия краем захватывает даже юного Аркадия, ощущающего в себе временами «душу паука», паучью сладострастную любовь к своей жертве и наслаждение от предвкушения ее страданий. И эта же стихия набирает силу в той кара мазовщине, которая живет в крови не только старого развратника и сладострастника Федора Павловича Карамазова, способного найти наслаждение даже в том, чтобы «возжелать» и обесчестить несчастную, грязную, юродивую Лизавету Смердящую, но и в буйной горячей крови Мити, заставляя его страдать от позора своих «бездурдней», но все-таки отдаваться им. Есть она даже и в Иване, видящем для себя один из возможных исходов в «карамазовском развлечении». Да и в Алеше, тихом и светлом Алеше, тоже всыхивает она порой дальним глухим предвестием предстоящих ему жизненных бурь, предостерегающим и одновременно искушающим напоминанием о своем дремлющем в нем присутствии, о всегдашней своей готовности развернуться и в нем тоже бунта фамильного «сладострастья насекомого».

В «Дневнике писателя» за 1973 г. Достоевский рассказывает историю крестьянского парня, осмелившегося на спор («Кто кого дерзостнее сделает») решиться (по научению другого парня, своего искусителя) на величайшее богохульство – выстрелить из ружья в причастие, в образ и символ самого Христа. И, подвергая эту историю подробному психологическому анализу, Достоевский замечает, что уже одно то, что «искуситель» назначил для испытания эту «неслыханную дерзость, небывалую и немыслимую», показывает, что он, именно, уже мыслил, наверное о ней, что, может быть, давно уже, с детства, эта мечта заползла в душу его, потрясала ее ужасом, а вместе с тем и мучительным наслаждением*. И что, конечно уж, в тот момент, когда наученный им парень поднял ружье на Христа, «тут должно было быть непременно, на дне души, и у того, и у другого, некоторое адское наслаждение* собственной гибелью»...

А в «Братьях Карамазовых» Достоевский показывает, как это странное и страшное искушение наслаждения злом поднимается даже в юной и чистой душе порывистой и своим равной Лизы Хохлаковой, которая в один из приходов Алеши (глава «Бесенок») начинает вдруг мучить себя и его бредовыми, мучительными, безоб-

* Здесь и всюду далее разрядка в цитатах моих. – И. В.

разными признаниями о том, что ей хочется, чтобы кто-нибудь ее «истерзал», — «женился» на ней, «а потом истерзал, обманул, ушел и уехал»; что она не хочет быть счастливою, что она «полюбила беспорядок» («Ах, я хочу беспорядка. Я все хочу зажечь дом. Я воображаю, как это я подойду и зажгу потихоньку, непременно чтобы потихоньку. Они-то тушат, а он-то горит. А я знаю да молчу»). Она признается, что ей хочется сделать «самый большой грех», за который на том свете непременно осудят — а она придет, да вдруг всем им в глаза и засмеется; что она хочет делать злое, «чтобы нигде ничего не осталось. Ах, как бы хорошо, кабы ничего не осталось! Знаете Алеша, я иногда думаю наделать ужасно много зла и всего скверного, и долго буду тихонько делать, и вдруг все узнают. Все меня обступят и будут показывать на меня пальцами, а я буду на всех смотреть. Это очень приятно. Почему это так приятно, Алеша?»

И Алеша — Алеша! — вдруг задумчиво говорит: «Есть минуты, когда люди любят преступление». И, словно ободренная этим замечанием, Лиза выворачивает перед ним еще одну, совсем уже апокалиптическую картинку: «Вот у меня одна книга, я читала про какой-то где-то суд, и что жил четырехлетнему мальчику сначала все пальчики обрезал на обоих руках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и распял, а потом на суде показал, что мальчик умер скоро, через четыре часа. Эка скоро! Говорят: стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался. Это хорошо!»

— Хорошо?

— Хорошо. Я иногда думаю, что это я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот. Вы любите?..»

Но это — только воображаемые еще «картинки», а вот уже и не воображаемые — Ставрогин. В его образе тема наслаждения во зле получает уже полное свое развитие, и его «Исповедь» (выщенная из «Бесов» при журнальной публикации глава «У Тихона») наполнена уже картинками самой жизни, иллюстрирующими ставрогинские способы воплощения обеих ипостасей только еще воображающегося Лизой наслаждения: «и мальчик с отрезанными пальчиками хорошо, и в презрении быть хорошо...» «Всякое позорное чрезвычайно, без меры унизительное и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, — свидетельствует Ставрогин, — всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение... Если бы я что-нибудь крал, то я бы чувствовал при совершении кражи упоение от сознания глубины моей подлости... Когда я получал пощечины, то и тут это было, несмотря на ужасный гнев. Но если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит все, что можно вообразить».

В этой же «упоительной», «превышающей все» сладости — главная внутренняя пружина и всех тех чудовищно-позорных

злодеяний о которых рассказывает «Исповедь». В том числе и того садистского, зверского надругательства над четырнадцатилетней Матрешей (дочерью хозяйки, у которой Ставрогин снимал комнату), когда он сначала подстроил пропажу ножика (для наслаждения видеть, как ее безвинно, по его подлости, будут нещадно, до рубцов, сечь розгами), потом изнасиловал ее, а потом, после ее болезни и бреда, увидев, как она вошла в чулан, и догадавшись, что она замыслила своим помутившимся умом, дал ей наложить на себя руки, хладнокровно выждав нужные полчаса, чтобы «совершенно удостовериться», что все произошло так, как он и предполагал. В этом же ряду и женитьба на «хромоножке» («Мысль о браке Ставрогина с таким последним существом шевелила мои нервы. Безобразнее нельзя было вообразить ничего»), а через каких-нибудь два месяца «ужасный соблазн на новое преступление» — «совершить двоеженство», женившись еще и на Лизе. Не упоминаю уж о целой серии иных, того же рода злодеяний и позоров, которые он удостаивает в своих «листках» разве лишь простым перечислением — вроде пощечин, снесенных с наслаждением (одна — от Шатова), кражи денег у бедного чиновника и других «старых воспоминаний, может быть и получше этого»: «С одной женщиной я поступил хуже, и она оттого умерла. Я лишил жизни на дуэли двух невинных передо мною. Я однажды был оскорблен смертельно и не отомстил противнику. На мне есть одно отравление — намеренное и удавшееся...»

Везде здесь — все тот же, один и тот же ряд, одна и та же тайная причина, которую совершенно точно разгадывает Шатов, когда в исступлении негодования на своего бывшего «бога» кричит ему: «А правда ли, что вы... принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному обществу? Правда ли, что маркиз де Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что заманивали и развращали детей? Говорите, не смейте лгать, — вскричал он, совсем выходя из себя, — Николай Ставрогин не может лгать пред Шатовым, бывшим его по лицу!.. Правда ли, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизни человечеству? Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения?.. знаете ли вы, почему вы тогда женились, так позорно и подло? Именно потому, что тут позор и бесмыслица доходили до гениальности! О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головой. Вы женились... по сладострастию нравственному... Ставрогин и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка! Когда вы прикусили ухо губернатору, чувствовали вы сладострастие? Чувствовали? Праздный, шатающийся барчонок, чувствовали?..».

Так, кульминацией ставрогинских чудовищных, «вниз головою», злодейств, разрешается динамика этой темы у Достоевского.

И как бы подводя итоги, давая ей окончательную, обобщающую формулу, Митя Карамазов – в своей «Исповеди горячего сердца» – говорит Алеше: «Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, необразован, но я много об этом думал. Страшно много тайн!.. Красота! Перенести я при том не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как и в иные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота? Верь, что в содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, – знал ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей»...

Формула эта, как и вообще вся эта тема «красоты зла», «наслаждения позором», «сладострастия страдания» и т.п., дала повод ко множеству весьма устойчивых недоразумений в отношении Достоевского. Ничто в его творчестве не породило, пожалуй, такого количества фантастических догадок, приговоров и толкований, сколько возникло их вокруг этих и подобных им страниц его романов. Его называли больным, мрачным, даже жестоким талантом, его обвиняли в злых наветах на человека, чуть ли не в клевете на него за его якобы болезненно-преувеличенный интерес к патологическим состояниям человеческой психики, за неверие в здоровую основу человеческой природы, за стремление приписать ей свойства и способности, характерные разве лишь для болезней человеческого духа. И с неменьшей страстью (причем по тем же самым основаниям) его провозглашали, напротив, величайшим пророком, гениальным психологом, предшественником научного психоанализа, сумевшим заглянуть в самые бездны человеческой души, в ее темные подсознательные глубины и не побоявшимся сказать о человеке всю, полную и последнюю правду, увидев и показав заложенное в самой его природе «радикально-злое» начало, его извечную, входящую в состав его экзистенциальных свойств роковую предрасположенность ко злу. Одни гневно осуждали его как предтечу декадентско-модернистской эстетики, едва ли не первым в XIX веке презревшего великую (в том числе и христианскую) традицию неотделимости Красоты от Истины и Добра и немало содействовавшего тем самым дальнейшему трагическому разведению этики и эстетики в культуре XX века. Другие, напротив, именно в этом отделении красоты от добра видели одну из величайших его заслуг, одно из величайших провидческих

откровений его как художника, мыслителя и психолога, сумевшего угадать и показать в своих романах иррациональную природу Красоты, ее самостоятельную по отношению к Добру таинственную сущность. Многочисленным поклонникам безвкусной романтики ницшеанского сверхчеловека за ставрогинскими признаниями о равенстве наслаждений «на обоих полюсах» слышалось скрытое исповедальное признание самого Достоевского в собственной своей склонности к извращенно-сладострастному наслаждению злом и страданием, в подпольной любви к ним и даже чуть ли не замаскированная проповедь такой любви, утверждение духовной нормальности и органичности для человека отдаваться дионисийской экстатической стихии хаоса, разрушения и зла. Другие, напротив, видели в сопричастных этой стихии картинах и образах Достоевского углубление и развитие традиционной христианской концепции человека, изначальная и трагическая двойственность природы которого и находит свое выражение в такой же трагической двойственности его отношения к Красоте, равно способной быть для него и ликом Добра, и ликом Зла. Трети натягивали всю эту тематику Достоевского на новейшие мировоззренческие каркасы в духе современного философско-этического релятивизма, толкуя о «диалектическом полифонизме» Достоевского, о неслиянности и равноправии для него разных «правд» и видя именно в этом прежде всего великое провидческое слово Достоевского-художника, сподобившегося угадать и выразить в области искусства то, к чему философская мысль пришла только в XX веке, и т.д. и т.п.

Но характерно, что при всей разноречивости этих и подобных им толкований, все они по крайней мере в одном отправлялись от одинакового прочтения Достоевского: почти ни у кого не вызывает сомнений, что он и в самом деле утверждает в своем творчестве эстетическую привлекательность зла, его способность порождать особую, страшную, «загадочную», но — красоту. А отсюда — и способность человека наслаждаться именно злом — позором, унижением, страданием, даже преступлением. Расхождения, по большей части, возникают лишь в оценке и интерпретации этого «факта», но никак не в его констатации. Представление о том, что Достоевский в своем творчестве если не залегает со злом, то по крайней мере не отрицает красоты зла и возможности наслаждения им — и до сих пор еще один из самых стойких и почти всеобщих предрассудков так называемого «достоевковедения», бытующий на самых разных исследовательских (и читательских) уровнях и дающий начало самым разным толкованиям и оценкам мировоззрения и творчества Достоевского.

Между тем вряд ли есть что-либо более далекое от того, что на самом деле говорит Достоевский страницами, ситуациями, формулами и наблюдениями того ряда, к которому принадлежат исповедь Ставрогина и Митины рассуждения о красоте, чем этот странный

и, в сущности, совершенно беспочвенный, но удивительно живучий предрассудок. В философско-художественной антропологии Достоевского тема человеческой способности находить наслаждение во зле и страдании имеет совершенно иное звучание и поставлена в совершенно определенный контекст. Она возникает в прямой связи все с той же исходно-центральной для Достоевского темой человеческой свободы, и то, что на переднем, самом внешнем плане выглядит в романах Достоевского как способность его героев к наслаждению злом, позором, унижением, страданиями и т.п., как раз и является у него одним из ярчайших, хотя как будто бы и парадоксальных выражений его взгляда на свободу как на величайшую экзистенциальную ценность человека, исходное начало и условие его человеческой сущности вообще – и его достоинства, его самоутвердительного самоощущения своей человеческой значимости, в частности.

При сколько-нибудь внимательном приближении к подобного рода сценам и наблюдениям Достоевского не так уж трудно, в сущности, разглядеть, что для героев Достоевского (и тем более для него самого, отчетливо видящего природу их состояний и переживаний) зло привлекательно и «красиво» отнюдь не само по себе, – в своей чистой и самостоятельной сущности. Точно так же и «наслаждение» и «сладострастие» вызывают отнюдь не сами по себе страдание, отчаяние, унижение, позор или бесчестье. Подпольный парадоксалист не случайно приглашает своих оппонентов прислушаться к стонам «образованного человека» именно тогда, когда он начинает «уже не так стонать, как в первый день стонал, то есть не просто от того, что зубы болят», а на «второй или третий день болезни», когда стоны становятся «какие-то скверные, пакостно-злые», когда это уже «стоны с ехидством», («в ехидстве-то» и вся штука!) и когда стонущий, успевший надоест всем своими «пакостными стонами», уже вполне сознает всю позорность своих «рулад и вывертов». «Вот в этих-то всех сознаниях и позорах и заключается сладострастие», – замечает парадоксалист, и нельзя не признать, что это точная, ясная и отчетливая формула, не оставляющая, в сущности, никакого места для сколько-нибудь двусмысленного ее толкования и сразу же дающая психологический ключ ко всей этой теме – во всех тех ее разнообразных поворотах и развитиях, какие получает она в дальнейшем творчестве Достоевского. Да и «сок странного наслаждения», который начинает отыскивать «подпольная мышь» даже «в самом чувстве собственного унижения», герой «Записок» не случайно связывает именно с чувством «невымешенной обиды», своеобразным, парадоксальным вымещением которой и становится сознательное и нарочитое погружение человека в это унижение, его готовность принять и пойти даже и на еще больший позор. *Злодеяние,*

бесчестие, страдание, позор, унижение напитываются «соком странного наслаждения» у героев Достоевского тогда и всегда только тогда, когда поступки эти и состояния переживаются ими как свободные самоутвердительные акты. И только потому, что они соединяются с этим чувством свободного, вольного, самостоятельного своего «хотения», только потому, что они становятся осуществлением такого «хотения», они и дают этот странный «сок», доходящий даже «до высшего сладострастия».

Эти соединения, как и сам психологический характер этого самоутвердительного чувства могут быть весьма различны. Это может быть то своеобразное и «странное» чувство сладости, которое дается ощущением полной власти над собой, своей способности справиться с собой, подавить в себе даже гнев, вызванный позорным оскорблением, или подавить жгучее отвращение перед мерзостью и подлостью какого-нибудь чудовищного или позорного поступка (чувство, которое входит в качестве одного из главнейших компонентов в «комплекс Ставрогина» — пощечина Шатова, кража, надругательство над Матрёшой и т.п.). Это может быть то искусительное чувство безграничной свободы и силы, которое выражается в жажде испытать и доказать свою способность «переступить» через самые непереступаемые границы, «дерзнуть» совершить самое чудовищное и «недозволенное» зло, по «вольному своему хотению» встать выше презрения и осуждения всех, презреть любые людские «нормы и ограничения» — чувство, которое входит в качестве второй важнейшей «составляющей» в злодеяния и «позоры» Ставрогина и которое выливается и в горячечные «картинки» Лизы, предвкушающей, как все будут на нее в ужасе смотреть и указывать пальцем, как ее на том свете за это осудят, а она только засмеется всем в глаза... Это может быть надрывная, мстительная в своих истоках гордыня Настасьи Филипповны, находящей иллюзорное освобождение от сознания своего «бесчестия», однажды испытанного и мучительно переживаемого ею, в надрывной демонстрации себе и другим, что она и есть «такая», что, по крайней мере, она не боится ни перед собой, ни перед людьми признать и заявить, что она сама пошла и выбрала это «бесчестие», что это — ее право и воля, захочет — так и еще позорнее и бесчестнее сделает... И эта же «странный» самоутвердительная жажда «бесчестия» может появиться и тогда, когда человек, делая «позоры» и «бесчестия» по собственной слабости, малодушию, безволию и т.п., чувствует, что исправить ничего уже нельзя и остановиться он тоже вряд ли уже сможет, и вот в этой-то безвыходности отчаяния он и обретает вдруг опять-таки все тот же иллюзорно сладостный выход, бросаясь как бы сам навстречу новым позорам и унижениям, решаясь сам, свободной волей своей

«освятить» свое малодушие и слабость, превратив их в эпатирующую дерзость по отношению ко всем, кто презирает его за это ничтожество. И в этой отчаянной браваде, в этом вымученном эпата же он тоже начинает находить своеобразное упоение и сладость, утверждая свою свободную независимость и значимость в самом унижении, в нарочито добровольном и вызывающем избрании позора (комплекс «подпольной мыши»)...

Словом, соединение «наслаждения» со злом и страданием может происходить у героев Достоевского через самоутвердительные чувства самых разных оттенков и самого разного происхождения. Но всегда оно, это соединение, обусловлено обязательным наличием таких чувств, всегда условием такого соединения является приданье тому или иному злому акту характера акта *свободного, вольного*, в себе *самоутвердительного* (хотя бы назло всем и себе самому) – превращение его в акт *самоутвердительной свободы* человека. И именно потому, что это так, всякий раз, как эта трансформация происходит – всякий раз и появляется у героев Достоевского жажда «безудержа»: раз уж чувство самоутверждения сладостно переживается в самой способности человека совершить злодеяние, испить любое унижение, то уже понятно – чем глубже такое падение, тем оно сладострастнее: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю»...

Все это – искушающие нашептывания человеческой свободы, этот ее соблазняющий и властный зов способен бросать человека в безудерж самых чудовищных бесчестий и зол, это ее присутствие, ее и только ее веяние в этом зле и позоре способно придать им роковую и завораживающую привлекательность для человека («что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой»). В этом – вся суть, в этом ключ к теме «наслаждения злом» у Достоевского. Вот почему Достоевский никогда, в сущности, и не оставляет в тени эту истинную природу «наслаждения» в страдании, эстетической привлекательности «зла». Напротив, всякий раз, обращаясь к этой теме, психологически совершенно отчетливо, ясно и даже акцентированно выставляет самую суть этой человеческой «любви» к преступлению, к страданию, разрушению, хаосу – ко всему тому, что, по словам того же Пушкина, «гибелью грозит» и что «для сердца смертного таит неизъяснимы наслаждения».

Так, о парадоксалисте, который, исследуя заявленный им «сок странного наслаждения», не раз замечает, что все дело именно «в ехидстве», «в созданиях и позорах», в «невымещенной обиде» и т.п., мы уже говорили. Но те же самые, в сущности, истоки подпольного наслаждения своим унизительным лакейством у Тушара называет и герой «Подростка» Аркадий, прямо отождествляя это наслаждение с «подпольной ненавистью и подпольной злобой». Ипполит, рассказывая об ощущении удовольствия, обретаемого бедняком в окружающем его и все увеличивающемся нищенском беспорядке, с

которым он никак справиться не может, а под конец уже и не хочет, опять-таки не случайно называет удовольствие это не только «горьким», но и «как будто мстительным», а рассказчик «Братьев Карамазовых», повествуя о шутовских подвигах старика Карамазова, который находил своего рода наслаждение в том, чтобы высекивать вперед и веселить своих покровителей-событильников, бросает замечание, что шутовство это было явно «выделано» и что в нем достаточно явственно просвечивало внутреннее изощренное Федора Павловича «хамство» над приятелями, потешавшимися его выходками. В «Дневнике Писателя», рассказывая об эпизоде с крестьянским парнем, поднявшим ружье на символ Христа, Достоевский замечает, что оба парня — подстрекатель и преступник — испытывали, несомненно, в тот момент некоторое «адское наслаждение». И вот, внимательно рассматривая природу этого наслаждения, опять-таки совершенно ясно и недвусмысленно вводит тот же мотив:

«Это... — забвение всякой мерки во всем... Это — потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких, — броситься в нее, как ошеломлену, вниз головой. Это — потребность отрицания в человеке, иногда самом неотрицающем и благоговеющем, отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то временем... «Один момент такой неслыханной дерзости, а там хоть все пропадай!» И, уж конечно, он веровал, что за это ему вечная гибель; но — «был же и я на таком верху!..»

«... И вот, надругаться над такой святыней народною, разорвать тем со всею землей, разрушить себя самого во веке веков для одной лишь минуты торжества отрицанием и гордостью — ничего не мог выдумать русский Мефистофель дерзостнее! Возможность такого напряжения, возможность таких мрачных и сложных ощущений в душе простолюдина поражает...»

«То-то и есть, что тут должно было быть непременно, на дне души, и у того, и у другого, некоторое адское наслаждение собственной гибелью, захватывающая дыхание потребность нагнуться над пропастью и заглянуть в нее, потрясающее восхищение собственной дерзостью. Почти невозможно, чтобы дело было доведено до конца без этих возбуждающих и страстных ощущений. Не простые же были это баловники, мальчишки тупые и глупые...»

И, наконец, то же самое находим мы в случае со Ставрогиным, тайну женитьбы которого на «хромоножке» так проницательно точно разгадывает Шатов, когда кричит ему: «... Я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро прекрасно, но я знаю, почему

ощущение этого различия стирается и теряется у таких господ, как Ставрогины... знаете ли почему вы тогда женились, так позорно и подло? Именно потому, что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности! О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головою. Вы женились по... сладострастию нравственному... Вызов здравому смыслу был уже слишком прельстителен!» При этом замечательно, что и сам Ставрогин с полной ясностью отдает себе отчет в истинных истоках и стимулах своей страсти к наслаждению позором, подлостью или злодейством: «Не подłość я любил», — поясняет он в своей «Исповеди» (тут, замечает он в скобках, «рассудок мой бывал совершенно цел»), а «упоение от сознания глубины моей подлости». И не случайно акцентирует: «всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное положение... возбуждало во мне... неимоверное наслаждение», — причем тут же ставит знак равенства между этим наслаждением и тем, которое он испытывает в минуты преступлений и в «минуты опасности жизни» — скажем, стоя на дуэли у барьера и ожидая выстрела противника. Характерно при этом и то, что хотя наслаждение таких минут (получив, например, пощечину, «сдержать гнев») и способно «превысить все, что можно вообразить», Ставрогин, с беспристрастно-холодной (и конечно же — преувеличенной, как верно замечает Тихон) внимательностью рассматривающий себя как некое любопытное и постороннее психологическое устройство, констатирует все же, что при всем том это «все превышающее» наслаждение никогда, однако «не покоряло меня всего совершенно» и хотя порою «овладевало мною до безрассудства, но никогда до забвения себя». Напротив, «всегда оставалось сознание, самое полное», — замечает он и поясняет: «да на сознании-то все и основывалось». При этом на сознании, неотделимом от того чувства, что он всегда, в любой момент, даже когда наслаждение во зле или жажда такого наслаждения «доходит до огня», «мог совсем одолеть его, даже остановить в верхней точке» — «Я всегда господин себе, когда захочу» и «ни средой, ни болезнями безответственности в преступлениях моих искать не хочу».

Удивительно, как мало внимания обращалось на эти и подобные им штрихи, наблюдения и даже прямые формулы Достоевского всеми теми, кто, ругая или хваля его, пытался тем не менее непременно повязать его так или иначе со злом и страданием узами красоты и наслаждения, которые якобы были обнаружены им в этом тесном источнике. Идя легковерно и легкомысленно вслед за первым, самым внешним слоем слов и образов Достоевского, они не замечали, насколько, в сущности, ясно и недвусмысленно раскрывает Достоевский психологический механизм возникновения этого «странных соков наслаждения».

Это механизм психологической аберрации – того типа, в силу которой, как это хорошо передано меткой народной формулой, «запретный плод сладок», хотя бы сам по себе он был горек или даже несъедобен. Вот почему Алеша замечает Лизе в ответ на ее злое и дерзкое, что «отрезанные пальчики и ананасный компот – это х о р о ш о » – «Вы злое принимаете за доброе», а Тихон говорит Ставрогину, что его ужасает его великая праздная сила, ушедшая на рочито в мерзость. Зло кажется красивым и вызывает наслаждение только потому, что происходит невидимое его замещение: привлекательно не зло и страдания сами по себе, привлекательна и красива человеческая свобода, ее безграничность и смелость, ее «великая сила» – именно она, эта сила, утверждая себя даже и через само зло, как бы передает ему свое обаяние, насыщая его сладостью и осияя его ореолом своей красоты, то есть производит ту внутреннюю подмену и смещение, без которых ни позор, ни зло, ни страдание, осознаваемые человеком именно как зло, позор, унижение и страдание, не способны сами по себе породить ни капли радости и наслаждения, хотя бы и извращенного, блеснуть хотьальным отблеском какой-нибудь красоты...

Разумеется, чтобы такая аберрация произошла, чтобы сила свободы, рождающая ощущение красоты, наслаждение ею, проявила себя именно через злодеяние, принятие позора, бесчестия и т.п., нужны особые обстоятельства и условия, должен произойти определенный сдвиг в душе самого человека, должно начать стираться то «различие добра и зла», о котором говорит Шатов. Когда Тихон, угадав, что Ставрогин, только что сказавший ему, Тихону, о своей к нему любви, должен непременно тут же на себя за это разозлиться, тихо говорит Ставрогину – «Не сердись», Ставрогин, неприятно пораженный этой проницательностью, все же признает, что Тихон прав: «Да, я был зол, вы правы, и именно за то, что вам сказал «люблю». Но тут же вскидчиво и гневно замечает ему, что Тихон слишком «унизительно» думает о природе человека: «Злобы могло и не быть, будь только другой человек, а не я...»

Н е в с я к и й человек способен испытывать наслаждение своей свободой во зле, – это искушение рождается в душе, почему-либо утратившей уже или утрачивающей ощущение нравственной непреступаемости границ зла. Но встав на этот путь, человек способен зайти так далеко, что само зло перестанет считать злом, и оно займет в его сердце место добра, станет его «добром». Достоевский вовсе не склонен к каким-либо в этом отношении прекраснодушным иллюзиям насчет так называемой «природы человека»; тема зла, способности человека ко злу – одна из сложнейших и особенно важных в его творчестве, и разрешает он ее отнюдь не идиллически. Но до тех пор, пока человек сознает зло именно как зло, пока позор, бесчестье, подлость, унижение сознаются им именно как позор, бесчестье и подлость и он знает, что то,

на что он покушается — это именно зло и преступление, — до тех пор «сок странного наслаждения», который он пьет в этих своих покушениях на зло, рождается вовсе не злом, а именно «дерзостью» своей на него решимости, своей с в о б о д о й во зле — само по себе оно источником этого наслаждения никогда не бывает и не может быть. На этот счет у Достоевского никаких, повторяю, двусмысленностей и неясностей нет, и вот почему все эти и подобные им страницы, сцены, образы, на первый взгляд говорящие как будто бы об эстетической привлекательности зла, утверждающие эстетику зла, на самом деле являются, в сущности, у Достоевского глубокой и всесокрушительной художественно-философской *демистификацией* идеи эстетической привлекательности зла, *снятием* и *отрицанием* эстетики зла. Вопреки широко распространенному заблуждению Достоевский вовсе не отходит здесь от той великой духовно-культурной традиции человечества, которая нашла ранее свое классическое выражение в кантовско-гегелевских дефинициях красоты как чувственного лика Истины, как символа Добра. Напротив, — своим глубинным художническим анализом той «загадочной» красоты, которую находят вдруг порою его герои в отрицательном акте зла, он, в сущности, обнаруживает еще одно, самое, может быть, неожиданное, парадоксальное, но тем не менее весомое и убедительное подтверждение и выявление все той же закономерности, все той же глубинной неотторжимости красоты от истины и добра. Ибо свобода человека — это и есть его экзистенциальная Истина, его величайшая экзистенциальная ценность, его Добрь, а именно она и только она и является в этих отрицательных актах действительным источником красоты и наслаждения, придавая акту эстетическую привлекательность. Зло лишь *ворует* через свободу отблеск Красоты у своих извечных врагов, Истины и Добра, — само по себе оно бессодержательно и пусто.

Разумеется, свобода — отнюдь не в с я Истина человека, но лишь одна из ее «составляющих», причем такая ее «составляющая», которая является относительно самостоятельной по отношению к другим ее сторонам, будучи прежде всего неким всеобщим экзистенциальным условием человеческого бытия во в с е х его проявлениях — и положительных, и отрицательных. Потому-то она и может быть не обязательно лишь свободой одних только нравственно-позитивных проявлений (иначе она не была бы свободой); потому-то она и может быть экзистенциональной формой бытия очень разнообразных и противоречивых нравственно-духовных сочетаний. Но в этом своем качестве она есть все-таки именно безусловная, экзистенциально необходимая сторона человеческой Истины, она — условие самого бытия человека. И только потому, что это так, она и способна порождать нравственно-эстетическое переживание ее человеком, давая своей реализацией

человеску ощущение красоты и наслаждения. В известном смысле можно сказать, что в явлениях нравственно-духовного (и вообще – жизниенного) ряда человеческого существования свобода является одним из обязательных условий и источников человеческой красоты. И именно это, в сущности, и показывает Достоевский, как бы предваряя своими картинами будущую гениальную формулу Пастернака:

...корень красоты – отвага..

Этот истинный – и единственно истинный – корень «красоты зла», его отвага, отвага его свободы или его свободная отвага, и есть то, благодаря чему даже в злобе, злодеяниях и пороках, как отметил это еще Белинский в отношении лермонтовского Печорина, одного из ближайших предшественников героев Достоевского, человек может быть по-своему прекрасен и полон поэзии. Нет этого корня во зле, не виден он – и зло утрачивает всю свою поэзию. Вот почему Тихон так боится за Ставрогина, что тот не вынесет задуманного им признания и покаяния в своих злодеяниях: зная Ставрогина, он предугадывает, что если всеобщую ненависть людскую он еще и способен, может быть, перенести со смирением, то всеобщее *сожаление* о нем, *снисходительность* и тем более *смех* над ним не выдержит. А зная людей, Тихон не сомневается, что смех будет *всеобщий*, ибо именно то, что для Ставрогина составляло, можно сказать, самый смысл его злодеяний – небоязнь, как сказал бы Раскольников, эстетики, вызов ей, демонстрация своей отваги на самое позорное, стыдное, низкое, «некрасивое» преступление (и в этом-то – высшая эстетика!), – это-то как раз и не будет увидено подавляющим большинством людей, для которых преступления тем «красивее», чем они внушительнее, картииннее, чем больше в них ужаса и крови, и которых именно отсутствие этого в преступлениях Ставрогина, их «неизящность», «некрасивость», и «убьет». А он, Ставрогин, при всем своем презрении к толпе, преодолеть этот смех и снести со смирением это высшее унижение его гордости потому и не сможет, что и собственное его самоутверждение через эти злодеяния строились отнюдь не без суетно-честолюбивой оглядки и вызова этой толпе, ее предрассудкам, ее трусости и т.п. И, следовательно, реакция этой толпы для него тоже отнюдь не безразлична, хоть он и говорит, что прежде всего сам хочет себе простить свое преступление...

Так даже через само зло, даже на уровнях бесчестья, страдания, позора, унижения обнаруживает и утверждает себя, свою экзистенциальную мощь, крепость и неизбывность, человеческая свобода, всюду принося с собой отблеск поэзии, искушая и соблазняя сердце человеческое своей загадочной и страшной красотой. «Отрезанные пальчики» и «ананасный компот» – это страшно, от этой бездны

мутится сердце и теряется вера в человека, это кажется возможным лишь как болезнь, патология, нечто такое, за что человек уже не ответственен, в чем он невменяем. Но это потому более всего и страшно, что это не просто «извращение» и «болезнь»; как свидетельствует об этом опыт всей истории, а XX-го века, может быть, в особенности, это возможно и во вполне «нормальных», вменяемых людях. И это потому и возможно, что имеет под собой некую прочную, крепкую, и вполне нормальную, «здоровую» основу в самой свободе человека и в ее экзистенциальной для него соблазнительности и сладости. Это она, при малейшем ослаблении нравственного чувства, при малейшем сдвигении границ между добром и злом, способна своими искушающими, горячечными, сладкими нашептываниями бросить человека «вниз головою», «в бездну»; это ее самовластительное начало, ее категорический императив слышится в жутком искушении испытать высшую полноту счастья в высшем «бездурже», в надругательстве над всем святым; и это она с готовностью предлагает всегда даже самому слабому скрасить муку любой его слабости, любого греха, любого падения иллюзорным самогипнозом своего свободного и мучительно сладкого отдания себя еще большему греху и падению – своему малодушию и слабосилию.

Так, на этом парадоксальном своем излете, завершает у Достоевского внутренний круг своего развертывания тема экзистенциальных ценностных проявлений человеческой свободы; так замыкается круг тех бытийных ситуаций, через которые он вглядывается в живую жизнь человеческой свободы.

Он вглядывается в нее, обсматривает ее в самых разнообразнейших проявлениях ее жизни; он обнаруживает и показывает, что буквально на всех экзистенциальных уровнях человеческого бытия она выявляет и утверждает себя как первичная ценность человека, как условие его жизни. Она заявляет об этом и в сфере отношений человека с природным космосом, взрываясь отчаянным бунтом даже против самой смерти и самого времени, и она делает человека способным утвердить ее хотя бы ценой той же самой смерти. Сливаясь с человеческой «амбицией», она насыщает собой всю сферу отношений человека с другими людьми – от его взаимодействий с безликой всеобщностью социума, до интимнейшей его связи с другим человеком в любви, и она доказывает, наконец, свою власть и силу и во взаимоотношениях в расчетах человека с самим собою, своей собственной природой, составляя критерияльный ценностный первоэлемент его самоуважения, его самоутвердительного осознания самого себя. Достоевский распознает ее самоутвердительный голос и в том счастье, в тех ощущениях радости, которые она дает человеку своим самоудовлетворением, и в тех мучениях и страданиях, которые начинает человек неизменно испытывать, как только с какой-то стороны и в каком-либо отношении сердцевинное

экзистенциальное ядро его свободной сущности оказывается стесненным, попранным или ущемленным. Он показывает, как эти страдания могут перерости в нестерпимый надрыв, привести к психическому срыву, ввергнуть человека в темноту безумия, в самое смерть, и мы постоянно застаем его героев в этих мучительных испытаниях своей свободы. Они корчатся в муках самолюбия, их рвет слезами ненависти и злобы к самим себе и друг другу, они гибнут в безумных надрывах бесчестья, сгорают в огне нестерпимого отчаяния, их сводит судорогами отвращения к самим себе за свое малодушие и слабость, они терзают друг друга ревностью и подозрениями, великодушием и благородством, они давятся от бессильной мести в своем гадком подполье, и все это — свобода. Это корчи и судороги свободы, утверждающей свою первичность, свое первозванство в самом попрании своем — муками человеческого сердца, неспособного принять это попранье. И, наконец: Достоевский показывает, как она, эта человеческая свобода, утверждает свою экзистенциальную ценность, даже и отделяясь от добра, даже и своей способностью быть независимой от добра, от «выгоды», как только это несомненное добро или «выгода» начинают ощущаться почему-либо как бремя и путы на ней. Он показывает, как она способна искусить человека даже и на величайшее преступление, лишь бы дать ему почувствовать свою сладость, она утверждает свою величайшую экзистенциальную ценность даже и своей способностью одеть в ореол красоты самое зло, придать вкус наслаждения даже последнему унижению и позору...

Так на всех уровнях человеческого бытия, во всех экзистенциальных ситуациях человеческой жизни Достоевский обнаруживает и показывает в своих героях ощущение ими своей свободной сущности как своей величайшей человеческой ценности, и это ощущение, проницая собою весь их духовный мир, в любых ситуациях и положениях, в которых им приходится проявлять и испытывать себя, окрашивает собою всю духовную атмосферу его романов, весь их мир. Это мир, где всюду веет воздухом человеческой свободы, где все пропитано сладким, мучительным, прекрасным и страшным соком ее творчества и ее соблазнов и искушений, мучительнее, неотразимее и привлекательнее которых нет для человеческого сердца ничего. Ибо корень красоты — отвага...

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ В МОСКВЕ И ПЕТЕРБУРГЕ

Неподготовленному читателю требуется провести определенную работу над собой, прежде чем ступить в космос Андрея Белого.

Подобная сентенция, впрочем, должна быть приложима к любому автору. Речь не об элитарности — любая истинная литература, любое искусство элитарно, и не за чем стулья ломать, доказывая, что, скажем, пространство Достоевского или Л. Толстого внутренне глубоко ритмизировано. «Старый» читатель предпочитает именно этот ритм; смещение душевных плоскостей в тексте он предпочтет «смещению плоскостей» самого текста и воспримет прозу А. Белого с некоторой оторопью. Это сродни чувству впервые вышедшего за свою оконницу человека, делающего шаги по незнакомой местности и потрясенного тем, что «тут тоже люди живут».

Тем не менее, потрясение остается и закрепляется в сознании, словно бы впечатления юности.

Читающим «Москву» и «Петербург» впервые можно отнести к ним просто, как к блестательным детективам. Фабулой Белый владеет; тут достаточное количество разгадываемых загадок, событий, смертей, умелой рукой сведенных воедино. Пусть ритм сам захватит читающего, пусть станет само собой разумеющимся компонентом в акте чтения. В «Петербурге» есть почти прозаические куски, и читатель тут захлебнется, уже привыкнув к падающему и вздывающемуся трехсложнику (в «Москве» форма более заметна), захлебнется, но выплынет (возможно, отплевываясь) и снова нырнет в стиховую волну. Того же, кто уже проделал над собой необходимую работу собранности, волна понесет без усилий — под музыку, которая, собственно, прежде всего и записывается А. Белому в актив.

Но вместо того, чтобы еще и еще раз говорить о непреложном, о давно открытом и открываемом вновь и вновь — о творческом подвиге писателя, взошедшего на вершину символизма в «Петербурге» и — тут же — о явной тщете его поисков новой, многожды заклейменной «проверки алгеброй гармонии», не лучше ли обратиться к основам (разумеется, переплетшимся) — чувственным и социальным? И речь тогда заходит о трагедии А. Белого.

Социум, живущий в его романах, как бы двуцветен; «Петербург», если рассматривать его в виде целостного организма, одет в столь любимое писателем домино. «Петербург» и Петербург – всё, вся жизнь предстает выламывающимся персонажем комедии «дель арте». Фанатичная вера самого А. Белого в силу слова как такового объясняет почти всё. Должен был произойти качественный скачок: навязчивый ритм призван тут выполнить работу Господа Бога – вдохнуть душу в карнавальные маски, что пробегают по коридорам. Музыка стиха, начинающая захватывать прежде как аккомпанемент, и как аккомпанемент, как составляющая, воспринимаемая, – должна была стать, оказывается, внутренним содержанием романа, но стала лишь отличительным признаком текста, технически виртуозного. Умозрительность человеческих связей в «Петербурге» восхищает литературного гурмана и поражает ревнителя классической прозы. Поэтому, конечно же, следует сразу оговориться: бессмысленно «ставить в вину» А. Белому именно то, что, по мнению РАППовской критики, являлось его естеством – полное отсутствие интереса к реальной жизни, незнание ее и нежелание знать. Последнее, я не сомневаюсь, находит горячий отклик в сердцах миллионов читателей. Так достигается вершинная точка в акте чтения – пик наслаждения.

Характерно, что черты самого Петербурга, самой Москвы у А. Белого размыты. Как бы подразумевается, что Петербург-город выполняет функцию столицы государства, сосредоточия движений и чувств, и, следовательно, именно здесь должны происходить события. Далее столица вдруг переменила местоположение, вслед за нею, как зомби, потянулись герои романа. Считать ли Москву более «дачным» городом, нежели Северная Пальмира? Ведь «дачность» Москвы – пожалуй, единственное, что отличает Москву в «Москве» от Петербурга в «Петербурге» – действие часто переносится тут в пригород, на замечательные благоустроенные дачи, за что читатель не менее искренне благодарит автора. (В то время А. Белый перебрался под Москву). Вот как раз на дачах и пытают, и прелюбодействуют, и изобретения всякие воруют.

Издавна Москва и Петербург в российской литературе имели свои вполне определенные лица. Достаточно вспомнить имена Пушкина, Грибоедова, Лермонтова, Л. Толстого, Гоголя, Достоевского, чтобы не убеждать себя пространными примерами. Белый же мог назвать «Москву», скажем, «Нижний Новгород», и ничего бы, собственно, не изменилось, потому что «дачность» новой столицы не вызывала сомнений, а столичность находилась для Белого как бы под вопросом. Последнее обстоятельство напоминает нам, что Андрей Николаевич Белый – настоящий писатель, коль скоро, сверх самого себя, отобразил существовавшую тогда реальность: уж очень не хотелось верить в долголетие большевиков. Декоративность выносимых на сцену расписанных щитов (помните у Булгакова)

кова в «Театральном романе» – «лэв. зад.») легко различается, и не напрасные упреки хочу я высказать, а лишь выразить сожаление, что у А. Белого отсутствует некий вектор художественного стремления, который, в числе прочего, делает из писателя мастера высшего порядка. Скажем, Гоголь – это юго-запад, Достоевский – это север и северо-запад, Л. Толстой – ясное направление с севера на юг, сегодня Солженицын – север и северо-восток.*

Так что условность названий читаемых нами сегодня романов не более и не менее определенна, чем условность героя и событий, и мы, конечно, не будем требовать, чтобы какое-нибудь «заколдованное место» прямо влияло на сюжет или же – еще вам подай! – способствовало «срыванию масок», уже родившихся вместе с лицом.

Вряд ли имеет смысл долго останавливаться на личности Бориса Николаевича Бугаева, коль скоро он для нас Андрей Белый. Не мне принадлежит догадка, которую я здесь сообщаю: в образе Васисуалия Лоханкина из «Золотого теленка» А.Белый подвергнут осмеянию сытыми «пспутчиками» рабоче-крестьянской литературы – раньше, чем он сам окончательно стал попутчиком, объявляя себя (чего жизнь не заставит!) провозвестником революции в «Петербурге», доказывая, что символизм – предтеча социалистического реализма** и требуя себе на этом основании, как и Брюсов, дополнительного пайка. Именно А. Белый говорил «подозрительным по ямбу» голосом, облекая в философски мистическую оболочку холодное мясо из супа – тщетно. Остаются только измазанные жиром пальцы и ком в желудке, а настоящей сытости нет.

Будучи гениальным человеком, Белый не мог не ощущать «жизнь как трагедию» – не мог не понимать и трагедию жизни вообще, и трагедию жизни собственной. Сосредоточенность на себе самом – глубинная это причина или лишь наше объяснение ходульных образов «Петербурга» и «Москвы»? Не мог или не желал А. Белый выписать их настоящими, живыми? Основание ли для упрека в художественной недостаточности изображаемых характеров тот факт, что Аблеухов-старший (и, разумеется, профессор Коробкин из «Москвы») носит ясно различимые черты Н. В. Бугаева, отца писателя, а младший Аблеухов – самого А. Белого? Что в «Петербурге», который писался в начале века, действуют весьма неопределенные эсеры-террористы, а в «Москве», написанной в двадцатые годы, мерзкие шпионы стремятся похитить столь же неопределенное открытие русского профессора? И что «главный шпион», резидент (чай, нам так и не сказали) Мандро – вместилище всех пороков, убийца, садист и находится в противоестественной связи с собственной дочерью? Читателю предстоит решить, пользовался автор чрезвычайно скучным материалом или же формально орга-

* Я говорю, разумеется, о чисто ассоциативном восприятии самих произведений этих писателей.

** Что, конечно же, совершенно справедливо.

низованный текст, несущий мистическую направленность, нуждался, как в средьбе, в сюжете, и автору, что называется, не надо было далеко ходить.

Покушение «эсера» Аблеухова заканчивается фарсом, и ничем иным оно закончиться не могло — А. Белый не представлял себе масштабов грядущей катастрофы. Герой находит, как и автор, утешение в мистике (последнее, что мы узнаем — Аблеухов читает Сковороду!), а нам с вами чем утешаться?

Нынче антропософия с иными названиями возрождается чуть ли не как наука, хотя культ самосовершенствования теперь необходим не для воспитания Бога в себе самом и слияния с Ним, а лишь для понимания Его скучного языка, растворенного в звездах и числах.* А тогда Учение могло стать или игрой, или верой, рухнувшей на обнаженные нервы А. Белого. Не так важно, что его увлечение Р. Штейнером началось через несколько месяцев после написания первых строк «Петербургра» — основной корпус книги создавался во времена обращения А. Белого к философской системе, эстетически вполне привлекательной и имеющей лишь один недостаток, родовой для всех философских систем: это была философская система — и только. Последнее обстоятельство, мне кажется, должно раздражать трезвых людей, но А. Белый счел болезнь воплощенным здоровьем.

Однако напрасно мы будем искать в «Петербурге» отображений прослушанных лекций. Бог присутствует здесь так, как он присутствует в сочинениях любого истинного художника — растворенным, но и ускользающим светом Вифлеемской звезды, прямиком ведущим на Голгофу. Недостаточность характеров объясняется недостаточностью самой жизни, ставшей иллюстрацией отвлеченной схемы. И не Штейнера тут приходится вспоминать, обещавшего человеку пресловутое «господство над природой»**, пусть и духовное, а самые грубые интерпретации З. Фрейда.

Один лишь Эдуард Эдуардович Мандро дает отличную пищу психоанализу. Если отец и сын Бугаевы стали отцом и сыном

* Совершенно прелестно, что сейчас (март 1993 г.) реклама, убеждающая жертвовать на построение храма Андрея Первозванного, ежедневно идет по телевизору в одном блоке с «астрологическим прогнозом», наглядно свидетельствуя о точно такой же потере чувства юмора «властителями дум» всех мастеров — и всеми одновременно.

** Особенно — сегодняшнему человеку, проигравшему в борьбе и с духовным, и с материальным миром, человеку, которому «господство над природой» вместе с гербицидами и угарным газом уже буквально въелось в печеньки, а идея «обослебления трех сфер общественной жизни» (защищающее граждан государство, независимое правосудие, свободно кооперируемая экономика), по-прежнему горячо пропагандируемая с трибун, более не вызывает никаких иных чувств, кроме ненависти.

Аблеуховыми, откуда пришли герои «Москвы»? Тоже из схемы? Или все-таки из жизни? К «Петербургу» Фрейд куда как приложим: никчемный отец, покушавшийся на его жизнь сын... Движущая измысленный сюжет пара «отец-сын» вообще преследует писателя почти в каждой веци. Если бы А. Белому достало решимости довести замысел Николая Аблеухова до конца, то-то бы мы веселились!

Но тут, наконец, вступают в права чисто творческие законы. Свершившись эсеровский терракт, мистический роман действительно сразу превратился бы в роман о революции — излишне вычурный; светящая звезда погасла бы.

В 70-е гг. более полувека не издававшаяся работа А. Белого была вдруг вспомнена просвещенными идеологами и, разумеется, поставлена в ряд знаменующих собой неизбежный крах старого мира. Круг замкнулся — последний удар жизни автор получил уже за гробом.

Но ведь и в самом деле... Свет здесь — мертвящий, вырванные им из мрака картины вполне апокалиптичны. Петербург предчувствует канонира с «Авроры», а Москва? Коттеджно-строительные кооперативы в пригороде, сносящие своими бульдозерами все подряд? Отправляемые через все границы по факсам технические секреты? То и дело возникающий в «Петербурге» Медный всадник (часто — спешенный) входит, как рок, в любые двери: А. Белый использовал естественную литературную аллюзию. Где ж ему в 10-е годы было знать, что вместо Петра на лошади надо давать столь же настигающий образ человека на броневике, наспех прикрывшего лысину чужой кепкой! Поставь его в известную иллюстрацию Бенуа — тут был бы иной язык, выражавший иное душевное качество, иную музыку, иную свет.

Но остается главное — чувство тревоги. Возможно, оно совпадет по фазе с нашей с вами рефлексией, и возникший резонанс наконец-то разрушит все, до чего доберется.

РОЗАНОВ И РУССКИЙ ТЕАТР

Собственно «критикой» Розанов не занимался. Он силен непосредственностью впечатлений, удивительно ярких и точных. Далее, в области рационального анализа (критики), у него нет ничего. Но еще дальше (выше), в сфере предельного обобщения, обнаруживается второй и главный пик розановской мысли. Очарование его обобщений заключается в умении видеть чрезвычайно общее, предельно общее, в чем-то на первый взгляд удивительно частном, локальном, в каких-то, вот, своих впечатлениях, причем впечатлениях второстепенных, мимолетных. Это мгновенное изменение масштаба мысли – от микро- к макрокосму – делает мышление Розанова почти физиологическим, по крайней мере, вполне осязаемым «действием». В этом смысле он, конечно, был замечательным «критиком», поскольку непосредственная задача критической мысли, а возможно и ее суть, – в тесном, интимном вплетении в мыслительный процесс, происходящий в голове читателя и зрителя.

Можно было бы сказать, что Розанову в высшей степени свойственна диалектика, если бы это слово не подверглось в русском языке беспримерному и, видимо, окончательному опошлению. Центр его мысли – не в содержании, а в форме, сочетающей стальную твердость с гибкостью и изворотливостью, даже коварством. «Суть» высказываний Розанова о театре вполне банальна и сводится к следующей, так сказать, антиномии:

1. Театр – это великое искусство перевоплощения.
2. Театр – это балаган и порочная фикция реальности.

И то и другое утверждение – общее место. Однако мысль Розанова сумела обернуться вокруг этой «двойной звезды» пошлости, ни разу не коснувшись ее поверхности, и следить за ее прихотливой траекторией необычайно интересно. Но прежде чем остановиться на мыслях Розанова о театре, следует сказать несколько слов о его личности и судьбе. Это необходимо сделать потому, что его мышлению присущ крайний субъективизм, а отношение Розанова к театру есть не только и не столько результат личного

Дмитрий
ГАЛКОВСКИЙ

– родился в 1960 году в Москве. Закончил философский факультет МГУ. Печатался в журналах «Смена», «Наш современник», «Новый мир», «Москва».

спыта, сколько результат ощущения своего «я» в окружающем мире.

Как известно, в жизни Розанова не было сколько-нибудь примечательных событий. Родился он в 1856 году в русской провинции, рано лишился отца и детство провел в нищете. Затем окончил университет, 13 лет работал учителем в гимназии, а последние 29 лет сотрудничал в суворинском «Новом времени».

Вот, собственно говоря, и все. Он не стрелялся на пистолетах, как Пушкин и Лермонтов, не участвовал в войне, как Толстой, не сидел в тюрьме и не ссылался на каторгу, как Достоевский. Собственно трагического в жизни Розанова не было. По сути, его жизнь – это жизнь русского неудачника, «чудака». И вот в этом смысле она очень трагична. Трагична не теми или иными «событиями», а – «сама по себе», своей сущностью. Пожалуй, в судьбе этого человека максимально просто выразилась трагедия отношений между русской личностью и русским обществом. Розанов был чрезвычайно упорен, трудолюбив. По темпераменту и жизненному настроению это был строитель, собиратель. Но хаос, безлепица русской жизни постоянно разрушали созданное, смеялись над его гениальным трудолюбием. Уже дебют Розанова поражает своей «немецкой» основательностью и, одновременно, чисто русским легкомыслием, даже смехотворностью. Первую свою работу – «О понимании» – он опубликовал только в 1886 году, то есть в возрасте 30 лет. Это был толстый том с таблицами-простынями, наглядно изображающими иерархию понятий розановской системы. При тогдашнем уровне философской мысли в России труд Розанова заслуживал, по крайней мере, пристального и благодарного внимания. Но книгу просто не заметили: в печати появился снисходительно-доброжелательный отзыв Вл. Соловьева и на этом все кончилось – тираж остался нераспроданным. Легко представить то чувство отчаяния, которое охватило несчастного молодого человека – тогда никому не известного провинциала, вложившего в издание свои скучные сбережения.

В общем, на этом его карьера должна была окончиться. Однако Розанову была присуща необычайная жизнестойкость и гибкость. Промолчав три года, он как бы спустился на ступеньку в своем творчестве, стал более доступен уровню образования тогдашней читающей публики. Но это не было простым компромиссом, так как открыло новые возможности для «этнически сообразного» мышления. Схема мыслей Розанова стала наливаться соком филологии. Уже первые работы этого периода отличаются характерным философским стилем, сочетающим доказательность и рациональность с образностью изложения (например, большая статья «Место христианства в истории»). Розанов уже в ней счастливо избегает как сухости и терминологической неряшлиности, столь характерной для Соловьева и последующего стиля русского неокантианства,

так и излишней фрагментарности мышления, чем всегда отличался, скажем, Бердяев.

На этом этапе творческой биографии постепенный дрейф в литературу принес Розанову если не славу, то известность. Пожалуй, наиболее известная работа этого периода – «Легенда о Великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского», многократно переиздававшаяся отдельной книгой с приложением «двух этюдов о Гоголе», по значению почти равных основной части. Именно Розанову принадлежало открытие Гоголя и Достоевского как писателей «трансцендентных». Собственно вся эпоха «серебряного века» прошла под знаком этих двух имен, и как раз в их розановской трактовке. И огромная литература по данному вопросу у Мережковского, Вяч. Иванова, Белого, а позднее, Бахтина, Шкловского и других – это лишь развитие основных тезисов розановской книги. Более того, именно Розанов открыл сам стиль метафизического литературоведения, стиль на русской почве необычайно плодотворный, так как художественная литература в России играла совершенно особую роль – роль своеобразного нравственного и даже религиозного центра культуры.

В 10-х годах Розанов пошел по пути «олитературивания» еще дальше и выступил как русский писатель, создавший совершенно особый жанр философского «пуантилизма», то есть конкретного, документального мышления, настолько конкретного, что был обрачивался философией, а философия – бытом. Книги зрелого Розанова – «Уединенное», «Онавшие листья», «Мимолетное», «Смертное» и другие (значительная их часть до сих пор не опубликована) – есть не что иное, как предельно возможное и предельно естественное осуществление русской личности в философии. В этих книгах Розанов поставил метафизические вопросы о вере, мироздании, личности человека и его судьбе на таком уровне, что его можно со спокойной совестью назвать выдающимся философом, имеющим не только национальное, но и общемировое значение.

Однако до сих пор Розанов не имеет достаточно твердого статуса даже в качестве собственно русского философа. Историки русской философии, будь то Зеньковский, Лосский, Флоровский или Радлов, отзываются о его творчестве весьма скептически, можно даже сказать, что он им лично неприятен. Между тем, Розанов был несомненно философом до мозга костей, и даже умер смертью «классически философской»: надиктовывая дочери свои предсмертные ощущения (эти страшные записи сохранились и напоминают по своему тону последние беседы Сократа). Вот, казалось бы, идеал «русского мыслителя», некоторый архетипический образ и стиль для будущих поколений... Но точно так же, как личная жизнь Розанова закончилась полным крахом (разорение и гибель семьи, на создание и преуспеяние которой он положил четверть века постоянного труда), точно так же был фактически

забыт и развеян образ Розанова-мыслителя, содержание и, главное, стиль его духовной жизни.

Почему же это произошло? В чем таится эта неудача розановской жизни, неудача человека, если не говорить о его исключительной интеллектуальной одаренности, просто чрезвычайно трудолюбивого и трезвого? Почему столь значительные усилия, одна сотая часть которых в других условиях привела бы к неизбежной и закономерной удаче, завершились неудачей, несчастьем, гибелью?

Ответ на эти вопросы возможно следует поискать в воспоминаниях о Розанове, в тоне этих воспоминаний. А тон их отличается раздражающей театральностью. Восприятие Розанова его современниками поражает своим театральными декоративным характером, превращающем живую индивидуальность в предельно стилизованный персонаж, а пожалуй и в комическую маску.

Алексей Ремизов, например, так описывает свою первую встречу с Василем Васильевичем:

«Я вышел зачем-то... в редакцию и вдруг услышал необыкновенное оживление в прихожей: кто-то, целая ватага вломилась — или что-то диковинное?

И сразу же смех и голоса.

Я выскоцил посмотреть.

Час был сумеречный, но электричество еще не зажигали, и я разобрал только:

в крылатке (конечно не в крылатке!), с проседью рыжий, очки, а нос, как картофель.

... Он что-то говорил быстро и руками трогал. И все смеялись.

— Розанов! да это же Розанов Василий Васильевич!»

А вот воспоминания Мережковского:

«Великий Инквизитор снова превращается в Акаакия Акаакиевича, яростный лев в смиренную овечку или даже божью коровку, которая при малейшей опасности, притворяясь мертвой, заваливается ножками вверх...

— Как же вы не понимаете? — запептал Розанов, наклоняясь к самому уху собеседника и боязливо оглядываясь, — об этом говорить не надо, Христос ведь это и есть Денница... прости Господи, мое согрешение!.. И он торопливо начал креститься мелкими частыми крестиками: точно также он крестится, когда во время домашнего молебна, старенький, седенький батюшка Всех Скорбящих подымает Владычицу на руки, а Василий Васильевич, по древнему народному обычанию, для получения наибольшей благодати, согнувшись почти до полу, как будто на четвереньках, пролезает под иконою.»

Или Николай Бердяев пишет в своем «Самопознании»:

«В. В. Розанов один из самых необыкновенных, самых оригинальных людей, каких мне приходилось в жизни встречать. Это

настоящий уникум. В нем были типические русские черты и вместе с тем он был ни на кого не похож. Мне всегда казалось, что он зародился в воображении Достоевского и что в нем было что-то похожее на Федора Павловича Карамазова, ставшего писателем. По внешности, удивительной внешности, он походил на хитрого рыжего костромского мужичка. Говорил прищептывая и приплевывая. Самые поразительные мысли он иногда говорил вам на ухо, приплевывая.»

Аналогичные высказывания можно найти в воспоминаниях Гиппиус, Лосского и многих других современников. Между тем поражает несоответствие этого образа «юродивого» и, извините за выражение, даже «придурка» с метафизическим образом Розанова. При чтении его книг складывается совершенно иной образ – трезвого и умного человека, всегда хорошо представляющего: что, кому и зачем он говорит. Его твердая, упорная мысль всегда ветвится, но никогда не прерывается и больше всего напоминает стальную сетку, набрасываемую на обреченно сопротивляющегося читателя. Мыслению Розанова свойственна яркость, но без всякой разболтанности, слабой фрагментарности. «Фрагменты» при более пристальном взгляде обрачиваются «сегментами», превращаются в единую цепь умозаключений. Мысль Розанова лишена как чрезмерной юношеской увлеченности, так и старческого догматизма. И в 30 и в 60 лет он мыслил как трезвый 40-летний мужчина: его интеллект всегда находился в зените «акме». Только с этой внутренней позиции сильного и трезвого ума он мог себе позволить иногда подурачиться, пошутить, сказать нечто излишне резкое и т.д. Да и собственно жизненная, житейская позиция Розанова – это позиция отца семейства, кормильца, а вовсе не представителя богемы, «шалопая» или, там, «юродивого».

Такая аберрация в восприятии Розанова, по всей видимости, таится в общем тоне декадентства с его импрессионистическим, «декоративным» отношением к реальности. Подобное отношение само по себе тоже является скорее не причиной, а следствием. Ведь в предельно обобщенной форме декаданс – это эпоха рождения и утверждения развитой индивидуальности, обладающей не только сознанием, но и самосознанием. Для этого времени характерен порой мучительный поиск легального и «пристойного» способа существования в обществе индивидуалистического «я». На западе проблема создания индивидуальной поведенческой культуры решалась на протяжении минимум 150-ти лет, и собственно декаданс – конца XIX, начала XX века – явился одной из завершающих фаз процесса, когда культура индивидуализма настолько интегрировалась в жизнь общества, что стала элементом массового сознания средних классов, модой, хорошим тоном. В России эти 150 лет уместились в 25, и были пережиты как своеобразная революция, приведшая в конце концов к разрушительным последствиям. Менее всего дека-

денство в России было модой. Оно стало чем-то гораздо более серьезным, можно сказать, тотальным.

Из-за этой тотальности, пожалуй, методология театрально-декоративного оформления реальности была даже плодотворна. Например, печально известные «воспоминания» Андрея Белого, конечно, лживы, легкомысленны и ни в коей мере не могут являться историческим источником, но зато Белому удалось хорошо передать саму атмосферу «рубежа веков», такую же лживую и легкомысленную. В этом отношении «методология» Белого вполне оправдана, так же, как, скажем, отрывочные и намеренно стилизованные воспоминания Марины Цветаевой о самом Белом, в свою очередь, адекватно передают его внешний и внутренний облик.

Но дело заключается в том, что Розанов-то никогда не был декадентом. Хотя бы по той простой причине, что принадлежал к другой эпохе и был на 20- 30 лет старше поколения «серебряного века». Разумеется, по отношению к нему метод импрессионистической стилизации дал сбой. Современники Розанова не понимали, не чувствовали особенности его мировосприятия, что и обусловило неудачу его жизни. Здесь только следует учесть, что его современники были все же люди не 60-80, а 90-10-х годов. В противном случае Розанова молодое поколение вообще бы не заметило, как мало интересный анахронизм. Нет, декаденты чувствовали в его личности что-то чрезвычайно близкое: может быть раздражающее, даже несерьезное, но не в коей мере не безразличное. И причины этого следуют, очевидно, поискать уже в отношении самого Розанова к России начала века о вообще к русским.

Для него русский человек был необычайно интересен и мил, но именно как конкретный человек, а не элемент того или иного сословия, класса или общества в целом. Василий Васильевич считал, что одна из бед русской истории заключается в огромности территории и многочисленности населения, самой своей массой растворяющих всякую индивидуальность. «Русское» как нечто индивидуальное, имеющее свое лицо, ему нравилось и вызывало восхищение, но «русское» в виде серой массы, фона, воспринималось как глухая угроза и пугало своей необъятностью, а главное – бесформенностью, хаосом. Сама русская индивидуальность для Розанова больше всего проявлялась в области литературы, музыки, театра. Русские по-Розанову блестящие рассказчики, музыканты и актеры, но плохие мыслители и отвратительные деятели, практики. Вообще он высоко ценил предприимчивость и деловую хватку, но с ужасом убеждался, что на отечественной почве эти качества получают развитие именно у людей, стоящих близко к безличному «росевому» началу.

Эта «механичность российской штунды» его пугала как частное проявление пустоты и неталантливости русского человека. Однако наибольшую тревогу у Розанова вызывал тот факт, что сильные

стороны, его нации — артистизм, переимчивость и врожденное эстетическое чувство — относятся к области чего-то весьма зыбкого, ненадежного, какой-то «литературы», то есть болтовни, «театра», то есть фикции и «шутки». (Он однажды с горечью заметил: «Симпатичный шалопай — да это почти преобладающий тип у русских».) Собственно, может ли быть совершенная, вполне развитая и автономная личность в мире, центром которого является не право, не наука и техника, даже не армия и полиция, а литература и театр?

В известном смысле вся русская история для Розанова постепенно превращалась в театр, в некое бессмысленное и устрашающее действие, разыгрываемое на фоне обветшалых декораций по чьему-то злочастственному замыслу. Развивая известные слова маркиза Кюстина о том, что «Россия — страна фасадов», Василий Васильевич писал в «Опавших листьях»:

«Чиновничество оттого ничего и не задумывает, ничего не предпринимает, и даже все «запрещает», что оно «расчитано на маленьких».

«Не расчитывайте в человеке на большое. Рассчитывайте в нем на самое маленькое». — Система с расчетом «на маленькое» и есть чиновничество... Заранее решено, что человек не гений. Кроме того он естественный мерзавец. В итоге этих двух «уверенностей» получился чиновник и решение везде завести чиновничество...

Все «казенное» только формально существует. Не беда, что Россия в «фасадах»: а что фасады-то эти — пустые.

И Россия — ряд пустот.

«Пусто» правительство — от мысли, от убеждения.

Но не утешайтесь — пусты и университеты.

Пусто общество. Пустынно, воздушно.

Как старый дуб: корка, сучья — но внутри — пустоты и пустоты».

Подобное общество внешне может производить даже устрашающее впечатление, но по сути оно совершенно безвольно и не способно к сколько-нибудь продолжительному и эффектному сопротивлению. Выдающийся успех петровской реформы обернулся выдающейся неудачей. Сердцевиной реформы была идея «насадления европеизма», то есть развитие индивидуализма по определенному плану. Но в самой идее таилось противоречие: по ходу развития исторического сюжета роли становились все более сложными и требовали все большей автономии от актеров, а по мере того, как игра актеров приобретала совершенство, сценарий постепенно превращался в ненужную условность.

На первый взгляд, здесь достигается свобода, превращение актера в личность. Но при более пристальном взгляде — а взгляд Розанова всегда пристален — оказывается, что человек, общающийся с людьми в России, очень часто общается не с врачом, художником, ученым или философом, а с актерами, играющими

соответствующие роли. Играющими часто необычайно правдоподобно, так как русские — гениальные актеры, но играющими по бессмысленному, давно забытому сценарию. Собственно и это «забывание» обусловлено не только естественной логикой сюжета (в программе индивидуализации сбой неизбежен), но и талантливым исполнением, слишком хорошей игрой актеров, которые по-станиславски слишком хорошо «вжились» в роль, в известный момент «потеряли» замысел режиссера и продолжили игру «просто так», «по инерции». Возможно это и есть наиболее страшный символ русской истории: ключ к пониманию — увы — слишком многих ее событий.

Каковы результаты контакта с подобным миром? Сначала в этом чувствуется обаяние, интерес, может быть даже больший, чем к миру подлинных личностей. Но постепенно возникает чувство недоумения и в конце концов отвращения. Для такой чисто эстетической цивилизации характерна холодность и мертвенност. На исторической сцене здесь действует не человек, а тень человека. И живое «я», вовлеченое в действие русской истории, неизбежно все больше и больше превращается в персонаж, а его судьба — в сюжет. Может быть наиболее отчетливо это чувство «персонажности» передал Гоголь в образе Манилова — обаятельного, но лишенного подлинного содержания:

«В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: какой приятный и добрый человек! В следующую затем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: черт знает, что такое! и отойдешь подальше; если же не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную. От него не дождешься никакого живого ... слова.»

Надо сказать, что сам Гоголь для Розанова был ожившим мертвецом, актером, играющим писателя и лишенным какого-нибудь содержания, какой-либо «живости», кроме фиктивной живости сухих и абстрактных слов, при помощи которой он создает такую же театральную и ходульную «реальность».

Между тем, в самой исключительной силе русского таланта перевоплощения таится некий самостоятельный источник индивидуальности, а следовательно существует и некоторая основа для создания развитой индивидуалистической цивилизации. Только создание подобной цивилизации мыслится Розанову не в виде осуществления на отзывчивой русской почве очередных «программ» и «планов», а в виде внутреннего самоуглубления, при отказе от построения всякого рода «тяжеловесных конструкций». Русская индивидуальность для Розанова неразрывно связана с уединением, и образ тихого мыслителя, задумчиво сидящего на обочине русского «прогресса», был ему лично наиболее близок и дорог.

Хотя самого Розанова трудно отнести к отшельникам. Можно даже сказать, что он постоянно лез на стремнину общественной

жизни. Она столь же постоянно отталкивала Розанова в сторону, но окончательно ей удалось это сделать лишь после его смерти. Все же Розанов оказался современен началу века. И если анализировать этот факт с расстояния сегодняшнего времени, то похоже ему удалось «сыграть актера», то есть выступить «Сократом, играющим актера», а не «актером в роли Сократа». Розанов обладал ясным умом философа, и в этом отношении превосходил и Ремизова, и Мережковского, и Бердяева, которые были прежде всего «литераторами», и лишь потом отчасти мыслителями (то есть людьми, индивидуальность которых самодостаточна и не нуждается в каком-либо стиле). Но именно благодаря своему ясному уму Розанов отнесся к мифу русской культуры (писательскому мифу) с величайшим уважением, и сделал героическую попытку говорить с эпохой на ее языке. Конечно эта попытка должна была кончиться неудачей. «Конечно», так как, во-первых, современники Розанова наоборот, используя бесконечную модуляционную способность русского слова, все время говорили на других, внутренне им совершенно чуждых языках, будь то язык немецкой философии, скандинавского театра или французской живописи. Розанов для этой атмосферы был излишне национален и следовательно излишне откровенен и серьезен. А во-вторых, речь шла о фатуме, роке, а обмануть судьбу не удавалось даже небожителям. Судьба Розанова – это судьба исключительной и феноменальной Личности в мире, где личностное начало еще недоразвито, еще по-юношески незрело, нежно, мягко, как воск. Эпоха начала века удивительно талантлива, но в чем-то (главном) – уязвима. Как и юность – всегда ошибается, всегда неправа. Но юность также всегда проходит. И возможно, что личная неудача Розанова в более широком контексте, в контексте всей русской истории, обернется исключительной удачей.

Еще в начале своего творчества, давая характеристику гениальной личности, Василий Васильевич писал:

«В характере гения лежит нечто особенное, что делает его непохожим на всех остальных людей. И действительно, среди них, лишь продолжающих историю, он, заканчивающий ее, стоит одноко; и нет ничего, что могло бы разрушить положенную в самом строе души преграду, которая отделяет его от тех, с кем он живет, которые его окружают, любят или ненавидят, но никогда не могут понять. Чаще всего он сам не понимает, что отделяет его от других. Тщетно силится он переступить эту невидимую преграду, тянется ко всем радостям жизни, которые так хорошо понимает, которые так любит, и которых вкусить ему никогда не дано. Нет никакой в нем недоверчивости, и, видя души людей, как прозрачные, он хочет ввести их и в свою душу, но здесь впервые чувствует, что какое-то взаимное несоответствие психического строя препятствует этому. По мере того, как проходит время, эта жажда человеческой близо-

сти становится неутолимее, желание примкнуть к чужой жизни — страстнее; он срывает с себя все, что людям могло показаться в нем странным или враждебным, глубоко хоронит всякое отличие в себе и хочет войти к ним, как равный или даже как низший. Напрасные усилия: своим проницающим взглядом он ясно видит, что даже жалкого и смешного (каким они всегда любят ближнего, за что прощают ему все глупое и даже злое) его они не любят; и смех, который он внушает им собою, не есть смех примиряющий и сближающий, но враждебный и отталкивающий.

Эта глубокая отъединенность от людей, быть может, становится, до некоторой степени, побуждением к творчеству. Видя напрасность всякого усилия стать дорогим для них при жизни, он хоть в воображении своем хочет пережить это счастье, хотя в далеких будущих временах; когда скроется его ненавистный для них образ и сменятся поколения их потомков, он начнет жить в уме тех потомков своею мыслью, или в их сердце — теми чувствами, которые при жизни никогда не были разделены. Пусть они будут костью не от его кости и плотью не от его плоти, но эта чужая плоть и кость примет в себя его душу — он убьет в них то, что есть в них чужого, и поселит свое, чему не мог найти места при своей жизни. И в то время, как могилы их отцов будут забыты ими, он сам, забытый этими отцами, привлечет к своей могиле, хотя в поздние времена, их потомков; и они понесут на нее все свои тревоги и радости, все мучительные вопросы своей мысли и сокровенные надежды своего сердца. И оставят все, что завещали им отцы их, чем жили те отцы и что копили для своего потомства; и пойдут туда, куда они не хотели вести их — за звуком его имени, благословляя его память, осуществляя то именно, чего он так сильно и так напрасно желал при жизни.».

МИФОТВОРЕЦ БРОДСКИЙ

Открываем газету «Московский комсомолец» за прошлый год, где помещено интервью с Бродским, и читаем во врезке М. Орлинко-вой, предваряющей основной текст:

«... Лучше быть последним неудачником в демократии, чем мучеником или властителем дум в деспотии», — сказал Бродский в 1986 году при вручении ему Нобелевской премии по литературе через пятнадцать лет после того, как ему закрыли дорогу в Россию. За эти годы он стал свободным человеком, в полном смысле слова — Человеком Мира...»

«Человек Мира» — с прописных букв — это, использованный с журналистской стремительностью, один из обязательных титулов Бродского, — титулов, сопровождающих его в его победоносном шествии по страницам отечественной прессы. Титулы, понятно, могут раздаваться кому угодно, и совсем случайным лицам тоже. Но ведь Бродский не таков: он никак не случайное лицо.

Скажу больше: Бродский даже не просто литературная знаменитость. В сознании читателей все, что связано с Бродским, приобрело особую сюжетную закомпонованность. События его жизни (опять-таки в сознании читателей) крепко приложены друг к другу, как бы зарифмованы между собой: изгнан из СССР — нашел приют в США, у нас осужден за тунеядство — там получил Нобелевскую премию.*

* Если последовательно называть вехи этой биографии, то они таковы: Родился 24 мая 1940 в Ленинграде. В 15 лет бросил школу. Менял профессии. Писал стихи. Стал известен в неофициальных литературных кругах. В 1964 — осужден «за тунеядство». Досрочно освобожден в 1965 г. На родине почти не печатался. В 1972 был вынужден покинуть СССР. Поселился в США. В 1987 — Шведской Королевской Академии ему была присуждена Нобелевская премия по литературе. В США выходили многочисленные поэтические сборники Бродского, — «Стихотворения и поэмы», 1965, «Остановка в пустыне», 1970, «Конец прекрасной эпохи», 1977, «Часть речи», 1977, «Новые стансы к Августе», 1983, «Урания», 1987, и др. В настоящее время широко печатается на родине.

**Елена
СТЕПАНЯН**

— родилась в Москве. Окончила филологический факультет МГУ. Кандидат филологических наук. Автор статей о современной русской и зарубежной литературе.

Бродский – человек-миф нашей современной литературы. Человек-миф настолько же, насколько им были в свое время, быть может, Байрон или Блок. Я не сравниваю масштабы; я говорю о том типе популярности, когда биография, личность и творчество писателя крепко спаиваются между собой в сознании читателей, когда его литературное поведение приобретает в их глазах безусловную значительность и чуть шокирующую притягательность.

Широта культурных ассоциаций (не столь уж привычная для нашего нынешнего читателя) и юношеское упорство в печатном употреблении зазорных слов; «гражданство Вселенной», по-прежнему экзотическая для нас абсолютная свобода перемещения по миру – и нежелание возвращаться на оскорбившую его родину. И так далее, и тому подобное. Такой вот впечатляющий воображение противоречивостью вообще отмечено многое из того, что Бродский пишет, делает и говорит. И как раз некоторые из контрастных узлов, пунктов, перекрестков – не знаю, как назвать – мышления и литературного поведения Бродского и продуцируют с максимальной силой ту мифологизированную атмосферу, которая окутывает этого человека. Я и хочу сейчас сказать кое-что по поводу вот этих самых узлов, пунктов и перекрестков.

Широко известны слова Ахматовой – после ареста юного поэта: «Какую биографию делают нашему рыжему!» А Я. Гордин много позже в статье «Другой Бродский» написал: «... теперь... у него есть все шансы превратиться в сознании людей, его не знающих, в бронзовую статую, памятник самому себе (...) Бродский ничем не заслужил столь нелегкой участи – прижизненного бронзования. Поэт он – трагический, но человек – веселый».

Мифологизация личности – почти синоним прижизненного бронзования. В обоих высказываниях есть и понимание, что «бронзование» человека, близкого тебе, – процесс неотвратимый, и подспудное, не вполне, может быть, осознанное сопротивление этому. «Наш рыжий», «веселый человек» – характеристики, как бы «утепляющие» бронзовую личность, взывающие к тому в ней, что так хорошо знаешь... И все же мифологизация поэта идет неуловимо – в чем-то помимо его воли, в чем-то благодаря его сознательным усилиям.

* * *

В читательском сознании прочнейшим образом утвердилось представление о том, что Бродский – из классицистов классицист. Совсем юношей он написал о себе:

Я заражен нормальным классицизмом,

и это к нему накрепко пристало по той хотя бы простой причине, что в его стихах естественно и органично существовал и,

как известно, существует массив античных образов (весь редкая и достаточно впечатляющая для читателя шестидесятых). Кроме того, Бродский среди своих поэтических учителей и образцов числил Державина и Кантемира: это тоже было тогда, в шестидесятых-семидесятых, отчасти литературной экзотикой. А помимо этого торжественно-грузный разворот его речи, его необыкновенная, постепенно сформировавшаяся интонация, как бы полная какой-то своей избыточной внутренней тяжестью (недаром поэтесса Инна Лиснянская сказала: «Бродский – поэт с новой музыкой»), – все это прочно сцепилось в нашем сознании с классицизмом, с XVIII веком, с Державиным, с благородно-громоздкими зданиями Кваренги, быть может.

Между тем Бродский классицизмом был всего лишь «заряжен» – и только. Тут он сказал правду. Романтический тип сознания Бродскому несравненно ближе, чем принять думать. Собственно, кое-кто это уже отмечал; внимательный А. Кушнер сказал, например: «Бродский – наследник байроновского сознания». В другом месте он высказался более подробно: «Бродский – поэт безутешной мысли, поэт едва ли не романтического отчаяния. Нет, его разочарование, его скорбь еще горестней, еще неотразимей, потому что в отличие от романтического поэта ему нечего противопоставить холоду мира: «небеса пусты», на них надежды нет, а «холод и мрак» в своей душе едва ли не сильнее окружающей стужи».

Мне затруднительно сейчас найти несомненные следы байроновского присутствия в поэзии Бродского – если не считать, конечно, того, что Бродский назвал книгу любовной лирики «Новыми стансами к Августе» (1983), или того, что массивные классицистические включения имелись, как известно, и у романика Байрона. Но это подробности. Совпадение, близость существуют тут не на текстовом, может быть, уровне, а на уровне самоощущения личности, ее поведения, ее человеческого типа. Кто это сказал из двоих – Байрон или Бродский: «В конце концов, скука –наиболее распространенная черта существования...» Конечно, Бродский, – но мы узнаем его только по второй половине фразы, по ее продолжению: «... и можно только удивляться, почему она столь мало попаслась в прозе XIX века, столь склонной к реализму».

Приметы специфического – и явственного – романтизма Бродского (по реестру Кушнера – «дрожь подавленной скорби, ... или холодного гнева, а то и отвращения»), наглядным образом представлены в знаменитом стихотворении 80-х годов, чье сходство с лермонтовским «За все, за все тебя благодарю я...», если не ошибаюсь, уже отмечалось:

*Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке...*

*С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распюрот.
Бросил страчу, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город...
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.*

Монотонно-страстное перечисление тягот бытия тут, как и у Лермонтова, вдруг сменяется тем, чего читатель никак не ожидает. У Лермонтова — моментальной и ослепительной вспышкой иронии; у Бродского — «благодарностью за горе» исключающей, понятно, действительную благодарность Тому, Кто эти тяготы посыпает. Хочется в данном случае обратить внимание на одну частность, одну строку. Вот какую:

С высоты ледника я озирал полмира.

До чего узнаваемо это стояние героя на рубеже миров, на гребне горного ледника (причем мир людей, естественно, простирается у ног, далеко внизу!) Это — характерная поза романтического демонизма; и тут, в этой строке, — целый узел художественных ассоциаций, связывающих Бродского с творчеством романтического типа, с лермонтовско-врубелевско-блоковской традиций. Поразительно, насколько лермонтовская строчка

Печальный демон, дух изгнанья...

— пристала Бродскому, насколько охвачены ею существенные черты его личности и судьбы (я знаю и то, что в упоминании «изгнания» есть место для какого-то дурного каламбура с моей стороны, неуместной шутки, — но шутить не входило в мои намерения).

Романтический демонический герой страдает, как правило, от двух обстоятельств. Первое обстоятельство: неспособность любить — или (и) любовь принципиально несчастная, нереализуемая. Второе: при всех порывах вместить и обнять весь мир романтическая личность обречена на самозамкнутость, на то, чтобы оставаться пленницей своего «я».

Все это в самом ярком виде мы находим у Бродского. Если речь может идти о принципиально несчастной любви (во всяком случае, в ее литературном воплощении) — то это, конечно, любовь Бродского, причем даже вне прямой зависимости от конкретных обстоятельств. В двадцать один год поэт свидетельствует, что мысль о катастрофе тенью тянетесь за любовным переживанием:

*и если через сотни лет
придет отряд раскапывать наш город,
то я хотел бы, чтоб меня нашли
оставшимся навек в твоих объятьях,
засыпанного новою золой.*

Но это – только общеюношеский трагизм, всегда окрашивающий молодую любовь. Проходит несколько лет, и уже Бродский – с его особым человеческим складом, с его невозможностью быть счастливым – вполне готов, вполне созрел, стал таким, каков он будет всегда:

*Зачем лгала ты? И зачем мой слух
уже не отличает лжи от правды,
а требует каких-то новых слов,
неведомых тебе – глухих, чужих,
но быть произнесенными могущих,
как прежде, только голосом твоим.*

Эта горечь и эта требовательность в любви (по логике романтического любовного поведения) через какое-то время оборачивается особого рода романтической же агрессивностью:^{*}

*Четверть века назад ты питала пристрастие к лилям и к финикам, ,
рисовала тушью в блокноте, немножко пела,
развлекалась со мной; но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.*

.....
*Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем
ничего уже больше не связано...*

Тут ничего не поделаешь: романтический герой не может не быть один. Неожиданные доказательства этого этического солипсизма мы находим в критической прозе Бродского.

Излишне повторять общезвестные комплименты критической зоркости Бродского и его филологической широте. Однако вот интересная вещь: самые выразительные пассажи, посвященные, скажем, Ахматовой, или поэтам-сверстникам, или кому-то еще, в наибольшей степени приложимы к самому Бродскому. Это – его автопортреты.

Вот об Ахматовой:

«Ахматова относится к тем поэтам, у кого нет генеалогии... Она явилась во всеоружии и никогда никого не напоминала, и, что, может быть, еще важней, ни один из ее бесчисленных подражателей

* Аналоги которой найдем у Байрона, Лермонтова, Баратынского.

даже не подошел близко к ее уровню. Они все были более похожи друг на друга, чем на нее»

И дальше – о придаточных конструкциях, «спиральное строение которых в немалой степени держит на себе русскую литературу»

Еще дальше: «она ... преувеличивает трагичность жизни с театральной готовностью, как бы испытывая пределы возможной боли и стойкости».

Тут нет ни слова, которое не было бы о себе самом.

О Евгении Рейне: «Главная тема – конец вещей, конец... дорогое для него – или по крайней мере приемлемого – миропорядка. Воплощением последнего в стихах Рейна служит город, в котором он вырос...». И дальше: «Рейн – поэт эрозии, распада – человеческих отношений, нравственных категорий, исторических связей и зависимостей... В результате у читателя зачастую складывается ощущение, что предметом элегии оказывается сам язык, части речи, как бы освещенные садящимся солнцем прошедшего времени...»

Эти высказывания так поразительно автопортретны, так освещают личность самого Бродского и, в конечном счете, именно на это и направлены, что вспоминаются бодлеровские слова о трагедии романтического сознания:

*Бесплодна и горька наука дальних странствий:
Сегодня, как вчера, до гробовой доски –
Все наше же лицо встречает нас в пространстве:
Оазис ужаса в песчаности тоски.*

(Пер. М. Цветаевой)

Романтизм – в определенном смысле искусство молодости, художественная эпоха, соответствующая молодому возрасту человека. Как ни парадоксально это в применении к Бродскому, утверждающему, что жизнь «оказалась длинной», склонному перечислять признаки своего старения, – есть что-то поразительно юношеское (байроновское и лермонтовское) в той позии холодного презрения к миру, которую демонстрирует Бродский. Его эссе «Путешествие в Стамбул» заканчивается так: «И если вы уже не в том возрасте, когда можно вытащить из ножен меч или вскарабкаться на трибуну, чтобы проорать морю голов о своем отвращении к прошедшему, происходящему и имеющему произойти... все-таки остается еще лицо и губы, по которым может еще скользнуть вызванная открывющейся как мысленному, так и ничем невооруженному взору картиной, улыбка презрения».

Такое острое отвращение к «происходящему», то есть к конкретному содержанию сегодняшнего дня, – часто бывает чертой юношеского отношения к жизни (уж не говоря о романтическом

отношении к жизни). Зрелому же возрасту (как и классицистическому мышлению) доступнее примирение с действительностью.

«Прошедшее, происходящее и имеющее произойти...» Не случайно тут всплывают грамматические прошедшее, настоящее и будущее. Ведь проблема времени, как настойчиво указывает сам Бродский, для него центральная. Одно из типичных рассуждений Бродского на эту тему выглядит так: «И заструится поток доказательств несравненной ихней правоты относительно того, что... пространство больше, чем время... Что мне сказать на это? и надо ли говорить что-либо? Не уверен; но, тем не менее, замечу, что, не предвидя я этих возражений, я бы за перо не брался. Что пространство для меня действительно и меньше, и менее дорого, чем время. Не потому, однако, что оно меньше, а потому, что оно – вещь, тогда как время есть мысль о вещи. Между вещью и мыслью, скажу я, всегда предпочтительнее последнее».

Итак, Бродский высоко ставит время и подчеркнуто предпочитает его пространству; время – идеальная духовная субстанция (сказал же Бродский в одном месте, что время – это Дух Святой, не больше, не меньше!), а пространство – субстанция налично-материальная.

После высказываний такой авторитетной тяжести, миф Бродского «о времени и о себе» стали распространять и исследователи, и критики.

П. Вайль, А. Генис: «Все творчество Бродского представляется конфликтом двух философских категорий: пространства и времени. (...) Бродский несет в себе комплекс империи. Территориальное расширение кажется ему бессмысленным расплазанием пространства. (...) Пространство у него бесконечно, но это дурная, застылая бесконечность тупика... место пребывания вещей... Время тоже бесконечно, но ... бесконечность времени называется вечностью. Время... идеально, и живут в нем не вещи, а идеи».

Томас Венцлова: «Время – основная тема... всего творчества Бродского. Во времени, в отличие от пространства, он чувствует себя дома».

Эти рассуждения – вариации рассуждений самого Бродского, что очевидно. (Недаром же И. Шайтанов заметил, что Бродский осуществляется в литературе «право сильной личности»). Рискну предположить нечто другое, не вполне согласующееся с самооценкой поэта.

Бродский, сказавший «только с горем я чувствую солидарность» – принципиально несчастный человек; как таковой он находится со временем во вражде. Думаю, что время для него – не та сила, что врачует раны, а та, что их наносит.

*Вечнозеленое неврастение, слыша жжу
це-це будущего, я дрожу,
вцепившись ногтями в свои коренья.*

У Бродского есть строки, (на них обратила мое внимание И. Винокурова) которые самым откровенным образом демонстрируют специфически депрессивное отношение к времени, ощущение его опасной и враждебной, непостижимо ускользающей сути:

*Я не то, что схожу с ума, но устал за лето.
За рубашкой в комод полезешь, и день потерян.*

Суть времени, то есть его способность истощаться и истощать существование личности, пугают поэта как любого из нас, и, вероятно, даже еще больше, чем любого из нас, ибо ему (Бродскому) в высшей степени свойственна мысль о конце жизни как о тотальном конце. (Мысль о Жизни Вечной для Бродского осенена знаком вопроса, исчезает в тени этого огромного знака... Но об этом ниже).

*... Я верю в пустоту.
В ней как в Аду, но более*

Или:

*Наверно, после смерти – пустота.
И вероятнее, и хуже Ада.*

Да, Бродский – «поэт безутешной мысли». Но я позволю себе усомниться и в абсолютности его стоицизма, – в том, что он так уж героически и гордо безутешен. Он, отягченный постоянной скорбью (так, во всяком случае, это видится его читателю), находит утешения и отвлечения от сосредоточенной мысли о времени-губителе, – и где же? Да нигде более, как в мысли о пространстве и о вещах, расположенных в пространстве. Порою Бродский проговаривается о своем скрытом предпочтении пространства – причем разумно, логически организованного – времени. Музу пространственного устройства, то есть Уранию, он ставит впереди Клио, музы истории. Бродский с удовольствием подчеркивает:

...Урания старше Клио.

В другом же месте историю, то есть реальное наполнение времени, Бродский называет «этой коростой суши». А что такое время, из которого изъята история? Абстракция, голое ничто, которого не может не бояться индивидуальное сознание, и оно его, конечно же, боится, и пытается задобрить его любыми лестными именами, вплоть до самых высоких. Между тем со свойственной ему – как мыслителю и как индивидуальности – противоречивостью

Бродский проговаривается: «Существует затравленный психопат, старающийся никого не задеть — потому что самое главное есть не литература, но умение никому не приключить «бо- бо»; но вместо этого я леплю что-то о Кантемире, Державине и иже, а они слушают, разинув зарежки, точно на свете есть нечто еще, кроме отчаяния, неврастении и страха смерти».

Нет, нет, предпочтение Бродским времени — вещь очень двойственная и сомнительная, и я никак бы не стала безоговорочно настаивать на ней. Тем более, что, как я уже говорила выше, будучи человеком во многом романтического толка, Бродский находит неожиданные утешения в своей скорби именно в исследовании пространства и вещей, его наполняющих (и это также противоречит презрительности теоретических отзывов Бродского о мире вещей, который повторяют вслед за ним его исследователи.) Для поэта в высшей степени утешительна мысль о неподвластности вещей времени:

*Человек, способный взглянуть на сто
лет вперед, узрит побуревший портик,
который вывеска «бар» не портит,
вереницу барж, ансамбль водосточных флейт,
автобус у галереи Тейт.*

Закрепленная в пространстве вещь — и в первую очередь это относится к «городской вещи», детали урбанистического пейзажа — влечет к себе и своей почти полной закрепленностью во времени, а именно — способностью не стареть, только ветшать:

*Тем и пленяла сердце — и душу! — окаменелость
Амфитриты, тритонов, вывихнутых неловко
тел, что у них впереди ничего не имелось,
что фронтон и была их последняя остановка.*

Отсюда и вполне понятная (и к тому же вполне романтическая) потребность Бродского в перемещениях, в странствиях: перемена места пребывания плюс удостоверение, что венецианские церкви, индейские пирамиды и прочие архитектурные достопримечательности продолжают свое существование. Впечатление не только физического преодоления пространства, но и морального (хотя и иллюзорного, частичного) преодоление времени.

* * *

Я уже говорила, что, как оно бывает, свойственный Бродскому страх перед временем сводится к малой вере в вечную жизнь.

Ю. Кублановский пишет о Бродском как о религиозном поэте,

но в таком случае приходится принять за религиозным чувством очень и очень широкие границы. Это скорее – общая деистическая готовность признать, что Бог существует и что ты от него бесконечно далек. Косвенное признание в этом содержится в следующих словах: «... я скорее... человек, которому присуща склонность судить себя наиболее серьезным образом, кто не перекладывает суд на чужие плечи, не доверяет ничьему иному суду, в том числе суду высшего существа». В этом «я сам», которое поэт говорит все-таки в конечном счете признаваемому им Богу – предельная удаленность от Бога, создаваемая, как правило, именно самим человеком. Хроническая скорбь – естественное следствие такой операции самоотсечения, другого результата у нее не бывает. Горечь и катастрофизм Бродского – это катастрофическая горечь так или иначе ощущаемой удаленности от Творца, заброшенности и одиночества; характерно, что это мироощущение Бродского окрашено какой-то выжидательной, мрачной терпеливостью (которая, бывает, на бытовом уровне выражается в речениях типа: ну, я так и думал! Посмотрим, такое ли еще будет!).

Разумеется, на то оно и религиозное чувство – каким бы неконкретным, невероисповедным оно ни было – чтобы время от времени смягчать самую резкую, самую тошную горечь бытия. Недаром и Бродский, – со всей своей гамлетовской скорбью – писал на протяжении уже нескольких десятилетий ту группу стихотворений, которые можно тематически объединить под названием Рождественского цикла.

В одном из интервью Бродским было сказано, что на Рождество он делает себе подарок – сочиняет «стишок». И стихи, входящие в этот цикл, как раз подсвечены редким у Бродского светом подспудной радости. Именно она, мешаясь с природной сумрачностью Бродского, создает необыкновенный светло-темный, рембрандтовский колорит, углубляет изображаемое, придает ему мерцание таинственной радости.

Стихотворение 1962 года «Рождественский романс», в предисловии к одному из вышедших на Западе сборников названное «рекордным», и впрямь является таким и вот почему. Помимо его действительно уникальной для Бродского «романсовости», то есть песенности, мелодической определенности, запоминаемости (также редкое для стихов Бродского качество, тут согласны, пожалуй, и доброжелатели, и недоброжелатели поэта), в нем есть сложная игра света и тени, тепла и холода.

Вообще свет Рождества, бывает, преображает в глазах Бродского враждебный хаос жизни, которым он старается по-гамлетовски мужественно пренебрегать. Хаос превращается в праздничный беспорядок:

*Сетки, сумки, авоськи, кульки,
шапки, галстуки, сбитые на бок.*

*Запах водки, хвои и трески,
мандалинов, корицы и яблок,
Хаос лиц, и не видно тропы
в Вифлеем из-за снежной крупы.*

Больше того: сохранившееся у Бродского — как и у многих современных людей — ощущение рождественской праздничности порой даже реализуется как мотив наивного фольклорно-детского славления Христа. Этот мотив (в следующей цитате я его выделю курсивом) с его почти нарочитой простотой пробивается в очень бродских, густо написанных, нагруженных контрастами, со сложной барочной фактурой строках:

*В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мелко, как только в пустыне может зимой мести.*

На этом, наверное, поэтическая мягкость Бродского в разработке религиозных тем исчерпывается. Периодически кажется, что Бродскому, по выражению В. Полухиной, «мало» Христа. Он, скажем, так рассуждает об осуществлении греками своей миссии — крестить Русь:

Одно

*должно быть, дело нацию крестить,
а крест нести — уже совсем другое.
У них одна обязанность была.
Они ее исполнить не сумели.
Непаханное поле заросло.
«Ты, сеятель, храни свою соху,
А мы решим, когда нам колоситься».
Они свою соху не сохранили.*

Его логика, видимо, такая: раз не удалось «колошение» (а при определенном — распространенном, но произвольном — ракурсе зрения ведь действительно можно захотеть — и увидеть дело так, что оно «не удалось»), то, может быть, и посев был не без ущерба? Действительно, Бродский ставит очень страшные вопросы и отвечает на них с экзистенциальным бесстрашием. Другое дело, что уж нам решать — подходят или не подходят нам его ответы.

Бродский вообще приступает к христианской проблематике с произвольностью, «с выбором», — так, как подходит к кушанью лакомка. Например, в прозе Бродского «Напутствие» речь идет о толковании знаменитых слов Христа: «А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и

другую; и кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдаи ему и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». В этой связи Бродский рассуждает так: «...вам знакома концепция пассивного непротивления и ее главный принцип – воздаяние добром за зло... При взгляде на мир сегодня невольно приходит на ум, что этот принцип, мягко говоря, не получил повсеместного признания. Причин здесь две. Во-первых, он применим в условиях хоть минимальной демократии, а это как раз то, чего лишены восемьдесят шесть процентов людей Земли. Во-вторых, здравый смысл подсказывает пострадавшему, что, подставив другую щеку и не отмстив, он добьется в лучшем случае моральной победы, то есть чего-то неощутимого».

Странное впечатление производит это высказывание Бродского: оно наивно. Кроме того, мифотворчество Бродского тут прекрасно видно.

Во-первых, обратим внимание на слова: «этот принцип (воздаяния добром за зло. – Е. С.)... не получил повсеместного признания». Он его не получил, что совершенно понятно, из-за исключительной трудности своего воплощения, и никто никогда не обольщался надеждой, что он будет широко распространен. Далее. О какой минимальной демократии шла речь, когда распинали Христа, какие демократические гарантии были на Его стороне? Какой ощутимой победы и какой справедливости, кроме того, жаждет Бродский для тех «восьмидесяти шести процентов людей земли», если сам он говорит о себе: «Я не люблю людей», и доказывает это, – особенно своею прозой?*

Но этот отрывок, при всей его странности и наивности, дает, как я уже сказала, понятие о мифотворчестве Бродского, о его выборочно-произвольном отношении к христианству в частности. Евангельский рассказ о страданиях Христа можно рассматривать как рассказ о поражении (а Бродский так и делает), если относиться к Христу как к человеку, как к пострадавшему проповеднику, а не как к Богу. Именно потому, что таково в своей основе отношение Иосифа Бродского к Христу, он не в силах поверить в Его Воскресение, в Пасху. Недаром же в давнем стихотворении «Горение» Бродский сказал:

*Назорею б та страсть,
Воистину бы воскрес!*

(Кублановский назвал эти строчки «самыми страшными в русской поэзии». В русской поэзии, как известно, есть и более

* В «Посвящается позвоночнику»: «Занятно было наблюдать всю эту шваль... в белых рубашках, оттеняющих их напряженные шоколадные мордочки. Не люди, а какая-то помесь обезьяны и попугая». Или: «Что интересно во всем этом, что в человеке просыпается звереныш, дотоле спящий; в ней это был скунс, вонючий хорек по-нашему».

страшные — у Есенина, у Цветаевой, у Блока, у Кузмина).

Снова повторим: Бродскому потому «Христа, если угодно, мало», что сму представляется, будто христианство не смогло окончательно побороть зло мира, что в нем — для Бродского, как и для многих наших современников, увы — нет, на их взгляд, абсолютной и уже сейчас очевидной победы над злом, его очевидного преодоления. И отсюда — тот личный ледяной страх перед ходом времени, та неподвижная отчаянность страха смерти, которую Бродский постоянно испытывает и которая предстает у него в виде окаменевшего, мраморно-неподвижного фатализма.

Впрочем, и не думать о Христе, отказываться от мысли о Нем он никак не может. Ампутирован орган веры — но культа болит, и Бродский возвращается к вопросу о христианстве, так и эдак решая его. В стихотворении уже двадцатилетней давности «Натюрморт», написанном, как говорит он сам

*О вещах, а не о
людях. Они умрут*

.....
*Кровь моя холодна.
Холод ее лютей
реки, промерзшей до дна.
Я не люблю людей.*

(Потому, видимо, что они смертны, и к тому же еще стремятся умерщвлять себе подобных. — Е. С.).

*Вещи приятней. В них
нет ни зла, ни добра
внешне. А если вник
в них — и внутри нутра.*

И вот это стихотворение из десяти главок (каждая — из трех четверостиший) заканчивается — непредсказуемо, непредвиденно — такой главкой:

*Мать говорит Христу:
— Ты мой сын или мой
Бог? Ты прибит в кресту.
Как я пойду домой?*

*Как ступлю на порог,
не поняв, не решив:
ты мой сын или Бог?
То есть мертв или жив?*

Он говорит в ответ:
— Мертвый или живой,
разницы, жено, нет.
Сын или Бог, я твой.

Понятно, что эти вопросы принадлежат не «Той, над которой — нимб золотой», а самому поэту. (Отсюда — и путаница прописных и строчных букв в словах, относящихся ко Христу и Деве Марии. Спаситель Ты или нет? — нерешенный вопрос Бродского). Видимо, потому кончается «Натюрморт» таким именно образом, что человеку — любому, пусть самому леверкюновски холодному — трудно вовсе не надеяться, исключить надежду вовсе. Надежда же — всякая — по существу, сводится только к одному: это еще не конец, все переменится. «Натюрморт» — стихи о смерти — кончаются призывом к надежде, неуверенной полунадеждой — а вдруг все-таки Бог? и Жизнь?

* * *

Упрек христианству в сомнительности, в неполноте его духовной победы тесно (и со свойственной Бродскому противоречивостью) связан с упреком христианству же в авторитарности, в «антидемократизме». Идея единовластия (а единобожие и есть для Бродского вариант единовластия) столь ему отвратительна, что в своих инвективах по поводу «тоталитаризма» христианства* он договаривается до сопоставления молота (из советского герба) и креста. Иными словами: христианство, с точки зрения Бродского, не одержало тотальной моральной победы — плохо. Христианство одержало военную, политическую и социальную победу благодаря Константину Великому — еще хуже. Обличениям нет конца, причем разнообразным: «... крест, привидевшийся императору Константину во сне, накануне его победы над Максентием... был крестом не христианским, но градостроительским, т.е. основным элементом всякого римского поселения... Константин рассматривал политику экспансии как нечто абсолютно естественное, тем более, если он действительно был истинно верующим христианином.

Был он им или не был? вне зависимости от правильного ответа, последнее слово принадлежит всегда генотипу: племянником Константина оказался не кто иной, как Юлиан Отступник».

Приведенные «пункты обвинения» — а умножать их можно бесконечно, посторонично переписывая «Путешествие в Стамбул» — и резки, и опять-таки, как ни странно, наивны. Градостроительный крест — только один из отпечатков в толще исторического быта Истинного Креста. Не только планировка римского города кресто-

* «Путешествие в Стамбул»

образна, — крестообразно расположение сторон света, устройство человеческого скелета и т.д. Крест (возьмем лишь функциональную сторону) — гармоничен и конструктивен. Это — идеальная опора, идеальная основа жизни. И, возвращаясь к священному смыслу креста, припомним великолепные слова церковного песнопения: «Крест, Хранитель вселенной», — слова, где обозначена связь священности и гармонии в Символе, вносящем порядок в мироздание и в верующую душу.

Что же касается родства Константина с Юлианом Отступником, — сыном Адама был Каин, сыном Св. Ольги — Святослав. Что не отменяет, понятно, того, что другим сыном Адама был Сиф, а внуком Ольги — Св. Владимир. Человечество — поврежденная, больная семья, но оно все-таки живо за счет рождаемых им праведников.

* * *

Ненависть к тоталитаризму у Бродского связана с апологией личности, индивидуальной свободы, значимости человеческой «единицы». Эта апология умозрительна, увы (достаточно вспомнить некоторые уже приведенные цитаты), и напоминает Ивана Карамазова. Широко распространенный тип современного бедлагодатного мученика — одаренность, гордость, тоска, а, следовательно, и хула. Логика поведения, что тут поделаешь...

Впрочем, не исключено, что многое из высказанного мною может оказаться не актуальным, — и прекрасно. Недаром Бродский заметил об одном из своих читателей: «Встречая такого сорта людей, всегда чувствуя себя жуликом, ибо того, за что они меня держат, давно (с момента написания ими только что прочтенного) не существует».

Я — как читатель — как раз очень хочу оказаться среди людей «такого сорта».

А кроме того, «над всеми людьми Бог наш», — и со всей Своей милостью. Даже над теми, кто не хочет этого знать, хотя, безусловно, знает. Тут бессильно всякое мифотворчество, всякий миф «о времени и о себе», а также о христианстве. И бессильно, и не нужно, — потому что страдающая душа знает Бога, она большая реалистка, чем ее обладатель.

ISSN 0934-6317

Редакция «Континента»

приносит свои глубочайшие извинения авторам и читателям последних номеров журнала за тот грубый корректорский брак, который был допущен издательством «Литература и политика», изготавлившим оригинал-макеты этих номеров.

Художник М. Куряццева

Сдано в набор 28.04.93. Подписано к печати 20.05.93. Формат 84×108¹/32. Бумага офсетная № 2. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ л. 18,48. Усл. кр.-отт. 18,90. Уч. -изд. л. 28,29.

Тираж 13000 экз. Заказ № 341. Цена договорная. С-28.

Издательство «Московский рабочий».

101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

ЛР № 010184 5 февраля 1992 г.

**Компьютерный оригинал-макет изготовлен
в издательстве «Литература и политика».**

Адрес редакции журнала «Континент»:

101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Телефон 928-97-42.

**Отпечатано в Московской типографии № 13.
107005, Москва, Денисовский пер., 30.**

